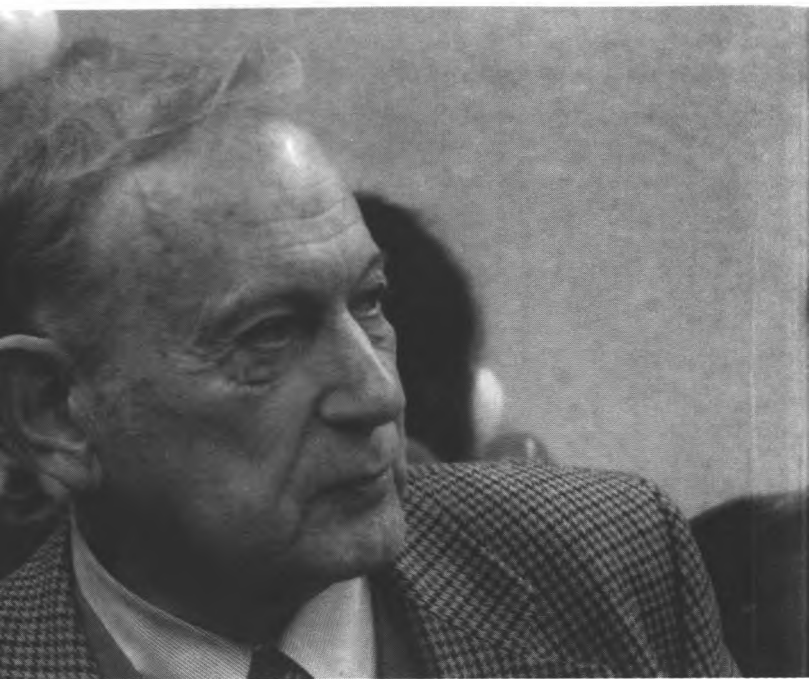


Арсений БЕРЕЗИН



ЖИВОПИСЬ
МАТЕРИИ





Арсений БЕРЕЗИН

**САМООРГАНИЗАЦИЯ
МАТЕРИИ**
РАССКАЗЫ И ИСТОРИИ

ПУШКИНСКИЙ ФОНД
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ • ММХІ

Б 48

ББК 84. Р7

Автор и редакция
выражают глубокую благодарность
Михаилу Александровичу Раскину
за решающую помощь в издании этой книги.

Марка издательства работы
С. Семенова



ISBN 978-5-89803-214-2

© А. Б. Березин, 2011

I

ПИКИ-КОЗЫРИ

ДЕТСТВО

Году в 1938 на улицах Ленинграда стали рыть глубокие котлованы. Рыли их посреди проезжей части на Радищева, улице Красной Связи и кое-где ещё в округе. По слухам, это рыли метро открытым способом. Котлованы отгородили от тротуаров деревянными заборами с козырьками, кое-где оставили въезды, и когда деревянные ворота раскрывали, было видно, как там копошатся люди с лопатами. Люди с лопатами были заключённые. Их привозили рано утром и увозили к вечеру. Вдоль заборов прогуливались другие люди в коверкотовых макинтошах и смотрели, чтобы к заборам никто с тротуара не подходил. Но прохожие и сами жались поближе к домам и отворачивали головы от заборов. Нас же, ребят, так и тянуло к ним. И когда «макинтошей» вблизи не было видно, мы подбегали к заборам и шли вдоль них, пытаясь разглядеть сквозь щели в шершавых досках, что же там в котловане происходит.

Как-то я застрял около одной такой щели, из неё торчала щепка. Ну торчит и торчит, но она ещё и шевелилась, вниз — вверх, вниз — вверх. Я потянул за конец щепки, но она упёрлась, и голос за забором приглушённо сказал:

— Возьми и позвони по телефону, там нацарапано, скажи, Адам жив и здоров.

И щепка сама просунулась ко мне. Я взял её, сунул в карман, засвистел зачем-то мелодию Карла Бруннера и пошёл сначала вдоль забора, а потом

по тротуару. Сердце билось бум-бум-бум. «Макинтошей» не видно, редкие прохожие внимания не обращали. Я дошёл до конца квартала, свернул налево по Маяковской, прошёл по ней до керосинной лавки, зачем-то спустился в неё, поинтересовался, есть ли фитили для семилинейной лампы, потом поднялся на тротуар и пошёл в обратном направлении к дому. На углу я юркнул в парадную и через проходные дворы пришёл к своему подъезду.

Нельзя сказать, что все эти действия были совершены по наитию. Уже в течение года на экраны выходили разные антифашистские фильмы: «Профессор Мамлок», «Рот-фронт», но главным фильмом для нас, ребят, был «Карл Бруннер» про немецкого мальчика-антифашиста, неуловимого конспиратора, одурачивавшего гестаповских ищеек. Каждый раз, когда Карл Бруннер готовился к своему новому подвигу, в фильме звучала его боевая тема: там-там-там, та-ра-та-там. Мы думали, что это какая-то антифашистская секретная песня, потому что, когда Карл Бруннер насвистывал её, его взрослые друзья тут же принимали меры предосторожности. Поскольку фильм смотрели все поголовно и по нескольку раз, мелодия Карла Бруннера перешла и к нам, и мы её насвистывали как сигнал тревоги — шухер, мол, училка идёт или контролёр в трамвай садится, в общем, держи ухо востро.

Гестаповские ищейки в своих длиннополых резиновых плащах были здорово похожи на наших «макинтошей». Они так же ходили по двое, подняв воротники и зыряка глазами по сторонам. «Макинтоши» — это были те, кто приезжали по ночам и забирали соседей, те, из-за кого в нашем классе

побавилось учеников и чьи места за партой так и остались незанятыми. Никто не хотел на них садиться. И когда в класс пришёл один новенький и плюхнулся на такое место, ему сказали: нельзя, место занято, сюда придут. Новичок попался наглый, буркнул: ещё чего,— и стал открывать портфель. Класс посмотрел на меня: я был второй по силе в нашей первой ступени, первый по силе был в параллельном классе — не звать же его. Драться я не умел, но мог поднять противника, сдвинуть его, чтобы кости затрещали, и кинуть на пол. Но этот бороться со мной и не собирался, а собирался драться, и он треснул меня кулаком в нос. В голове вспыхнуло, в глазах засверкали искры, по губе что-то потекло. Меня охватила ярость, я нырнул под его вторую руку, обхватил за грудь и сжал изо всех сил, придавив к парте. Что-то хрустнуло, он завыл. Я сложил его в проход, его оттащили на свободную парту. Санинструктор Лиля Медведовская промокнула мне промокашкой под носом, промокашка стала красной, тут же мне надавали ещё промокашек, я сел на свою камчатку, закинув голову. Новичок сидел за своей партой, скрючившись, и молча переживал происшедшее. Скоро из нашего класса его перевели в параллельный.

По школе висели плакаты: «В Ежовых рукавицах», «Уничтожим гадину», «Покараем...», но ничего, кроме ужаса, у учеников эти плакаты не вызвали, и тщедушный, похожий на хорька Николай Иванович Ежов симпатии так и не возбудил.

Недавно я открыл энциклопедию, поискал — Ежов Н. И., чтобы проверить дату его смерти. Нету и не было такого душегуба. Были только пустые места за партами в нашем классе.

Но вернёмся к щепке. Я достал её из кармана и осмотрел. С одной стороны она была гладкая и на ней было нацарапано гвоздём, а может ногтем: «Ж 269-38 Адам жив». «Ж» — это наша некрасовская АТС. Мысль позвонить по домашнему телефону мне даже в голову не приходила. Позвонить надо из автомата, с другой АТС, но так, чтобы не успели схватить. Первая мысль была — Московский вокзал: толпа народа, все ходят туда-сюда, позвонил и выскочил — хоть в город, хоть на перрон. Но не складывалось. На вокзале до чёрта милиции и наверняка какой-нибудь пункт прослушки есть. Только набрал подконтрольный номер, сказал первое слово, и к тебе в будку уже бегут. А ты среди звонящих ребёнок только один, остальные все взрослые, далеко не уйдёшь. Значит, надо звонить оттуда, где много детей, и тут перед глазами возникла телефонная будка Дворца пионеров. Кругом одни дети — который звонил? На морде не написано, если сам не обозначишь. Я соскоблил послание со щепки, потёр шкуркой, сдул пыль в окно и стал готовиться к походу во Дворец пионеров.

Во Дворец все ходили тогда как на праздник, в отглаженных пионерских галстуках, белоснежных рубашках, начищенной обуви. У входа стояли дежурные пионеры и придирчиво осматривали входящих. Неряху в мятом, заляпанном галстукке могли и завернуть. Мне эти приключения на входе были ни к чему, и я стал гладить свой маскарадный пионерский костюм. Погладил всё, что мог, расчесал свою шевелюру, которая была не стрижена с зимних каникул, надраил ботинки, положил в портфель «Мифы Древней Греции» и отправился поступать

в исторический кружок — если вдруг спросят. Книжки типа «Мальчик из Уржума» про Кирова, «Грач — птица весенняя» про Баумана, не говоря уж о любимом Карле Бруннере, научили меня тому, что в конспирации мелочей не бывает — всё надо обдумать и предусмотреть заранее.

Во Дворце я не пошёл прямо в будку, а пошатался по коридорам, списал расписание исторического кружка и вернулся в вестибюль. У автомата уже образовалась маленькая очередь, не длинная, не короткая, а так, в самый раз. За мной встала девочка с бантиками и папкой «music», наверно, из хора или с «фортепьяно»: будет звонить домой, чтобы её встретили, такие с папками одни не ходят, но и в чужие дела не суются. А я чего в чужие дела сунулся, кто меня за нос тянул? И теперь стою здесь, как гогочка, как дурак в наглаженном галстуке, и зыркаю глазами по сторонам.

Подошла очередь, я вошёл в будку, положил на телефон портфель и стал его поддерживать левой рукой, перекрывая наборный диск, а правой рукой, средним пальцем стал набирать. Тогда из-под ладошки вообще не видно, что ты там крутишь. Раздались длинные гудки, один, другой, третий. Никто не подходит, я уже хотел бросить трубку, как в ней щёлкнуло, и голос пожилой женщины спросил:

— Алло, я слушаю?

Приложив руку к трубке, я сказал:

— Адам просил передать — у него всё в порядке.

В трубке было молчание, и я не знал, слушает ли она меня. Но она вдруг спросила:

— Вы его видели?

— Нет, только слышал.

— Там?

— Да.

— Господи, — сказала она, — и дети тоже.

— Мне надо идти, — сказал я, здесь очередь.

— Я понимаю, передайте ему, что у меня всё в порядке, если услышите ещё раз.

Я положил трубку, потом снова снял и вытер носовым платком — она вся была мокрая, взял свой портфель с телефона-автомата и вышел. Девочка с папкой «music», входя в будку, спросила:

— Ты можешь меня подождать одну минуту?

Этого я не предусмотрел. Пока я её жду, тут-то они и прибегут. Но можно подождать и в стороне, увижу взрослого — и скроюсь в толпе. Я кивнул ей и показал рукой на вход. Через минуту она вышла и спросила:

— Ты мог бы проводить меня до канала Грибоедова? Там меня встретят.

— Хорошо, — сказал я и подумал — вдвоём даже меньше подозрений.

По-моему, я уже начал слегка сходить с ума от этой конспирации. Звали её Муза, и она действительно ходила в класс фортепьяно. На углу канала Грибоедова её встретила поджарая неприветливая тётка, похожая на нашего завуча, сухо поблагодарила меня за любезность и, подхватив Музу под локоть, быстро потащила её вдоль канала. Явно я был ей не пара. Только как она догадалась? Галстук хоть и прожжённый в двух местах, но свежеглаженный, и ботинки надраены — вполне приличный молодой человек, но так и застрявший где-то в господской передней.

Пока же надо было передать Адаму, что его просьба выполнена. По крайней мере, для него я был

самый желанный собеседник. На другой день я нацарапал на щепке: Адаму — передал, дома порядок. На этот раз два «макинтоша» маячили на углу, и об подойти к забору нечего было и мечтать. Наконец топтунам надоело торчать на одном месте, и они стали удаляться. Я выскочил метров за пятьдесят от щели и засвистел мотив Карла Брунера. Проходя мимо щели, воткнул в неё щепку и посвистел дальше. На Маяковского зашёл в керосинную лавку, купил фитиль и пошёл обратно насвистывая. И вдруг из-за забора я услышал знакомый мотив, всего четыре первых такта: там-там-там, та-ра-та-там. Я дошёл до щели, щепки в ней не было.

Уже в конце войны, когда все ожидали сообщений с фронта каждый час и радио никто не выключал, я услышал из тарелки знакомую мелодию. Она оказалась значительно длиннее этих нескольких тактов, развивалась, переходила в какую-то танцевальную тему, теряла свой характер грозного предупреждения и оканчивалась весёленьким тутти. Диктор сообщил: исполнялась симфоническая сюита Бизе «Арлезианка». Надо же, Жорж Бизе! А как ловко его присобачили к политическому детективу конца тридцатых годов. Вот тебе и Карл Бруннер!

Но почему-то всегда, когда я слышал потом эти зовущие звуки — там-там-там, та-ра-та-там, сердце сжималось, на глаза наворачивались слёзы, и я спрашивал: «Адам, где ты, жив ли, отзовись, Адам!»

ЕСЛИ ЗАВТРА ВОЙНА...

«Если завтра война, если завтра в поход...» — эту песню мы все знали и по ней жили. Занятия по ПВХО — противовоздушной химической обороне — проходили регулярно и повсеместно. Названия отравляющих газов: иприт, люизит, фосген, дифосген отскакивали от зубов. За четыре секунды мы могли надеть противогаз и за десять снять и уложить его. Ни у кого не было сомнений, что война будет химической. На занятиях по ПВХО нам объяснили, что противогазы своего размера мы получим в первый же день войны в школе или домохозяйстве. И там и там имелись списки детей с размерами голов для противогазов. Дети росли, размеры менялись, списки уточнялись каждый год.

22 июня 1941 было воскресенье и мой день рождения. 23-го я побежал за противогазом в школу. Она была закрыта, война почему-то началась на каникулах. В домоуправлении сказали, что никаких детских противогазов у них нет, есть только списки, а противогазы имеются только для дворников и членов добровольной дружины. Посоветовали побегать по военторгам. В военторгах пожимали плечами и посылали куда подальше.

На третий день войны я понял, что нас обманули, бросили на произвол судьбы, оставили незащитными перед всеми кожно-нарывными и нервно-паралитическими. Дома я сказал, что не желаю сидеть и ждать, когда меня отравят как крысу, а хочу уехать как можно дальше. Отец возмутился и заорал:

— Жалкий трус и паникёр! Как ты смеешь говорить такое! Через несколько месяцев мы их разобьём вдребезги, войдём в Германию и уничтожим фашизм!

— Как же, как же! Завоевали всю Европу и начали войну с нами для того, чтобы через несколько месяцев ты их разбил вдребезги! И чем ты их намерен разбить? Истребителями ЛАГГ из дельта-древесины против бронированных мессершмиттов-110? Винтовками Мосина 91/30, десять прицельных выстрелов в минуту против автомата Шмайсер? Или вашими танками КВ, про которые ты сам говорил, что они гряда металлолома и годятся только для парада?

В отличие от отца, я всю финскую войну общался в госпиталях с ранеными — писал за них, обмороженных и обожжённых, письма домой и солдатской правды наслушался на весь свой век. На фронт их кинули в лютый мороз с одними берданками под кинжальный огонь дотов линии Маннергейма, под прицелы финских кукушек. А сейчас оказалось, что и эти все бодрые марши — «будь сегодня к походу готов» — лабуда, и мы, целое поколение детей, предназначались в жертву первой же газовой атаке.

Везде было одно и то же. В эту неделю с 23 по 30 июня я потерял доверие к родному правительству раз и навсегда. И жить стало значительно легче: никаких иллюзий, никаких разочарований.

Тем временем город перестраивался на военные рельсы. Школы вновь открылись. Они проводили срочную и массовую эвакуацию детей из Ленинграда. Наша школа отправлялась в район Старой Руссы. Кто-то ехал под Новгород, Псков, Лугу и

в других направлениях навстречу наступающей немецкой армии. Потом они бежали оттуда вместе с Красной армией. Многие остались под немцем. Доходили смутные слухи, что деятели горно, которые протестовали против эвакуации детей навстречу фронту, были осуждены как трусы и паникёры. Во всяком случае толковые мужики из завкома Кировского завода решили, что ребят они повезут на восток и не ближе чем на тысячу километров от Ленинграда. С этим эшеленом меня и отправили.

В своём вагоне я оказался единственным дачником, одетым в короткие штанишки, со скрипачкой под мышкой и лёгким детским рюкзачком. Остальные были упакованы всерьёз и надолго. Многие ребята уже знали друг друга по школе, по улице, по своей Нарвской заставе. Они были коренные путиловцы. Нарвская застава была их дом родной. У них были сложные отношения с ребятами из других районов — с Лиговки, с Обводного, с Фонтанки. Для меня они принадлежали к другому миру и говорили на другом языке. У них были свои вожди и авторитеты. Один из них, Сыроежка, занимал нижнюю полку в середине вагона. На год моложе меня, маленький, щуплый, он имел уже много приводов и состоял на учёте в детской комнате милиции. То, что он авторитет, стало ясно подо Мгой, когда он скомандовал:

— Сигай все сверху, быстро вниз, а шмутки наверх! Во Мге будет налёт!

Так и случилось. Во Мге под откосом дымились вагоны разбитого пассажирского поезда, в разные стороны расплзались уцелевшие пассажиры. Они были какие-то неправдоподобно маленькие. «Дети!» —

догадались мы. Это был тоже эшелон с детьми. Наш состав медленно тянулся мимо разбитого эшелона, мимо станции, которая тоже горела. Послышался нарастающий вой, рядом что-то ухнуло, вагон качнулся, но устоял. Потом с треском в нескольких местах порвалась крыша, и в потолке появились дырки. Мы сжались от ужаса, пытаясь засунуть головы как можно дальше под нижние полки. Поезд нагнал, станция осталась позади, полыхая пожарами.

Постепенно мы стали вылезать из своих нор и принялись разбирать вещи. Кто-то вытряхнул из валенка пулю, там и сям валялись осколки, ещё горячие. Я посмотрел на Сыроежку уже другими глазами. Он не казался мне уже мелким уличным хулиганом, приклатнённым корешём, которых хватало и в нашем районе, а превратился в умудрённого опытом решительного человека, просто очень молодого. Тогда ему было одиннадцать лет, а мне двенадцать. Но между нами была громадная разница в жизненном опыте, несоизмеримая с разницей в возрасте. Впервые в жизни я столкнулся с человеком другой культуры и интуитивно понял, что вот в этой новой жизни его опыт и его знания стоят гораздо больше моих. И я сказал ему:

— Спасибо!

— «Спасибо» за что? — удивился он.

— Ну вот за всё, — сказал я неопределённо. — Живы ведь все.

— Иди, иди, кочумай до Волховстроя, — буркнул он, — там тоже может начаться. Если наши придурки намалевали красный крест на крыше, то они в него и влепят.

Но «наши придурки» не намалевали. Путиловские мужики, которые готовили эшелон, этого не допустили, и мы через два дня и две ночи благополучно дотащились до станции Антропово. Там нас ждали подводы, чтобы развезти по сёлам и деревням, в которых нам предстояло жить до окончания войны.

ВИЗИТ К ОКУЛИСТУ

Перед Николаем Зимним 41 года в школе на перемене мне выстрелили из рогатки в глаз. Глаз закрылся. «Фершалка» в школьном медпункте сказала, что надо идти в больницу в Турилово, где ещё работает окулист, а то глаз пропадёт. Турилово — это деревня в соседнем районе, до неё вёрст 50, кто их считал, тем более по зимней дороге. В интернате меня стали готовить к походу. Выдали негнущиеся валенки выше колена на два размера больше, укоротили рукава на взрослом ватнике, сшили тёплый шарф из фланелевой портянки и походную котомку из наволочки. Моя дрянь Надька Романова два дня не ходила в школу и тоже чего-то готовила. Она пришла накануне и принесла мне валенки, меховые рукавицы, носки и носовой платок с вышивкой крестиком: «Д. от Н. Р.», что значило — «Дроле от Нади Романовой». Валенки носило не одно поколение молодых Романовых. Они были заново подшиты, и на них стояло 23 заплатки, ни больше ни меньше. Но они были как раз впору, мягкие, тёплые, разношенные.

— А свои интернатские оставь, — сказала Надька. — Ты в них и до Березёлова не дойдёшь — только ноги в кровь собьёшь!

Рукавицы были пошиты из старой овечьей шкуры. Их надо было надевать поверх интернатских нитяных перчаток. Тогда получалось тепло. Ещё Надька протянула мне падог — крепкую суковатую палку с кожаной лямкой на верхнем конце

и с обоюдоострым кованым гвоздём на нижней половине.

— А гвоздь-то зачем? — спросил я у Надьки.

— Как зачем! Совсем ничего не знаешь! От волков отбиваться. Ты его гвоздём зацепишь, потянешь — шкура порвётся, кровь польётся, тут они все на него накинута и разорвут на куски, а ты дальше пойдёшь.

— Кто они? — спросил я, с трудом разжимая рот.

— Да волки же, кто ещё! Не зайцы же! — прыснула Надька. — Вон диких выковыренников в Угловском лесу надысь загрызли, потому что отбиваться было нечем. А ты как зацепишь — так сильней тяни, изо всех сил. У волка шкура крепкая.

В животе у меня неприятно заныло. Перед глазами замаячила волчья стая, в которую я тычу падогом и попадаю мимо. Предстоящее путешествие перестало казаться прогулкой. А Надька разошлась и продолжала наставлять:

— И главное, по дороге не садись и не ложись, а то заснёшь и враз замёрзнешь. Вот обратно же. Дикае выковыренники присели отдохнуть по дороге в Палкино, дык их замело. Если б лошадь не взбрыкнула, когда проезжали мимо, то так бы до весны и сидели.

— И что, они живы остались? — спросил я у Надьки.

— Щас, как же! С трудом разогнули, когда в гроб клали.

Перед моими глазами возникла зимняя дорога, на которой тут и там торчали холмики замёрзших диких выковыренников.

Мы были организованными, интернатскими эвакуированными, или, по-простому, выковыренниками. Гитлер нас выковырнул с родных мест, вот мы сюда и поехали. А все остальные, неорганизованные, были дикие выковыренники.

Ещё до рассвета я подошёл к дому, где жили интернатские технички. Там меня ждала попутчица в туриловскую больницу, кастелянша Антонина. Она на последней барже переправлялась через Ладогу. По пути их бомбили, и ледяной шугой попало ей в глаз. Она думала — проморгается, но глаз не проморгался, а становился всё хуже. Узнав, что я иду в Турилово, она решила идти со мной. Так мы и пошли, с котомками за плечами, с дорожными падогами в руках и перевязанными глазами: у неё — левый, у меня — правый

До Березёлова мы дошли споро, и я вспомнил, как Надька меня предупреждала, что в интернатских колодах я до Березёлова не дойду. И в душе зашевелилось тёплое чувство к ней. В её валенках было тепло и уютно, ноги сами несли, тем более что дотемна надо было дойти до райцентра Палкино и там где-нибудь заночевать. После Палкина началась неизведанная земля. Там никто никогда не бывал.

К Палкину подошли в сумерках. Антонина уже хромала, хотела пить и всё порывалась жевать снег, но я, помня Надькины наставления, кричал на неё и не позволял нагибаться. В Палкине в двух домах нам сказали, что на ночлег здесь не пускают, и послали в ближнюю деревню. По пути туда мы слышали собачий лай, прерываемый волчьим воем. Когда волки завывали, то у собак так же, наверно, как

и у нас, перехватывало дыхание и ползли мурашки от страха. Они замолкали, а потом снова заливались лаем.

Уже совсем стемнело, когда мы вошли в деревню. *Надька, Наденька, ты всё так хорошо рассказала про волков, но ни словом не обмолвилась о людях.* Напрасно мы стучались в исправные избы, в которых светились огоньки. Нас гнали дальше и дальше. Только в одной избе посоветовали:

— Постучитесь в баньку у околицы. Там Назариха одна — может, пустит. У вас сахар есть?

— Есть.

— Тогда, наверное, пустит.

Снаружи банька казалась заброшенной, но к ней были прислонены сосновые кряжи и повсюду насыпаны опилки. Мы постучались. Закутанная в салоп, вышла Назариха, увидела наши перевязанные морды, перекрестилась, но дверь не захлопнула, а учинила допрос. Узнав, что мы не выковыренные побирушки, а идём по делу в больницу, она малость отмякла. Тут я ввернул к месту про вечерний чай с сахаром, на чём она меня тут же и словила.

— Чтобы пить чай, надо его скипятить, а у меня плита не топлена с утра. Вот напилите, наколете — печку стопим, тогда будем чай пить. Руки-ноги у вас целы? Значит, пилить сможете. Проходите в дом, скидывайте котомки. Пила, топор — за дверью.

И мы взялись с Антониной за пилу. Тут я снова вспомнил Надькины уроки. Сколько мы с ней дров перерезали и накололи! Как она меня учила:

— Пилу держи легко. Тяни на себя спиной, а не рукой и помогай ногами. Пила сама пилит, а ты только води туда-сюда. Вжик-вжик! Топор тоже сам

колет, только его надо держать крепко и накосыка. Тогда полено само разваливается, а если бить прямо, то топор только вязнет — устанешь вытягивать. Ваши интернатские бабы переворачивают топор с поленом и бьют обухом вниз, поэтому у вас все топорщица расколотые. Интернатские уроды — они и есть уроды.

От Антонины многого не требовалось, чтобы только пилу держала ровно, не заводила вбок. Но и это уже было выше её сил. Отослал её в баню, а сам стал пилить один двуручной пилой. Это тоже входило в курс деревенского перевоспитания. Наконец дрова были распилены и расколоты. Антонина затащила их в дом, а Назариха затопила печку. Ко мне она стала обращаться уважительно — батюшко. Когда чайник закипел, Антонина всыпала щепоть чая, положила каждому в кружку по куску сахара. Я достал сухари, и мы запировали.

Назариха жила в бане, потому что во время раскулачивания дом отобрали под клуб, мужика сослали и он сгинул, а сама она осталась горевать одна, в колхоз не вступила, живности не заводила. Летом пастушила, а нынешней зимой складывала печки-временки у выковыренных, расселённых по брошенным избам. Спать мы легли, не раздеваясь, на лавках, подложив под голову мешки с куделей и накрывшись ватниками. От печки шло тепло, от стенки холод, но в среднем было лучше, чем в копне посреди поля. Утром попили чаю с сухарями, и Назариха выкатила от щедрот три картофелины с солью.

Идти нам надо было до Турилова по телефонным столбам. Где-то столбы стояли прямо на дороге,

а где-то уходили в сторону в чисто поле. «Но направление указано — вперёд, товарищи!»

К полудню Антонина стала садиться на снег и порывалась передохнуть. Но помня Надькины наставления, я несильно бил Антонину падогом и заставлял вставать, жалости к ней я никакой не испытывал и вообще ничего не чувствовал, кроме непреодолимой усталости и боли во всём теле. С наступлением сумерек мы подошли к какой-то деревне, выбрали самую захудалую избу, постучались, и нас пустили без лишних разговоров. Куда-то мы там свалились в полубреду, а утром нас растолкали и выставили за дверь. И мы снова побрели по столбам, сбиваясь с дороги и проваливаясь в снег, пока не добрались до большой деревни, где столбы кончались у длинного барака. Это и была туриловская больница.

В глазной кабинет была небольшая очередь. Нас как дальних пустили без очереди, и я прошёл первым. Доктор был колченогим, и я понял, почему его не взяли на войну. Через год, впрочем, его взяли тоже. Он с отвращением снял с меня повязку, измазанную сажей и ещё какой-то дрянью, буркнул санитарке — «борную», промыл мне глаз и посмотрел в него через зеркало с дыркой.

— Смотри направо, смотри налево! — протянул мне пузырьрёк с борной и сказал:

— Всё, будешь промывать утром и вечером.

— Как всё?! — возмутился я. — Я шёл сюда трое суток, а вы говорите мне — «всё, промывать борной».

— Можешь не промывать, если не хочешь. Просто дольше болеть будет.

— А что у меня с глазом?

— С глазом ничего. Зрение не повреждено, идите, идите.

Я вышел, как полный идиот, не успев даже порадоваться, что цел у меня глаз, — цел! что всё в порядке и теперь можно идти скорей назад, пока Никола не перекрыл все дороги пургой и морозом.

Антонину пришлось ждать долго. Она вышла зарёванная, держа платок у здорового глаза, больной был перевязан новой повязкой, на которую бинта не пожалели. За ней вышел колченогий доктор.

— Ничего не поделаешь — инородные тела. Здесь у нас нет условий — поедете в Ярославль, там вам помогут. Я всё написал, счастливо.

И мы отправились в обратный путь. Подмораживало, зато дорога была твёрдой. Волки выли, собаки лаяли, кругом была жизнь. На одном перегоне нас посадили на сани, и вечером мы уже стучались в окошко Назарихи. Она удивилась и обрадовалась. На этот раз пилили мы с ней. Потом она сходила куда-то в деревню и принесла два яйца.

— Вам на завтра. Мороз крепчает, так нельзя — на одних сухарях. В «омборк» брякнетесь — никто не поднимет.

Дрова колоть она в этот раз тоже не заставила.

— Силы надо беречь — вдруг запуржит в дороге.

Палкино мы проскочили на одном дыхании. Потом повторилось уже знакомое: отупение, жажда, боль, но Антонина уже не садилась на снег, у неё тоже заработал запасной мотор. Мы оба торопились убежать от Николы.

У деревни Починок, самой большой и самой богатой деревни нашей округи, кто-то стоял, облокотившись на перёгороду, и смотрел в нашу сторону.

Мы подошли поближе, и я узнал Надьку. Это она стояла, но такая на себя непохожая. На ней был роскошный домодельный полушубок, из тех, что при царе назывались романовскими, валенки не валенки, а мягкие чёсанки с загибом, белый кашемировый платок с красными цветами. Она степенно вышла из-за перёгороды навстречу, посмотрела мне в лицо и вдруг бросилась мне на шею.

— Живой?!

— Живой.

— Целый?

— Целый.

— И глаз цел?

— Цел.

— То-то я смотрю, — без тряпки. И она снова цмокнула меня в щёку.

Вообще говоря, мы с Надькой были одногодки, но она была выше, шире и статнее, а сейчас я понял, что она просто красавица. Она отстранилась, взглянула со стороны и, видать, тоже осталась довольна, что её дроля выглядит вполне справно, руки-ноги на месте, падог в руках, рожа не обморожена.

— А ты что, нас встречаешь? — догадался я спросить. Она засмушалась:

— Да не, я к коке пришла навестить на Николу. Груздей ей принесла.

— Дай, думаю, выйду, посмотрю, может, вы идёте, а вы и идёте.

— А если бы ты посмотрела и ушла в дом, а мы бы и прошли мимо?

— Не прошли бы, кока наказала тётке Мазиной, у неё дом на самой дороге. Как собака залает, так сразу выходить и спросить. Если вы, то сразу послать к ней.

— Кого посылать, собаку? — стал придирается я, входя в роль Надькиного репетитора.

— Кого-кого! Вас посылать! Пришёл учитель-мучитель. — И Надька снова чмокнула меня в щёку. Чувства просто распирали её: как всё складно получилось.

Мы подошли к кокиному дому. Мы с Антониной никогда бы в такой дом не сунулись. Большой и высокий пятистенок с резными наличниками, обшитый обрезной доской и крашенный голубой краской, этот дом возвышался как символ благополучия в далеко не бедной деревне. В хлеву мычала корова, блеяли овцы, квохтали и курлыкали пернатые. Мы поднялись по высокому свежевыветенному крыльцу и вошли на мост.

То, что в северных деревнях называется мост, во всех остальных называют сени. На большом столе стояли стеклянные крынки. Даже в тусклом свете уходящего зимнего дня было видно, что в каждой крынке сливок отстоялось, по крайней мере, на стакан. Ни до того, ни после, никогда я такого количества сливок на молоке не видел. Это было молоко от её величества коровы ярославской породы. А на мосту стоял её дневной надой, литров двадцать неправдоподобного молока.

Кто мог тогда знать, что лет через тридцать исчезнет бесследно вся её порода, как исчезнут и несравненные заливные луга, а в вымирающих колхозах на фермах повиснут в лямках ослабевшие от бескормицы потомки, из которых будут пытаться выдоить хоть полтора литра синеватой водицы.

Но это было всё впереди. Это я увидел уже в 1974 году, когда приехал сюда на свидание с детством.

Это было всё потом, потом, а сейчас мы входили в зало — главную комнату в избе. Кока собиралась праздновать Николу. В Починке это был храмовый праздник. У нас в Стёпине Казанская, а у них зимний Никола. На столе стояло... Читатель, не буду утомлять тебя рассказом о том, что стояло на столе. Самое богатое воображение зимой 41 года было бы бессильно. А рядом стояла кока — колхозный бригадир и абсолютный властелин центра цивилизации под названием Починок.

«Есть женщины в русских селеньях» — писал Некрасов Н. А. Это о ней он писал, этот чахоточный петербургский барин. Она так же, как и Надька, носила царскую фамилию Романовых, и их сходство с Надькой было налицо. Катерина Александровна, так её звали, дала нам чистые полотенца и отправила на мост мыть руки перед едой. В рукомойнике была не ледяная, а тёплая вода. Вместо обычного чёрного обмылка лежало душистое туалетное мыло. Помывшись и как заново родившись, мы вернулись к столу. Катерина Александровна помолилась и попросила Николая Чудотворца о здравии своего мужа, Надькиного отца, моих родителей. С Антониной вышла заминка: у неё никого не осталось, и мы помолились за её исцеление. Потом был пир. Потом Катерина Александровна ушла в свою светёлку, Антонина расположилась на лавке, где уже лежали душистый сеник и настоящая подушка. А мы с Надькой полезли на полати. За окном свистел ветер, лаяли собаки, выли волки, а в доме теплилась в красном углу лампада, посапывала на лавке Антонина, и я впервые за всю войну почувствовал себя счастливым. Надька гладила меня своей жёсткой ладошкой по щеке и приговаривала:

— Дроля ты мой, дроля...

И я подумал: «Это же надо! Это она сама меня выбрала. А кто я был для неё? — Жалкий выковыренный, ничего не знающий, ничего не умеющий и вечно голодный. И что я для неё сделал? Ну подумаешь, занимался с ней почти по всем предметам. Плевать она хотела на эти предметы!»

Надька делала из меня человека ежедневно и неустанно. Она научила меня пилить и колоть дрова, щипать лучину, растоплять печь, чистить трубу берёзовым веником с гирей, запрягать лошадь. В первую же осень она научила меня косить. Я ещё не знал, что грядущим летом начнётся настоящее испытание, когда меня будут поднимать в полчетвёртого утра, чтобы к четырём быть на покосе. «Коси, коса, пока роса!» И мы косили от четырёх до девяти, а потом, когда высоко поднималось солнце и трава начинала сохнуть, быстро разбрасывали её и уходили с покоса. В четыре часа дня возвращались и косили уже дотемна. На покосе я часто вспоминал стихотворение Кольцова «Раззудись, плечо! Размахнись, рука! Ты пахни в лицо, ветер с полудня!» Какого чёрта «полудня»? Что он, никогда на покосе не был, этот сын прасола!

Травы у нас были элитные. Косить надо было под ноль, не оставляя никаких огрехов, но и не загоняя косу в землю, а так: отводишь косу и, прижимая пятку, бреешь перед собой полукруг, а сзади и спереди идут другие косцы, нельзя ни отстать, ни уйти вперёд. Через полчаса взмокает рубаха, через час

* Мальцом я не сообразил, что «с полудня» значит «с юга».

солёный пот заливает и щиплет глаза, а ты идёшь и брешь перед собой нескончаемый луг.

Когда через год я поступал в казанское лётное училище, медкомиссия удивилась:

— Надо же, такой маленький, а объём лёгких как у взрослого мужика!

Утром мы собрались, позавтракали, кока сунула нам ещё чего-то в котомки, и они заметно потяжелели. На подходе к своему Стёпину Надька занервничала, засуетилась и, сказав, что маманя её ждалась, припустила быстрым шагом. Не хотела, чтобы нас вместе видели и потом бы её дразнили. Мезальянс, он и в Стёпине мезальянс.

Потом мы в своей группе разобрали котомку и долго работали челюстями.

— Откуда у тебя? — спросил Сыроежка.

— В больнице дали на дорогу.

Сыроежка посмотрел на меня долгим взглядом и сказал:

— Правильно, так всем и говори, если спросят.

Наверно, он подумал, что мы это по дороге спёрли. И в душе этот поступок одобрил.

ВОСПИТАТЕЛЬНИЦА ЛЮДА

В нашей группе старших мальчиков воспитательницей была Люда, в мирной жизни студентка филфака. Никаких полезных навыков у Люды не было: коров доить не умела, лён теревить не могла из-за близорукости — всё время хватала колючки вместо льна и ранила руки. В общем, в хозяйственной жизни она была совершенно бесполезна и после пары попыток перестала в неё вмешиваться, поручив всё Сыроежке. Зато она здорово разбиралась в русском-литературе и иногда, помогая кому-нибудь, спрашивала:

— Вас так в школе учат? Интересно.

И высоко поднимала брови. Больше всего её волновало, как бы мы с деревенскими не поубивали друг друга. И она настояла на том, чтобы мы сделали забор вокруг дома, и поначалу выскакивала из дверей, когда деревенские приближались и орали свои матерные частушки. Она пыталась их усювестить и просила не мешать нам заниматься. В ответ были сочинены новые частушки:

Интернатские уроды
Городили огороды!
Таракан перескочил
Да огород переломил!

Наши навыки и строительный опыт были отражены довольно правильно. Другая частушка носила уже характер угрозы:

К Люде дому подходить
Да нам хотели запретить!
Ах вы, эти запретители,
Да в морду не хотите ли?

Это, так сказать, четверостишие было перифразом боевого клича, после которого раньше, ещё при мужиках, начинались междеревенские драки. Мелодия частушек была примитивной, вернее, был речитатив, который исполнялся нарочито грубыми, хрипылыми голосами. В связи с дефицитом грубых и хриплых деревенские, когда ходили в другую деревню, иногда приглашали меня. И я честно отработывал свою партию, зажатый в середине ватаги, чтобы скрыть от посторонних глаз «пришлого гастролёра».

Как бы то ни было, в нашей деревне серьёзных драк не было. Так, подвесят кому-нибудь фингал или треснут поленом по башке, но до больших кровопролитий дело не доходило. Песня вроде:

Задушевного товарища зарезали во рже,
Молодая кровь весёлая застыла на ноже

уже была фольклором, данью прошлому. Людмила велела мне записывать частушки, но я самонадеянно считал, что и так помню их все, и, кроме того, записывать их мне было противно.

Осенью в интернате начался фурункулёз. Нарывы садились на руки, на ноги, в основном на сгибах суставов, реже появлялись на лице. Людмила пострадала больше всех — на ней места живого не осталось. Лицо у неё было перевязано от шеи до волос. Для дыхания ей сделали в повязке дырки у носа и две дырки для глаз. Руки были перевязаны

от пальцев до локтя. Что там было у неё на ногах — непонятно. Но судя по тому, что она передвигалась, хромая на обе ноги, с ними тоже было не лучше. Деревенские думали, что это всё от мыла: мылась бы реже — была бы здоровее. Но мы знали, что мыло ни при чём, а всё дело в витаминах. Первым как всегда всё обмозговал Сыроежка. Он сказал нам:

— Скоро придёт цинга. Воруите лук и чеснок, смотрите на огородах, ройте черемшу.

Сам он отдавал найденный подгнивший лук Людмиле. Она благодарила, но потихоньку выбрасывала. Уже выпал снег, стали реки. И тут в правление колхоза пришло распоряжение из района. Так, мол, и так, вскорости в вашу деревню для встречи со своей невестой прибудет герой-лётчик на три дня. Обеспечьте ему доставку от станции Антропово и обратно. Была указана фамилия невесты — Людмила фамилия. Когда она узнала, с ней чуть худо не стало. Ну конечно, лётчик жив — уже хорошо. Потом он ещё и женихом сказался и едет к ней. Но что с ним будет, когда он вместо невесты увидит мумию из Эрмитажа? Нам тоже передалось её волнение. В деревню ещё никто с фронта не приезжал, да ещё лётчик-герой. Но с другой стороны, что его здесь ждёт? Как он на неё посмотрит? Идеалисты решили, что ничего страшного — на то и война. Главное, что оба живы. Реалисты, среди которых был и Сыроежка, засомневались: лучше бы он сюда не приезжал сейчас. К весне бы мы её подкормили, берёзовый сок пойдёт, щавель, крапива, сосновые ветки. На солнышке подержим, быстро поправится.

Летуны — они ведь избалованные, рассуждал Сыроежка, война — не война, а им подавай кралю.

Наш колхозный бык хоть одну интернатскую корову огулял? То-то.

И это была чистая правда. По интернатам распределили эвакуированных коров, которые своим ходом прошли из фронтальной полосы до нас. Стоять они уже не могли и висели в хлевах на упряжках, на ремнях, на чём угодно. Если такая корова ложилась, она уже больше не вставала. Наиболее крепких из них пытались сводить к быку, мазали им шкуру льняным маслом, чтобы блестела, копыта чуть ли не маникюрели, рога оплетали венками, но злобный бык, после того как он обрушил нашу главную надежду Майку и сам чуть ноги не поломал, уже на других интернатских и смотреть не хотел. Быть нам весной без молока, и держали мы их у себя только из жалости.

— Ну то бык, а то лётчик, — неуверенно возражали мы Сыроежке.

— Один чёрт, — стоял он на своём, — лучше бы этот лётчик по дороге ногу, что ли, сломал.

Но герой-лётчик ногу не сломал, а в положенное время прибыл на лучшей колхозной кошёлке с тётей Шурой, которая за два трудодня согласилась его везти. Прибыл он под вечер. У Людмилы в её комнате уже горела коптилка, она ждала его в доме. Из нашей избы её окошко было видно, и мы прикидывали, что если у них сладится, то коптилку загасят, а если нет, так и прогорит до утра.

Поскольку народ серьёзно поспорил, то Сыроежка назначил дневальных следить за окошком, а остальные легли спать. Проснувшись ещё затемно, мы все кинулись к окнам: Людмилино окошко по-прежнему светилось.

— Не гасла? — допрашивал Сыроежка дневальных.

— Зуб даю, — клялись дневальные, — ни на минуту!

— Плохо дело, — сказал Сыроежка.

И мы потянулись в столовую на завтрак. Людмила к завтраку не вышла. Потом мы оттопали свои две версты по тропинке в школу, а когда вернулись, то узнали, что герой-лётчик утром сходил в правление, схлопотал себе снова тётю Шуру с кошёркой и укатил в Антропово. А вскоре после его отъезда Людмила повесилась на чердаке, соскочив с полена.

Гроб ей мы делали всей группой. Кто-то резал доски, кто-то их строгал, а мне велели обтесать столбик для таблички — крест ей не полагался. Во-первых, она была самоубийца, а во-вторых, комсомолка. Завхозиха принесла дощечку с надписью, из которой мы узнали, что ей было 20 лет.

Хоронили её на краю кладбища. Пришли многие деревенские молодухи. Оказывается, она для них письма писала на фронт мужьям и женихам. Ходила такая феня, что военная цензура неразборчиво написанные письма не доставляет, а выкидывает, поэтому, мол, и ответных нет. Молодухи жалели Людмилу и осуждали лётчика:

— Что он, ещё два дня рядом пожить не мог? И она бы скорее поправилась! Сказывают, болезнь эта от нервов тоже. Только городские ей и болеют, а деревенских не берёт.

Людмила лежала в гробу вся забинтованная, точь-в-точь, как мумия в Эрмитаже, и уже в своём саркофаге.

Накануне вернулась тётя Шура, «сильно дамши» и с фингалом под глазом. В санках полость была забрызгана кровью.

— Ты с кем это, Шур, подралась? — спросила её конюх тётя Нюра.

— А с этим, сталинским соколом! Он мне бутылку сунул, когда приехали, а я ему: ты что же ей не оставил? Сам сбежал и водку утащил! А ей она нужна для примочек, гнида ленинградская! Ну и хрясь его по морде, а он мне в глаз. Так и поговорили.

— Однако у него из морды много крови вытекло, — сказала тётя Нюра, вытаскивая полость из кошёвки.

Потом ещё долго на ней были видны бурые пятна, напоминавшие нам о всей этой невесёлой истории.

ЗА ХЛЕБОМ

Летом 42 года пекарню в сельпо закрыли за ненадобностью. Деревенским печёный хлеб не полагался. Они пекли сами, у кого мука была, до диких выкопыренников никому дела не было. А интернатским приказали получать хлеб в райцентре, в Антропове, за 18 вёрст, кто их считал.

Первый раз после закрытия пекарни хлеб повезли из Антропова на телеге, но она до нас не доехала. В Угловском лесу на телегу якобы напали и хлеб отобрали. Бабка-возница вернулась в Антропово, трясясь от страха, и сказала, что больше ни за что не поедет. Решено было, что мы сами будем туда ходить раз в неделю за своим пайком. Технички пошили тем, у кого ещё не было, котомки. Каждый сам себе выстрогал берёзовый падог покрепче. И рано утром на неделе мы тронулись. В Антропове нас быстро загрузили. На каждого в среднем приходилось три буханки по три килограмма каждая. Хлеб был сырой и тяжёлый. На первой же версте мы растянулись гуськом. Сыроежка остановил нас и сказал:

— Так дело не пойдёт! Идти надо кучно.

Он перераспределил ношу. Сильные понесли по четыре буханки, слабые по две. Сразу же колонна подровнялась, но лямки стали врезаться в плечи так, что руки немели. Пришлось подкладывать под них траву, берёсту и прочую дресьву.

Угловский лес прошли спокойно, никто не выскакивал, не свистел и не ухал. За лесом был подъём

к деревне Угол. В середине деревни дорога загибалась. Отсюда и название — Угол. На этом загибе стояла ватага угловских ребят во главе с Мишкой Александровым — местным хулиганом и заводилой. От Мишки стонала вся школа. Он собственноручно задушил школьную кошку на крыльце и кинул её в учительскую, за что получил от учителей прозвище Кошкодав. Он подсыпал порох в печи, и они стреляли во время уроков. Вырезал на партах тексты и картинки, которые потом вырубали топором. Прямых столкновений с интернатскими не имел, но обещал, что ужо нам покажет.

Когда я впервые услышал это слово «ужо», то спросил у местного грамотея дедушки Тупицына:

— Ужо — это что? Надьсь, опосля, намедни, завтрева или что?

Дедушка даже расстроился от моей непонятливости:

— *Опосля* — это опосля чегой-то, *завтрева* — оно завтра и есть, значит не сегодня. *Надьсь* — это вот проехали, *намедни* — это в самый раз намедни. *А ужо*, — сказал дедушка со значением, — это когда подопрёт, тогда и ужо. Понятно?

Вот оно это *ужо* и подпёрло. Угловские стояли поперёк дороги, все с зимними падогами, то есть прошитыми гвоздями в нижней части. Мишка Александров впереди всех, руки в карманах, подождал, когда мы подойдём поближе, и с ухмылочкой произнёс:

— Ну что, явились — не запылились? Мы вас тут давно ждём, чутра соскучились. Вытрясайте ваши котомки сюда на брёвна по-хорошему, а не то мы всё равно возьмём по-плохому и шкуры с вас спустим.

Тут его ребята подняли свои гвоздатые падоги и шагнули вперёд. Мы тоже перехватили поудобнее наши дубины. Но Сыроежка наклонился, подобрал с дороги ссохшийся кусок глины — грудку — и швырнул её в окно ближайшего дома. Стекло со звоном разлетелось, а Сыроежка закричал со всей мочи, подбирая вторую грудку.

— Хватай грудки — и по окнам!

Мы как очнулись от столбняка. Стали хватать куски побольше, потяжелее и швырять их в ненавистные избы. Тут же из изб посыпались бабы и заорали:

— Митька, Санька, Ванька! Беги домой, не трожь их! Они нам все окна побьют!

Кто-то из угловских стал беспорядочно махать падогом, кто-то побежал к своим домам. Кому-то перепало дубиной по рёбрам, и раздался вой.

— Ходу! — скомандовал Сыроежка. И мы побежали по дороге, поднимая и швыряя грудки, но уже не целясь по окнам.

За деревней Сыроежка продолжал нас подгонять:

— Ходу, ходу! Пока они не очухались!

Я тоже бежал со своими четырьмя буханками и ещё с Сыроежкиной котомкой, которую он отдал мне, когда мы увидели угловских. Сердце выскакивало, в глазах было темно, но Сыроежка подгонял. Наконец у перелеска, откуда хорошо была видна вся дорога до Угла, он скомандовал:

— Кочумай!

И мы повалились на придорожную траву. Он пересчитал нас, разрешил взять одну буханку, которую мы нарезали суровой ниткой на равные части. Каждый взял свою пайку, и мы двинулись дальше.

Под вечер мы пришли в своё Стёпино. Директорша позвала Сыроежку в контору, и они долго о чём-то разговаривали.

К следующему походу мы начали готовиться уже на другой день. Технички стали пришивать к ляжкам накладки, чтобы не так резало плечи, а нас Сыроежка повёл в кузню, где мы стали делать ножи.

Конечно, лучший нож получается из рессоры. Но рессор на всех не напасёшься, и резать их обломком тупой ножовки тоже небольшая радость. Братья Тихомировы — самые рукастые и упорные — сделали один такой нож для Сыроежки. Насадил на дубовую ручку с сучком в тыльной части, отполировали по его руке, а дедушка Тупицын стачал ножны из обрезков овечьей шкуры. Остальные делали ножи из гвоздей. Берётся ржавый длинный гвоздь, обычно выдирается из стропила, расклёпывается на наковальне, и получается лезвие шириной сантиметра полтора. Потом заготовку нагревают докрасна, насаживают на рукоятку, охлаждают в воде, точат — и нож готов. У некоторых получалось весьма красиво. У меня нож был большой, но довольно корявый. Сыроежка сначала хотел забраковать его, но потом решил:

— Тебе он всё равно ни к чему — ты в обозе.

Наши падоги мы тоже переделали на зимние, прошив их гвоздями. Сыроежка эту модернизацию не одобрял.

— Мы не живодёры и не мокрушники, — бормотал он себе под нос. — Ни в коем разе первые гвоздём шкуру не рвите. Баловство всё это.

Мысль о том, что следующая встреча может окончиться избиением и массовым кровопролитием,

не давала ему покоя. Он решил обучить своё войско. В качестве мишени выбрали самого толстого — Мihu Казакова. Он на ходу задыхался и с нами не ходил. Говорили, у него какой-то порок. Но на аппетите этот порок не отражался. Сыроежка напялил на Мihu ватник, потом тулуп, заставил надеть ушанку и рукавицы и поставил осередь гумна.

— Ну давай, Пета, стукни его падогом! Только вытащи гвоздь.

Пета размахнулся и стукнул Мihu по спине. Мihu слегка поморщился.

— Ну, и что? — спросил Сыроежка. — Что ты машешь палкой, как ведьма помелом? Пока ты так машешь, он с тебя всю шкуру спустит! Палка — это штык, и бить ею надо в упор. — Он перехватил палку у Петы и молниеносным ударом с выпадом ткнул Мihu в живот. Мihu согнулся пополам и рухнул на солому, поджав ноги. Подождав, пока Мihu провоет, что он не хочет и не будет, Сыроежка сказал ему:

— А чтобы твои товарищи кровью обливались, когда будут твою пайку тебе таранить, ты хочешь? Может, ты хочешь с нами пойти?

Мihu тут же замотал головой.

— Не хочешь? Тогда молчи и терпи, а не то по морде схлопочешь!

Мihu знал, что Сыроежка свои угрозы дважды не повторяет. Он поднялся и застыл в ожидании новых ударов. Каждый из нас попробовал. Сыроежка крутил Мihu в разные стороны, он исправно падал, правда, пару раз от Сыроежки схлопотал за симуляцию и халтуру.

По результатам боевой подготовки Сыроежка разбил нас на две группы: гужевые и бойцовые. В случае столкновения гужевые забирали поклажу

у бойцовых и тесно кучковались в середине, а бойцовые занимали круговую оборону и защищали гужевых и хлеб. Сам не зная, Сыроежка повторил манёвр Наполеона в битве при Аккре, когда он скомандовал: «Ослов и учёных на середину!» — чем спас обоз с провиантом и золотой фонд нации.

Миха пострадал не сильно. Кроме первого синяка от удара Сыроежки, на нём видимых повреждений не было, если не считать мокрых портков. Но над этим никто не смеялся. Закутали его в тулуп, отнесли порты на ручей, прополоскали, потом просушили над костром.

Ночь перед походом прошла беспокойно. Кто-то стонал, кто-то метался, кто-то плакал во сне. Встали все до подъёма, позавтракали, собрались. Директорша пришла провожать, сказала:

— Давайте я с вами пойду, а то я здесь вся изведусь. Но Сыроежка твёрдо ответил:

— Нет. Мы сами, не боитесь, всё будет путём.

На околице нас поджидала бабка Тупицына с иконкой, перекрестила и что-то прошептала вслед.

Часа через два мы вошли в Угол и увидели, как занавески на окнах зашевелились. Но во многих окнах уже не было стёкол, и они были заткнуты куделей. Не было наказания страшнее, чем выбить стекло в избе во время войны. Потому что стекло было дороже золота. Дороже стекла был только хлеб. Они позарились на наш хлеб и потеряли свои стёкла.

На обратном пути мы перестроились ещё до деревни. Она была как вымершая. Ни одного человека, ни одного звука. Они ждали нас за дальней околицей. Не замедляя шага, мы шли на них. Мишка Александров, как и в тот раз, стоял впереди своей банды.

— Притормози, — командовал Сыроежка, — и пошёл прямо на Мишку.

— Сдавай всё, — хмуро сказал Мишка.

— А варежка не порвётся? — вскрикнул резко Сыроежка. — Хавало не лопнет?

Он шагнул ещё вперёд. И мы увидели, что наш маленький Сыроежка прямо затрясся от злобы, приблизившись вплотную к этому бугаю Мишке.

— Сдавай! — заорал Мишка.

— Получай! — крикнул Сыроежка и воткнул ему в живот свой нож из рессорной стали с дубовой ручкой. Я успел заметить, что воткнул он в него только конец, самую малость. Мишка заорал благим матом:

— Убивают!!! — и повалился на землю.

Перекрывая его вой, Сыроежка закричал:

— В штыки, бей их!

С падогами наперевес бойцовые кинулись на угловских. Короткие колющие удары под дых, потом верхним концом, как прикладом, по зубам, по шее — куда попадёт. Жуткий вой раздался вперемежку с криками:

— Убивают! Мамочка!

Мишка Александров сидел на земле и держал руку на ране. Из-под пальцев проступала кровь, а его банда разбегалась в разные стороны, бросая свои живодёрные дреколья. Сыроежка посмотрел на Мишку сверху вниз, сказал:

— Не бойсь, до свадьбы заживёт.

Приподнял его рубашку, вытащил из кармана пузырёк с йодом, помазал Мишке пробкой края раны, отчего он снова завыл, и приказал:

— Лежи тихо, сам не ходи, пусть телегу пришлют. Но ещё раз встрянешь на дороге — убью. Так и запомни — убью. Ты меня понял?

— Понял, — прохрипел Мишка.

— Ходу, ходу! — скомандовал Сыроежка. И мы, потрясённые всем пережитым, затрусили по дороге.

Несколько дней мы ждали милиции из района или нападения угловских ночью. Но всё обошлось, только наши экспедиции за хлебом прекратились. Вместо хлеба нам стали раз в месяц привозить муку из Антропова с дежурным инвалидом из роно. Хлеб стали печь сами. Сначала не получалось, а потом позвали бабушку Тупицыну, и наш хлеб стал лучшим в деревне, а может, и лучшим в округе. Но теперь я думаю, немало поездив по свету, что это был лучший хлеб в мире.

Мишка Александров скоро поправился, но сильно замрачнел. Сыроежку по осени перевели в Антропово подальше от деревенской вендетты, но после деревенского приволья в райцентре он заскучал, сбежал из интерната, стал беспризорником. Дальнейший его путь теряется в милицейских хрониках, и после войны мне так и не удалось его найти. А жаль, всё-таки он был мой лучший и самый авторитетный учитель по жизни.

АМУРСКИЕ ВОЛНЫ

Семьдесят лет тому назад¹ я ехал в поезде из Ленинграда в Белоруссию на каникулы. По вагонам ходил пожилой лишенец² и играл на скрипке старинные романсы и народные песни. В то время старинные и вообще всякие романсы не поощрялись, а вместо народных песен так и норовили втюхать населению советские марши типа «Нам нет преград на море и на суше», «Артиллеристы, Сталин дал приказ!», «Три танкиста» и тому подобный агитпроп. Из советских песен население пело только «Катюшу» и «Полюшко-поле», но предпочитало «Шумел камыш, деревья гнулись» и «Из-за острова на стрежень». Поэтому, едва скрипач начинал без особых изысков, но с чувством наигрывать «Очи чёрные» или «Две гитары за стеной», пассажиры примолкали, потом подпевали и щедро одаривали музыканта, кто куриной ножкой, кто бутербродом, а кто и рублём — знай наших!

Музыкант с благодарностью принимал все эти дары, складывал их в свою старомодную корзинку с крышкой и переходил в следующий вагон. И я подумал тогда: «Вот состарюсь, тоже буду ходить по вагонам и играть задушевные мелодии. И все будут благодарить и делиться, кто чем может».

¹ Примерно 1938 год.

² Человек, лишённый гражданских прав из-за непролетарского происхождения после переворота 1917 года.

То, что музыкант — лишенец, было видно по его благородному лицу, грустным глазам и старой студенческой тужурке с форменными пуговицами. У нас дома такая тужурка хранилась в шкафу, и отец не позволял её выбросить или сдать в утиль, говорил: «Ребёнок подрастёт, ему пригодится».

Но мечта моя — ходить в старости по людям и зарабатывать игрой на скрипке — до старости не дожила. Она воплотилась раньше.

Через три года, поздней осенью 41-го, в деревне Степино Костромской области к нам в интернатскую избу постучали. Вошли незнакомый дед и зарёванная молодуха. Дед снял шапку, осмотрел нас и сказал:

— Из Вередишина мы. Который из вас тут музыку играет?

Мы стояли и молчали. Уже наученный опытом не высовываться раньше времени, я тоже стоял и молчал. Сыроежка ткнул меня острым локтем в бок и спросил:

— Ты чего молчишь? Не видишь, человек спрашивает! — И, обращаясь к старику, пояснил, ткнув в меня пальцем: — Вот этот — на скрипке играет!

— На скрипке? — удивился дед. — Лучше бы на балалайке или на гармонии. На скрипке всегда чего-то непонятное играют, а у нас поминки. Вот, похоронку прислали.

Тут молодуха в голос зарыдала. Дед на неё шикнул:

— Да погоди ты!.. Третьи сутки в себя прийти не может. А ты понятное что-нибудь можешь?

Кроме менуэта Боккерини и гавота Люлли, я ничего внятного до тех пор не играл. Но для поминок в деревне Вередишино этот репертуар вряд ли годился.

И тут я вспомнил лиценца со скрипкой в поезде Ленинград—Витебск и сказал:

— Можно попробовать. Но мне надо пару дней, чтобы подобрать мелодии.

Тут дед говорит:

— Нам завтра нужно, на сороковины.

Он помолчал немного и добавил:

— Поехали сейчас с нами, у нас в избе зало пустое, там и будешь подбирать свои мелодии. А потом мы тебя привезём обратно. Ты чего-нибудь божественное знаешь?

— Нет, — признался я честно. — Только «Боже, Царя храни».

Тут лицо у деда сморщилось. Из единственного глаза выкатилась слеза, он отвернулся, сказав:

— Ну, собирайся, что ли. Мы тебя на улице ждём.

На улице стояла справная бричка, запряжённая молодой лошадкой. Видать, дед был не из простых колхозников. И сено в бричке у него было не жёсткое из прошлогодней осоки, а шёлковое, луговое, с чудным запахом. Я плюхнулся в бричку со своей маленькой скрипкой, очень сомневаясь насчёт завтрашних поминок, вернее, своего в них участия.

Изба у деда в Вередишине была побольше нашей трёхкомнатной итээровской квартиры в Ленинграде. Почему её у него не отобрали, бог его знает. Он не был похож ни на одного деревенского коммуниста, которых я видел до тех пор, — те были какие-то заполошные, крикливые и бестолковые, а у деда всё было в полном порядке, как будто советская власть — сама по себе, а он — сам по себе. Но вот похоронкой в доме и его она не обошла.

— Стало быть, ты интернатский, — сказал он, когда мы взошли в дом, — значит, голодный. Раздевайся, садись на лавку к столу, сейчас похлебаем шти, а потом иди в зало и занимайся сколько хошь. Я ужо приду послушаю. Люди ведь будут, неудобно, если вдруг чего не так. Понимаешь?

Я кивнул головой — чего тут не понимать. У нас в музыкальной школе завуч Генриетта Иосифовна тоже перед концертом приходила в классы всех слушать.

«Зало» была большая комната в пятистенке со своей печкой и нарядной иконой в углу, перед которой теплилась лампада. В комнате стояли длинный стол и крепкие самодельные стулья, видать, дедовой работы. Я вынул скрипку из футляра, подтянул смычок, поканифолит его сухой живицей. Стал скрипку настраивать. Это была нелёгкая задача, так как одна из струн — «ля» — порвалась, а на замену ей струны не было, и я использовал рыболовную леску-жилку, купленную в сельпо. Из мотка я нарезал куски на струну, осторожно натягивал, но так как леска была плохого качества, она часто рвалась на подходе к звуку «ля», и всё начиналось сначала. Постепенно, методом проб и ошибок, скрипка была настроена, и я начал потихоньку разыгрываться.

Тут-то и дало себя знать недавнее теребление льна. Норма на каждого была один трудодень: три сотки льна вытеребить, перевязать в снопы и сложить в стожки.

Лён бывает долгунец и кудряш. Обычно сеют раздельно, но у нас было всё вперемежку — полоска долгунца, полоска кудряша. У долгунца стебель тонкий, прямой и скользкий. Двумя рукамихватишь

сколько можешь стеблей, сжимаешь их в пучок, скручиваешь и выдёргиваешь из земли. Чтобы стебли не выскользнули, сжимать их надо крепко, особенно если земля сухая и они в ней прочно сидят. А если земля сырая, то стебли выдёргиваются легко, но несут в корнях комья, которые надо отбить и стряхнуть, на что уходит половина времени и, соответственно, вырабатываешь полтрудодня.

Лён кудряш на то и кудряш, что он ветвистый, развесистый, весёлый, но в нём обычно прячутся репейники и другие колючки. К концу дня все руки в крови, ночью они распухают и нарываюют. В медпункте наскоро помажут зелёнкой, перебинтуют и — снова в поле. Говорят, где-то есть теребилные машины, но это для нас — из области фантазии, а не в нашей Костромской области. Где-то, может, и пахали на лошадях, а не на бабах, где-то, может, и писали в школе в тетрадах, а не между строк на старых газетах. Читать между строк я ещё до войны научился, но писать — это вам не языком чесать.

Я размотал левую руку. Слава богу, подушечки пальцев были целы, и промежуток между большим и указательным пальцами тоже не сильно саднил. По крайней мере, рука по грифу скользила, но распухшие пальцы слушались плохо и мешали друг другу, если надо было взять две ноты рядом. Но терпение и труд всё перетрут. И постепенно из-под пальцев стало выходить что-то ладное. Как-то сами собой заигрались «Амурские волны», потом «Хасбулат удалой», потом покатали ямщики: один — «помирать в степи», другой — «не гнать лошадей». Само собой «раскинулось море широко», и оно пошло уже с таким надрывом, особенно когда «на-

правно старушка ждёт сына домой», что и самого слеза прошибла.

Тут дверь скрипнула, вошёл дед. «Волна на волну набежала» в последний раз, я опустил скрипку. Дед прокашлялся и спросил:

— А ты, верно, можешь «Боже, Царя...»?

— Мелодию помню, а сам не играл. Сейчас попробую.

— Попробуй, попробуй, — сказал дед ласково, — пока никто не слышит. При людях ведь нельзя.

И я, представив себе картинку из журнала «Нива» 1898 года «Бракосочетание их Величеств в Успенском соборе Московского Кремля», которую видел у деда Тупицына, торжественно заиграл «Боже, Царя храни». В пустом «зале» звук был сильный и уверенный, я даже рискнул взять несколько двойных нот и аккордов. Дед повернулся к иконе и начал креститься.

— Прости, Господи! Не сохранили тебя, батюшко, погубили окаянные, — просипел он, когда я тянул последнюю ноту. — Это завтре не играй, — сказал он неожиданно строго, — это ты для меня сыграл, но и тебе польза тоже, чтобы не забывал. Пошли, место тебе спать покажу на полатах. Скрипку с собой возьмишь?

— Нет, ей вредно перемена температуры. Пусть здесь лежит.

— Ну, пусть здесь отдыхает, — согласился дед, как будто говоря о существе одушевлённом.

«А чего, — подумал я, — может, она ещё больше меня одушевлённая, вон как разыгралась. Чего это я раньше всё какие экосесзы и лендлеры пилил? Ни уму ни сердцу!»

Перед сном дали мне неснятой простокваши, от пуза, и лепёшки из дуранды. Кто не знает, это измельчённый льняной жмых. Если добавить ржаной муки, очень даже неслабо получается.

Назавтра утром всем уже было не до меня. Старуха и молодуха суетились у печки, дед заправлял лампы керосином и вешал их в зало, подтопил печь. Я пошёл болтаться по Вередишину. На меня с интересом глазели местные сверстники. Они ходили не в нашу школу, интернатских не знали, поэтому мой мышиный бушлат, керзовые ботинки «гады» и забинтованные руки вызывали интерес. Сами они были одеты по-разному, но все тепло и складно.

После работы стал собираться народ. Два инвалида прошлых войн, бабы и девицы разных возрастов и ещё не забритые пацаны. Кого-то ждали. Потом подъехала бричка, приехал председатель райисполкома. Оказывается, поминки были по председателю колхоза, и не какого-нибудь захудалого, а передового, гордости сельсовета и даже района. Это всё я узнал из речи председателя исполкома. Потом старуха и молодуха стали вносить бутылки с мутноватой жидкостью, расставили стаканы, тарелки с овсяным киселём, картофельные пироги с намазкой, солёные грузди и ещё чего-то. И все стали пить и есть, помянув по первой раба Божьего Алексея. Дед подтолкнул меня — давай, мол, начинай. Я положил скрипку на плечо и начал «Амурские волны». Народ сначала замолк, потом стал подпевать, потом стал требовать: давай ещё, и я стал давать всё подряд. На «раскинулось море», когда я добрался до старушки, все бабы рыдали, а молодуха выскочила вон. Народ выпивал, поднесли и мне, чтобы я тоже с ними

помянул. Я осторожно пригубил и обжёгся. Как они это пили стаканами — ума не приложу. Потом они меня научили, как играть «Семёновну» и «Семизарядную». Потом лампы начали коптить, и народ стал расходиться. Все важно прощались со мной за руку, а один дед брякнул:

— Ну, теперь, коли так и дальше война пойдёт, то тебе отбою от приглашений не будет.

— Типун тебе на язык! — заорали на него бабы.

Но дед оказался прав. Когда потом мы возвращались с работы или из школы домой и видели у крыльца телегу или кошёвку, то так и знали — это за мной приехали на поминках играть.

Отпускали меня охотно, так как с пустыми руками я не возвращался. Сыроежка следил, чтобы я левую руку не испортил, и орал на меня, когда я хватался за что-нибудь тяжёлое или корявое:

— Убери грабки, хочешь нас без картошки оставить?.. А ты чего смотришь? — накидывался он на ближайшего трудника. — Как варежку раззявить, так каждый горазд, а как добытчику подсобить, так у их бельма не смотрят!

Сыроежка был суров, но справедлив и требовал, чтобы от каждого по способностям и каждому по потребностям, которые он сам и устанавливал. Вот так мы и прожили два года, без всякой демократии, и не было у нас ни ссор, ни обид, ни зависти. А вечерами, когда все собирались у печки, начинали печь картошку и обжаривать сохранные ломтики пайки, Сыроежка объявлял:

— А теперь концерт по заявкам. Слушаем старинный вальс «Амурские волны».

РАЗЪЕЗД ТЧАННИКОВО

К лету 1942-го мы в интернате изрядно одичали. Почти год без радио, без электричества, без книг, без вестей из дома, зато в непрерывных хозяйственных заботах: дрова — на делянке повалить, навозить, напилить, наколоть, натопить; огород — вскопать, посадить, прополоть, окучить, выкопать; дом — дыры заткнуть, полы перестлать, потолок засыпать; коровы — сено накосить, ворошить-просушить, скопнить, раздать; навоз — выгрести, вывезить, складывать, разбрасывать; грибы — собирать, сушить, солить, сдавать. Кроме этого, корьё драть, брусок для ружей заготовливать, шиповник собирать, лён тереть. Зато никто уже ничем не болел. Фурункулы засохли, язвы затянулись, зубы не шатались.

Но настроение было тяжёлое. От сводок Информбюро тянуло катастрофой. Южный фронт куда-то провалился, появились беженцы с Кавказа. Первый раз они бежали из Москвы и Ленинграда на Кавказ, а теперь кружным путём с Кавказа к нам на Кострому. Они бежали от немцев с нашей отступающей армией и не чувствовали, что здесь осядут надолго. Многие «вторичные» были сильно напуганы. Деревенские их подбадривали: «Вот ужо немец придёт, колхоз порушим и всех выковыреников повесим на перёгороде». Мы-то уже год как это слышали, и на нас это перестало действовать, а «вторичные» прямо тряслись от страха. Тем более, некоторые из них немцев видели и, как вешают, тоже знали не понаслышке.

Нас разъедала смутная тревога. Хотелось хоть на минуту вырваться из интернатской норы и посмотреть, что там снаружи. Ближайший к нам разъезд Тчанниково Северной дороги постепенно занимал всё большее место в наших мыслях и разговорах. До разъезда было 12 вёрст, кто их считал, но деревенские начали часто там бывать. Колхозам спустили разрядку: направлять на разъезд рабочую силу с подводами для настила новых запасных путей. Рабочая сила захватывала с собой кто бидон молока, кто пяток яиц, но самым главным продуктом оказалась варёная картошка, ещё тёплая в глиняной корчаге, присыпанная укропом с блёсками льняного масла. Когда корчагу открывали, то от вида сахарной рассыпчатой картошки и от укропного запаха пассажиры эшелонов теряли рассудок и отдавали последнее. Натуральный обмен на разъезде Тчанниково развивался и приобрёл масштаб большого базара на колёсах. Северная дорога была одной из главных магистралей страны. С запада на восток шли санитарные поезда, эшелоны с беженцами и блокадниками, станки и оборудование эвакуируемых заводов, а с востока на запад двигались эшелоны с пополнением, бесконечные составы с танками, артиллерией, ремонтными заводами, санитарным порожняком. Военные эшелоны проскакивали разъезд с ходу, а остальные застревали на разъезде на долгие часы, иногда и на дни, и для некоторых эти дни оказывались последними. Их хоронили около разъезда в поле, а по другую сторону в низине была роща, протекал ручей, значит, были дрова и вода.

Сыроежка, сговорившись с деревенскими насчёт лошади, решил ехать на разъезд. Он подозвал меня:

— Лошадь дают, ты за ездового, упряжь проверь заранее, чтоб не подсунули гнильё. Девки сварят картошку, я им насыпал, малышня принесёт землянику. Бабка Тупицына обещала две крынки козьей простокваши. Может, сменяем, как люди, на что-нибудь дельное. Поедем с утра, послезавтра, ты, я и братья Тихомировы.

Сыроежка поставил в известность директоршу. Она спросила:

— А зачем ехать-то?

— Так, посмотреть что к чему, — уклончиво ответил Сыроежка. И директорша не возражала. Она понимала, кто в интернате хозяин, и это её вполне устраивало.

Накануне отъезда я задал кобыле свежего сена, утром поделился с ней пайкой хлеба, и мы потряслись на телеге, захватив с собой наши припасы, два топора, лопаты, пару досок мостить гать через болото, если пойдёт дождь. Но дождь не пошёл, светило солнышко, дул ветерок, и до Тчанникова мы добрались к полудню вполне доброжелательно.

Разъезд жил своей жизнью. Не останавливаясь проносились воинские эшелоны, на запасных путях стояли составы с беженцами и блокадниками. И тут мы впервые увидели настоящих дистрофиков. Они сидели у открытых дверей своей теплушки, смотрели на свет божий и никуда не торопились, ни за водой, ни за дровами, ни вещи менять на продукты. Да и были ли у них вещи? Сыроежка остановился как вкопанный.

— А чего же вы кипятки не поставите?

Женщина, поживее других, улыбнулась и спросила одними губами:

— Какой кипяток?

Сыроежка вдруг передёрнулся, схватился за горло и просипел:

— Живо к кобыле! Гони брательников в лес за дровами, сложи харчи в корзину и ходи сюда!

Я показал брательникам, куда нести дрова, навьючился харчами и направился к дистрофикам. Сыроежка ладил подножку, чтобы они могли спуститься. Подошли братья Тихомировы, принесли сушняка, и через несколько минут у нас запылал костёр не чета другим. Не зря мы ошивались в своём интернате № 8 Кировского завода уже целый год — научились кое-чему. Пока в котелке грелась вода, Сыроежка наладил спуск из теплушки на землю. Сам он поддерживал дистрофика наверху, братья принимали и ставили на первую ступеньку, а я забирал в охапку и ставил на землю. Не очень-то они и стояли. Седой бородатый дистрофик, поняв, кто у нас главный, спросил Сыроежку:

— Как вас зовут, товарищ?

— Сыроежка.

— А что мы будем делать, товарищ Сыроежка? И Сыроежка важно ответил:

— Рубать будем!

— Простите?

— Ну хавать будем, грести, уминать, харчеваться, одним словом.

Сыроежка чуть не вспотел, объясняя ему.

— Какой богатый у вас лексикон! — удивился седой.

— Сикон богатый, зато харч бедный. Садитесь вокруг костра!

Среди них был мальчик. Такой прозрачный мальчик. Его мать всё беспокоилась:

— Осторожно с Мишей! Не выдерните ему руку! Ставьте его не сразу.

Ставил его я, постепенно, и всё удивлялся, до чего же он лёгкий.

Сыроежка всё же цыкнул на меня:

— Держи слободнее, под микитки! Вишь, он как статуя алебаstrяный, разобьёшь!

Это было уже на деревенском языке, а не на путиловском жаргоне. За год у нас у всех язык изменился. Мы стали говорить «полноко», «да пошто», «робота» и уже почти не отличались по говору от местных. А как бы нас ещё понимали люди и животные? Как бы вы хотели, чтобы я разговаривал с кобылой Мухой или соседским Полканом? Но здесь нашим дистрофикам пришлось за минуты освоить то, на что у нас ушли долгие месяцы.

Они послушно сели вокруг костра с кипящим котелком. Под Мишу мы подсунули охапку мухиного сена, чтоб не сидел на рельсе, и Сыроежка открыл крышку корчаги. Дальше была немая сцена «Блокадники смотрят на горшок с картошкой». Из корчаги шёл такой дух, картошка имела такой вид, что ни одно произведение искусства не могло бы его перешибить. Дистрофики, как зачарованные, смотрели в корчагу и вдыхали её аромат.

Только один Миша оставался безучастным и от картошки отказался. Сыроежка молча посмотрел на него, раздал всем по две картофелины, закрыл корчагу, сбросил в кружки понемногу простокваши

и начал вежливо расспрашивать, кто куда едет. Миша с мамашей ехали в Молотов. Он учился играть на скрипке и собирался там продолжать. Седой был их родственник, какой-то учёный профессор. Сыроежка это сразу понял, видя, как тот ничего не умеет. Остальные добирались до Урала к своим заводам. Я спросил Мишу:

— Ты что играешь?

Миша помялся немножко, как бы ответить по-понятней, и сказал:

— Концерт Мендельсона.

Я всю жизнь хотел сыграть концерт Мендельсона, но до войны у меня не хватало техники, а после войны об этом можно было уже и не мечтать.

— Вот этот? Си-си-си, соль-ми-ми-си, соль-фа диез-ми-до-ми-си?

Мишина мамаша вздрогнула и уставилась в меня.

— Какое фа диез, откуда?

Она посмотрела на наши лапти-ступни, безразмерные полосатые порты, пошитые из интернатских портьер, на стриженные под ноль головы. Я подумал: «Действительно, откуда?»

Но Миша вдруг тихо сказал:

— Там в третьем такте фа диез на квинте.

— Вы что, играете на скрипке? — спросила мамаша.

— Он хорошо играет, — авторитетно заявил Сыроежка. — «Хазбулат удалой», «Раскинулось море широко», «Мурку» на бис. И ты сыграй, — обратился он к Мише, — руками помашешь — есть захочешь.

— Сыграй, сыграй, Миша, — встрял профессор, — вот и товарищ Сыроежка просит.

— Сыграй, — тихо попросила мама.

Миша поднялся со своего сена, как птенец из гнезда, и попросил:

— Принесите мне, пожалуйста, скрипку из вагона.

Я слетал в теплушку и принёс ему скрипку в дорогом полированном футляре. Он достал её, отошёл на пару шагов в сторону, стал настраивать. Уже по первым звукам я понял, что сейчас мы услышим нечто.

Миша вернулся, положил скрипку на свою острую ключицу, поднял смычок, закрыл глаза, и... полились дивные звуки концерта Мендельсона: си-си-си...

Люди у соседних костров стали подниматься и подходить к нам, осторожно ступая по шпалам, чтобы не скрипеть щебнем. Когда Миша кончил первую часть, никто не шевельнулся, не проронил ни слова. Сыроежка прочистил горло и сказал басом.

— Здорово играешь, забирает!

И тогда все зашевелились, захлопали в ладоши. Миша поклонился и начал укладывать свою скрипку.

— Там картошки не осталось? — спросил он Сыроежку.

— Осталось, осталось! — торжествующе заорал Сыроежка и выкатил со дна корчаги последние три картофелины. — Ешь, только осторожно, а то подавишься, — протянул он Мише миску.

И все стали смотреть, как Миша потихоньку кусает рассыпчатую картошку, подбирая крошки ладонью. Его мама улыбалась, вытирая слёзы.

— Теперь доедешь, — рассудительно сказал Сыроежка, — теперь начнёшь есть. — Он полез в корзину и вытащил тусок с земляникой, отдал его мамаше и наказал:

— Будете давать ему по ложечке, а не то — по-несёт.

— Да-да, только по ложечке, — подтвердил профессор, — я послежу, товарищ Сыроежка.

А товарищ Сыроежка, ощущая свалившуюся на него ответственность, осмотрел всех подряд и объявил:

— Сейчас будем мыться! Поди с осени не мылись. Брательники, за водой! Ты задай кобыле сена, а я управлюсь с костром.

Потом они все у нас мылись и вместо серо-зелёных оказались бело-голубые. Мишу мы мыли сами, горячей воды не жалели и даже похлестали слегка свежим берёзовым веником, пока он не порозовел.

— Ты не расстраивайся, — говорил мне Миша, — ты ещё сыграешь концерт Мендельсона.

— Какой там Мендельсон, — ответил я, — посмотри на мои руки. — Я показал ему свои обмороженные, вечно красные лапы со шрамами, мозолями и ссадинами.

— Да, — протянул он неуверенно, — всё равно, будешь ходить в филармонию. Мы ещё увидимся после войны.

Уезжали мы от них уже к вечеру. На прощание нам подарили несколько коробков спичек и пачку «Беломора». Когда мы проехали болотину и выехали на ровное место, я бросил вожжи, мы повалились на дно телеги и закурили «Беломор». В голове закружилось, звёзды поплыли, Муха перебирала ногами к дому а Сыроежка рассуждал:

— Танков, видел, сколько прошло? Это наши, кировские, и блокадники скоро к станкам встанут, ещё больше наклепают. Не бластит им здесь немцев дожждаться.

По приезде директорша зашла к нам в дом и спросила:

— Ну как там? Что к чему, выяснили?

— Брательники промолчали, а Сыроежка ответил:

— Нормально, терпение только надо иметь. Зимую другую мы здесь ещё прокочумаем, а там по домам.

Как всегда, Сыроежка оказался прав.

ЧЁРНАЯ БОРОВИНА

Конец лета 42-го выдался дождливым и грибным. Нам сразу спустили разрядку — по десять килограммов грибов ежедневно с каждого из старшей группы и кто сколько соберёт — из младшей. Младшие вместе со взрослыми начали прочёсывать все опушки и полянки поблизости, а старшие были отпущены на вольный фарт и шлялись по лесам кто где хотел. За речкой после смешанного редколесья, после порубочных делянок начиналась неизведанная страшная страна, которая называлась Чёрная боровина. Говорили, что если войти в неё и идти прямо и прямо на восход, то можно так лесом дойти и до Урала, никого не встретив, кроме медведя. А дальше, перевалив за Урал, идти и идти тайгой до самого Тихого океана или до Америки, если вовремя принять влево. Поэтому, когда кто-нибудь из деревенских ребят собирался за грибами на Чёрную боровину, бабки ругались:

— В Америку собрался, Сусанин криволапый? Волки тебя быстро обдерут!

Отношение местных к их земляку — национальному герою Ивану Сусанину — нас поначалу удивляло. Но о каждом герое народ имеет свою собственную легенду. По местной легенде, Сусанин был лядащий и никчемный мужичонка, который отлёживался на печи, когда все остальные мужики воевали. Заскочив в ту деревню, поляки только его и нашли и велели вести их на Кострому. Сусанин, который отроду в лес не ходил, тут же на Чёрной боровине и заплутал,

за что поляки его и убили. Но и сами из леса не вышли. Там их косточки обглоданные и лежат. Никакие учебники истории, никакой Михаил Иванович Глинка эту местную народную легенду поколебать не могли, и со временем она только крепла, обрастая новыми подробностями.

До войны местные мужики ходили на Чёрную боровину и приносили оттуда полные кузова боровиков и груздей, но в войну бабы дальше делянок не забирались, и то, сговариваясь по двое, по трое. Но нас давила норма — десять килограмм. Это малый кузов и корзина. Кузова мы плели сами из ивняка, каждый по своему размеру. Братья Тихомировы, как всегда, наладились выдавать штучный товар. Деревенские бабы просто ахали, какие баские кузова плели эти выковыренники. Зато они испытывали законное удовлетворение, видя у меня за плечами воронье гнездо с торчащими прутьями.

— Ты, батюшко, так всех леших у нас распугаешь! — сказала бабка Тупицына и достала мне с повети ладный кузовок. — На Чёрную боровину не шастай, — предупредила она меня строго, неровён час — не вернёшься.

— Ладно, — согласился я, — нимало не сомневаясь, что туда-то я и пойду поутру.

Утро было что надо. Ночью прошёл тёплый грибной дождь, а сейчас вставало солнышко, на кустах подсыхали капли, всё вокруг чирикало и копошилось. Перейдя речку, мы быстро разбрелись кто куда. Вот и порубочные делянки. На них уже краснела малина — через неделю пора собирать. У края делянок начинался могучий чёрный еловый лес — Чёрная боровина. Никаких грибов, кроме сыроежек,

в нём не попадалось, но сыроежки у нас не принимали. *Где же это мужики собирали боровики? Наверно, надо дойти до сосняка.* И действительно, после глухого ельника лес стал дружелюбнее, появились сосны, серебристый мох, кое-где берёзки. В самый раз. Я полез на косогор, и сердце забилось в предвкушении удачи. *Ну где же они тут?* Ещё шаг, и я «споткнулся» о плотный боровик, который торчал из-под мха, наклонился за ним и увидел рядом другой, совсем спрятавшийся. Я снял кузов, пошёл медленно вдоль склона, раздвигая палкой мох. Пока я осторожно выковыривал один, на глаза уже попадался другой. Весь зелёный склон был в красно-коричневых шоколадках. Они все вылезли этой ночью и ждали. Дождались. Корзина и кузов постепенно наполнялись, я уже взмок, карабкаясь по косогору вверх-вниз и скользя локтями по гладкому мху. Решил вылезать на ровное место. На ровном месте вокруг одинокой сосны торчали рыжики. Их тоже принимали наряду с груздями. Зачем Красной армии были нужны грузди и рыжики, я так никогда и не узнал. Ни один фронтовик никогда не упоминал, чтобы на фронте или в госпитале им давали с наркомовскими ста граммами ещё и солёные рыжики на закуску.

Солнце стояло уже высоко, кузов и корзина были полны, можно было бы и возвращаться, но тогда могли бы послать ещё раз обшаривать кусты у реки, и я решил разведать, что дальше. В этом месте Чёрная боровина была совсем не чёрная, а довольно светлая. Сосновый бор, несчастый, с островками кустарников, в которых прятались грузди, с полянками, на которых ещё попадалась перезревшая земляника.

И вдруг на одной из полянок я увидел картофельные борозды. Земля здесь была плохая, ботва хилая, но кое-где и она пускала цветочки. И тут меня как стукнуло по голове: кому это, собственно говоря, могло понадобиться в лесу сажать картошку? Её ведь отсюда и не вывезти, и не вынести, да и в деревне земли-то немерено, и какой земли, а здесь один песок. От этих мыслей на душе стало тревожно. Как будто ты не один здесь. Я оглянул полянку и на краю её увидел бугорок не бугорок, но какое-то возвышение. Старая землянка, — догадался я. Наверно, лесорубы или сокогоны отрыли до войны. Но картошка-то сажена теперь! Я снова уставился в сторону землянки и увидел, что на меня оттуда из тьмы, почти на уровне земли смотрят два глаза. Подавив в себе крик ужаса, я наклонился, сделал вид, что ковыряю в земле, слегка свернул в сторону и пошёл не торопясь, постепенно заворачивая назад и время от времени наклоняясь. Я чувствовал на своей спине эти глаза, и моя жизнь зависела от того, понял ли он, что я его видел или нет. Естественно, как можно естественней, говорил я себе. Ля-ля-ля, я гуляю по лесу, собираю грибочки, светит солнышко. Вот я спускаюсь ниже, ниже... Где же этот чёртов косогор? А вот и он. Я сел на уходящий вниз мох и покатился вниз, держа на пузе корзину. Конечно, не то что по снегу, но зато быстрее, чем ногами, а теперь, как Сыроежка говорит, ходу, ходу, если жить хочешь. А я очень хотел жить и очень быстро бежал. Вот уже и делянка. За сложенной кучей брёвен я наконец остановился, скинул с себя кузов, поставил корзину и выглянул из-за брёвен назад. Никого, ничего. Ну что он, дурак, две версты за мной бежать! Хотел бы,

схватил бы на месте и придушил. И тут же зарыл бы поглубже, чтобы лисы не раскопали. Вот так, дети! Ушёл мальчик в лес, заблудился и пропал. Не ходите, дети, на Чёрную боровину!

Кто же там всё-таки сидел? Диверсант, радист? Что диверсанту здесь у нас приспичило? Овин поджечь или сельпо взорвать вместе с нашими сушёными подберёзовиками? Радисту тоже делать особо нечего. Картошку посадил, грибов засушил и слушай себе «Полёт Валькирий» фашистского композитора Вагнера. Нет, непонятно.

Но скоро стало понятнее. Из района приехал опер, перепоясанный ремнями, с пистолетом на боку, и с ним два милиционера. Они сначала собрали деревенских отдельно, а потом интернатских отдельно, но разговор был один. Тупицынский сын Санька из армии сбежал с оружием и может быть поблизости в округе. Кто чего подозрительного заметит — немедленно сообщить в сельсовет. За поимку дезертира будет награда. Какая не сказано, но сказано, что высокая. Значит, орден. На хрена он деревенским сдался? А нам было обещано много сахара и масла. Уже лучше, но жизнь дороже: тут-то деревенские нас враз спалят, последний керосин из ламп сольют и «гори, гори ясно».

Однако, видать, дезертира спугнули. Поздней осенью наши ребята наткнулись на неубранный огород и приволокли корзину мелкой картошки. Про землянку они ничего не говорили, а их никто и не спрашивал.

Когда через тридцать лет я приехал в деревню, то узнал, что Санька Тупицын дошёл по Чёрной боровине до Урала, отсиделся там до конца войны,

потом заскочил в деревню, но дедушка и бабушка Тупицыны уже умерли, а невесту Анюту Тараканову убили на фронте. И Санька снова исчез. Он, наверно, был единственный мужик из деревни, который пережил войну невредимым, но так и остался одиноким, никому не нужным и отовсюду гонимым.

КОМИССИЯ

По сравнению с замордованным антроповским интернатом наш стёпинский был просто махновская вольница «гуляй поле». Правда, слишком много поля и слишком мало «гуляй».

Когда комиссия по проверке идейно-воспитательной работы приехала к нам из Антропова, то у неё сразу же мозги набекрень поехали. Вместо заискивающих измождённых детдомовцев они увидели банду малолетних головорезов. Вместо красных пионерских галстуков на наших чёрных шеях болтались массивные оловянные кастеты с зубьями и без. Мы их отливали в кузне в формах из брюквы. Каждый по своему вкусу. Некоторые имели по два кастета. Так сказать, парадный и повседневный. На поясе у каждого в ножнах висела финка. Не важно, что финка была из расклёпанного гвоздя, а ножны из бересты — всё равно это было грозное оружие. А у Сыроежки это была настоящая финка в настоящих ножнах. В окрестных деревнях уже было хорошо известно, что и кастеты и ножи у интернатских не «для блезиру». Они давали нам чувство уверенности, а деревенским постепенно внушили уважение. У комиссии же возникли совершенно другие чувства.

Комиссию возглавляла ленинградская училка из больших начальниц. Звали её Ольга Ольдерогге. Она приходилась то ли сестрой, то ли женой знаменитому учёному. По приезду она собиралась сразу же дать взбучку нашей директорше. Но наша тоже была

не «в поле обсевок». Её муж был видный танковый конструктор на Кировском заводе, и на разных за-
полосных гороновских тётках она плевать хотела.
Так она этой Ольдерогге и сказала:

— Вы приехали и занимаетесь своими делами,
а у меня свои дела с колхозным быком.

Она ещё надеялась заставить быка обиходить
нашу Майку и обеспечить нас молоком весной. Мы
дружно пожелали ей успеха и повернулись к комис-
сии. Ольдерогге была тётка злющая, носила пенсне,
и понятно, что прозвище у неё было «кобра». Она
посмотрела на нас, безошибочно выбрала Пету Мась-
кова, у которого была физиономия менее злобная,
чем у остальных, и велела:

— Позовите всех школьников в ваш дом и по-
живее.

Пета рванулся в соседнюю избу и заорал:

— Все школьники к нам на собрание, быстро! Из
Антропова «кобра» приехала — рыло чистить!

Пока народ собирался, Кобра осмотрела нашу
избу.

— Просторно живёте, — сказала она с завистью.

В Антропове спали на сплошных двухъярусных
нарах, а мы располагались на топчанах, которые
сколотили под руководством дедушки Тупицына.
Дедушка учил нас, что топчаны должны быть на
вырост. «Года за четыре вы воон как вымахаете!»
Он полагал, что раз первая война с германцем была
четыре года, то и эта пройдёт не меньше. Каждый
ещё сколотил себе прикроватную тумбочку, а у братьев
Тихомировых был цельный шкаф. Кобра сразу же
шасть в шкаф, и на неё посыпались с полки репа, мор-
ковь, лук и другие сельхозпродукты, принесённые

с колхозного и личных огородов. Кобра разложила эти овощи на столе, села на лавку, посадила ещё двух тёток по обе стороны от себя и объявила собрание открытым.

— Кто у нас председатель совета отряда? — спросила она.

Мы недоумённо переглянулись. Многие уже забыли, что это такое. А те, которые проросли из малышей уже тут, и слыхом не слыхали.

— Так кто же у нас самый главный? — повторила Кобра.

Подхалим Пета Маськов неуверенно спросил:

— Неужели товарищ Сталин?

Мы думали, что Кобра взорвётся и разлетится на куски. Пенсне у неё слетело, она его судорожно поймала, попыталась водрузить на нос, но оно снова соскочило. Малыши заржали, подумали: тётя приехала их повеселить — и приготовились к новым фокусам.

— Ну хорошо, то есть плохо. Просто отвратительно! Тогда ответьте, кто у вас тут старший!

Мы снова переглянулись, и кто-то спросил:

— Старший — это как, по возрасту? Тогда это Аркадий. Он пошёл с директоршей к быку, корову случать.

Тут уже прыснули наши девицы.

— Молчать! — взвизгнула Кобра. — Я вас спрашиваю, тут есть кто-нибудь главный, с кем можно разговаривать?

И мы дружно закричали:

— Есть! Есть! Сыроежка!

— Покажитесь, Сыроежкин, — сказала Кобра, — как вас зовут?

Сыроежка поднялся с топчана и сказал:

— Сыроежка — так и зовут.

— Хорошо, — сказала Кобра, — так и запишем, — Сыроежка Сыроежкин.

Она уже внутренне надломилась и готова была к компромиссу.

— Скажите мне, Сыроежка, — что это у вас на шеях висит? Тотемы, амулеты, обереги?

Сыроежка захлопал глазами, а отличница и выскочка Галя Бельшева радостно подтвердила:

— Это обереги!

Кобра примирительно спросила:

— И как они, действуют?

— Ещё как действуют, — расхрабрилась Галя, — как эти пристанут или начнут выё... — Тут Галя сгоряча брякнула, что именно они начнут. — Так наши этими самыми оберегами их по соплям — очень хорошо оберегает!

Комиссия вновь застыла в состоянии полного изумления. Очнувшись, Кобра решила не заострять себя и сменила тему:

— А вот эти овощи — откуда эти овощи у вас?

— Мы их спи...

Но тут Гале кто-то закрыл рот ладошкой, а Сыроежка взял инициативу в свои руки:

— Овощи мы собрали на воскреснике.

— И положили к себе в шкафчик, — ехидно добавила Кобра, — утаили от Красной армии. Разве эта брюква, — и она взяла какой-то корнеплод со стола, и показала его нам, — теперь будет бить по врагу?

Кто-то мрачно заметил:

— Это репа.

— Тем более, — разозлилась Кобра, — разве эта репа будет бить по врагу?

Мы посмотрели на репу и представили себе, как она может бить по врагу. Из рогатки, что ли? Я вспомнил картину из Эрмитажа «Давид и Голиаф» — Давид с пращой и Голиаф с дыркой во лбу. Если вместо камня засобачить репой? Давид с репой и Голиаф. Нет, пожалуй, репа не будет бить по врагу, а эта и подавно. Мы же её съедем сегодня вечером.

И как бы угадав ход моих мыслей, Кобра продолжала:

— Вместо того чтобы отправить все эти овощи на фронт или в тыл рабочим танковых заводов, вы просто украли их, чтобы самим сожрать. А разве эта луковица будет бить по врагу?

Вместо сомнительного корнеплода она взяла и подняла большую золотистую луковицу. И тут Сыроежка, которому вся эта бодяга уже давно надоела, сказал веско:

— Будет!

— Как это, как это? — сбилась со своего прокурорского тона Кобра.

— А так, — сказал Сыроежка, — что когда батя узнает, что я эту луковицу схавал и у меня цинга прошла, а её батя, — ткнул он в Галю, — что у его дочки на морде фурункулы засохли после этого воскресника, то у них сразу боевой дух поднимется, и они этих танков ещё дюжину наклепают. Пусть лучше мы всё это съедем себе на здоровье, чем оно под снег пойдёт и сгниёт.

В 42 году, когда за подобранные в поле колоски можно было и срок получить, такое заявление

звучало более чем смело. Члены комиссии переглянулись. Кобра спросила:

— Тебе сколько лет, Сыроежка?

— Двенадцать.

— Думай, что говоришь! Если бы тебе было четырнадцать, тогда бы с тобой в другом месте поговорили.

— В другом месте я и в одиннадцать наговорился, — огрызнулся Сыроежка.

Кобра встала и, обратившись к комиссии, подвела итог:

— Ну что же, надеюсь, товарищам всё ясно. По воспитательной работе у меня вопросов больше нет. Какие другие вопросы будут у комиссии?

Тогда одна пожилая тётка, докторша из местных, спросила:

— Как у вас с педикулёзом? Мальчики, я смотрю, все стриженные, а у девочек?

— Нет у нас педикулёза, — снова выскочила Галя Бельшева, — понос бывает, а педикулёза нет, мы его изжили.

И это была правда. Мы его изжили, так же, как изжили фурункулёз, цингу и чесотку. В это время в избу вошёл Аркадий, мы все рванулись к нему. Сыроежка спросил:

— Ну как?

Аркадий, отдуваясь, ответил:

— Ну и умаялся же я! — Взял со стола луковицу, откусил половину, захрустел.

— Чёрт с тобой, что ты умаялся! А бык, как?

— Бык тоже умаялся, сейчас отдыхает.

— Ну не тяни жилы, — рывкнул на него Сыроежка.

— Огулял! — торжественно провозгласил Аркадий. И мы, как сумашедшие, заорали:

— Ура!!

И повалили из избы, сшибая комиссию. На радостях директорша пригласила комиссию пообедать, а мне велела задать ихней лошади сена. Я и им сена подложил под их тощие зады, в бричку. Сухо прощаясь, Кобра спросила меня:

— Вы, кажется, из интеллигентной семьи? Как вас здесь, не третируют? Не хотите в Антропово перевестись?

Прокрутив в голове варианты ответов, я выбрал самый дипломатичный и сказал:

— В гробу я видал ваше Антропово — у нас веселей.

Докторша хлестнула кобылу, и они укатили, скрылись за бугром. Больше мы их не видели.

Корова Майка стала всеобщей любимицей. Каждый, возвращаясь с поля, нёс ей самую сочную охапку клевера. Её стойло выгребали и чистили по два раза на день, а когда родился телёнок, его поместили в столовую в тёплый угол, огородили ему место, и он мычал басом каждый раз, когда мы приходили обедать.

Когда директорше надоело предупреждать всех, как надо себя с ним вести, она написала на картонке: *Телёнка в морду не целовать*, и прибила к загородке. Так табличка и провисела у нас в столовой, пока телёнок не вымахал в здорового бычка. Имя ему само напрашивалось — *Выковыренник* или, сокращённо, *Выря*. Когда его повезли в Антропово сдавать на мясо, меня уже в интернате не было, а Аркадия ещё раньше забрали в пехотное училище.

ПОДПАСОК

В четыре часа утра деревня оглашалась привычными звуками колотушки. Пастух Зотя входил в деревню и бил кленовой дубинкой по широкой струганой доске. Тра-тата-тра-тата. Доска была лёгкая, еловая. Ель всюду — музыкальное дерево. Из неё в Америке изготавливают рояли Стэнвей, Страдивари в Италии скрипки делал, а у нас мастерают колотушки и балалайки. Заслышав весёлые звуки колотушки, коровы начинали мычать, овцы блеять, бабы протирать глаза и отчинять хлев. Коровы охотно шли со двора и собирались в стадо, с другого конца деревни их подгонял, пощёлкивая кнутом, подпасок Саня Клемёхин. Саня учился в нашем шестом классе, был лучшим учеником школы, на занятия переставал ходить в начале мая и возвращался в конце сентября. На пропущенные уроки он получал от учителей задания и решал их карандашом меж газетных строк на пеньке, положив на колени струганую досточку. Саня не знал, что так же любил работать академик Ландау, правда, он сидел не на пеньке, а на диване, а на пеньке Ленин сидел. Саня был круглым сиротой, родителей он потерял во время сплошной коллективизации вместе с домом и всем хозяйством. Жил он один и, как было принято у местных лишенцев, — в баньке. Вместо часов имел дарёного петуха. Петух был строгий. Кого ни попадя к Сане не пускал, дом стерёг исправно, не шлялся. Куры сами приходили к нему по своим птичьим делам, Саня не вмешивался. Возможно в благодарность, они оставляли яичко-другое на сене в загородке.

Кто-то из местных подбивал нашу директрису взять Саню в интернат. Директриса посоветовалась с Сыроежкой. Тот сказал — вряд ли он согласится, но попробовать можно. Сыроежка поговорил. Саня его спросил:

— Ты сам-то думаешь, что говоришь? Это чтобы я, вольный казак, пошёл к вам в казарму? И куда я петуха дену? Ты меня, Витя, прости, но я к вам, голодранцам, от своего хозяйства никуда не пойду.

Свою службу подпаска Саня ставил очень высоко. И вообще, здесь имеется серьёзное расхождение в табели о рангах между городом и деревней. В деревне пастух с кнутом и колотушкой стоит гораздо выше председателя колхоза с портфелем и печатью, особенно в костромской или ярославской деревне, где корова основа самой жизни. Хороший пастух вовремя отведёт своё стадо на самые сочные и полезные травы, он вовремя подведёт корове быка и направит его в случае чего. Вот почему пастуха и ценят, и ублажают, и подлизываются к нему. Пастуха, как повелось, кормят по очереди, и не дай бог его обидеть — обнести куском за обедом. Мало того, что ославит на всю деревню, так ещё и оставит корову яловой. Недаром хозяйская корова с хорошим пастухом даёт 25–30 литров молока в день, колхозная, дай бог, чтобы половину надоила.

Стадо хороший пастух собирает в 4 часа утра. Потому что в это время ещё лежит роса на траве, и роса эта корове — как мёд на пряник. А когда солнышко начинает пригревать, роса поднимается к облакам и трава становится жёсткой и сухой. Вот в это время и начинают выгонять с ферм своих бурёнок колхозные пастухи. Вместо звуков весёлой колотушки повисает

над деревней натужный, постылый мат. А в последние годы перед развалом Союза коров из коровников уже и вовсе не выгоняли, а так и держали в полутьме. Вместо тёплых рук доярок насаживали им на вымя гроздь заскорузлых присосок, а разгорячённого страсть быка заменили шприцом из холодильника.

Ещё во время войны, когда в правительстве обсуждали вопрос о мерах по увеличению продуктивности животноводства, предложили всех бычков пустить под нож как паразитов и тунеядцев и перейти на последнее достижение советской науки — искусственное осеменение. Что скажут учёные? Тогда глава советских физиологов академик Л. А. Орбели сказал, что если мы оставим наших коров без быков, то наверняка лишим наших детей молока и масла. Он сказал, что вопрос зарождения жизни очень тонкий и не сводится только к химическим реакциям и клеточным взаимодействиям. Эмоциональный фон, на котором происходит зарождение жизни, не менее важен, чем манипуляции со шприцами, носящие экспериментальный характер. Чиновники Леона Абгаровича резко раскритиковали за пресловутый эмоциональный фон, да ещё и во время войны, но пойти против генерал-полковника медицинской службы не решились, и серьёзного вторжения государства в сексуальную жизнь парнокопытных не произошло. Бычки остались при коровах, а пастухи — при стадах.

Пастух Зотя считался скорбным на голову. Как ведётся на Руси, в каждом городе есть свой юродивый, в каждом селе — свой деревенский дурачок. У нас это был Зотя. Когда с ним заговаривали, он нёс такую несусветную чушь, что в школе нерадивых учеников училки иногда одёргивали:

— Ну что ты, как Зотя, порешь какую-то чепуху. Один раз на это Саня поднялся с места и сказал:
— Не трогайте Зотю. Кому надо — очень хорошо его понимают.

— Интересно — кому это? — полезла на рожон учительница.

— А те же коровы. Вы думаете, они глупее людей?

В деревне этого никто не думал, по крайней мере те, в чьём в хлеву стояла корова. Все прекрасно знали, что коровы чувствительны и отзывчивы, но бывают и очень злопамятны. Одних людей любят, а других — терпеть не могут. В нашей деревне коровы так шутовали: обидит её какой-нибудь оглоед — корова поднимет хвост, шлёпнет на землю лепёшку, наступит в неё ударным копытом, поразминает маленько, а потом, косясь глазом и не поворачивая головы, станет поудобнее и — хрясь этим копытом в пузо обидчику. Но если ты день за днём на вкусные и сочные травы водишь, да ещё музыку сыграешь, то лучше тебя нету.

Зотя коров и лечил. Приводили к нему из других деревень. Старались объяснить, чего от него хотят, но он мычал в ответ и махал рукой в сторону хлева — заводи, мол. Потом чертил на земле прутиком полоски — две, три, четыре: приходи через столько дней. На эти дни он сажал на цепь своего Кузю, чтобы никто к хлеву не подходил, и колдовал там над больной коровой. В указанный срок приходила хозяйка и уводила здоровую животную. Корова, как правило, уходила от Зоти не хотела, упиралась, и тут Санька Клемёхин помогал выталкивать её за ворота. За лечение с Зотей расплачивались не деньгами,

а чем у кого было: кто десяток яиц принесёт, а кто и воз дров привезёт. Тогда Санька нанимал меня их распилить. Зотя дров не пилил, а только точил и разводил пилы. С Санькой они объяснялись на своём языке. Когда слов не хватало, помогали жестами. Кормились они у хозяев порознь. Что полагается пастуху — не по чину подпаску. Опять же мальцу выпить не предложишь.

Когда у нас в интернате перезимовали пригнанные из фронтовой полосы коровы, Саньку позвали на совет — как их пасти, что сделать, чтобы молоко было. Санька внимательно коров осмотрел, пощупал зубы, копыта, потёр вымя, покачал головой:

— Масло нужно, сливочное, деревенское. Для размягчения. Пасти я их один, без Зоти, на соглашусь. В колхозное стадо отдавать нельзя, их другие коровы не примут — забьют насмерть. Придётся вам самим в четыре часа вставать и вести их на неудобья.

Неудобья — это пастбища на самых берегах ручьёв и речек, по канавам и оврагам, в лесу на косогорах. Трава там самая сочная. Туда Зотя своё стадо и водил, но пустит ли он нас — большой вопрос. Я думал, что никакого даже и вопроса нет, потому что, когда пилил у Зоти дрова, почувствовал, что городских Зотя люто ненавидит. Чтобы преодолеть это препятствие, мы с Сыроежкой отвели Саню в изолятор, где лежали наши интернатские малыши. Саня поглядел на их заострившиеся личики и, когда мы вышли, сказал:

— Эти молока, пожалуй, не дождутся.

— Эти не дождутся, другие на подходе, — возразил Сыроежка.

— Не дави на психику, она у меня тоже не казённая, — буркнул Саня, — всё равно кому-то из ваших

баб придётся пастушить. Я могу только отдельно у вашего хлева постукать, чтобы вы своих выгнали за перёгороду, а там следом пойдёте. Давно пора свою колотушку занять, но пастуховой бабе накажите, чтобы не нависала сзади, а то наши ваших стопчут или, не дай бог, бык набежит — враз хребет переломит. Хотя, на кой ему ваши шкелеты, у нас-то вон какие крали.

И Санька причмокнул, как будто и сам был молодой бычок, хотя видом он больше всего походил на бойцового воробья. Воробьи ведь тоже не все со страху мрут. Попадаются, что и кошке в глаз готовы клюнуть, и в избы залетают, а уж в хлеву они вообще хозяева.

Вечером Санька пришёл к нам с доской, позвал меня и спросил:

— Ты скрипку на какую ноту настраиваешь?

— На ля, все инструменты на ля настраивают.

— А откуда они знают, оно — ля или ля-ля?

— Для этого камертон есть, такая вилка металлическая. Ей обо что-нибудь брякнешь — и она ля выдаёт.

— У тебя же никакого камертона нету.

— А у каждого в башке звучит, которые играют.

— У тебя в башке есть?

— Наверное.

— Вот, послушай, — и он стукнул палкой по доске, — похоже?

— Нет, не похоже, надо ещё сострогать.

— Вот и сострогай мне до твоего ля.

— Какая тебе разница, — обозлился я, — ты что, хочешь их научить мычать хором?

— Не твоё дело, что я хочу. Вечно вы, городские, со своими дурацкими вопросами!

Надо же, подумал я, назвал городскими, а не выковыренниками. Дистанцируется от своих. И пошёл строгать доску. До ля я её не довёл, но до си-бемоль обтесал. Саня заставил меня достать скрипку, проскрипеть ля, сравнил с колотушкой и слегка поморщился. «Ишь ты, какой Моцарт из Вередишина», — подумал я.

— Пока сойдёт. Подсохнет — задуবেет.

— Ты ещё чехол ей спей, а то под дождём намокнет, звук пропадёт.

Саня издёвки не услышал и точно стачал своей доске чехол из овечьей шкуры. И на пеньке сидеть стало куда мягче.

Найти пастуховую бабу было не просто. Интернатские и так раздирались на части. К тому же коров все пугались, ещё и в дикий лес с ними затемно ходить, но деваться было некуда. После долгих уговоров одна молодуха согласилась.

Директриса объявила условия:

— Поскольку у нас такой штатной единицы — пастух — при интернате нет, то мы оформляем пастуха как воспитателя старшей группы девочек. Кроме того, из заработанных интернатом трудовней ей будет начисляться один трудовень за один день. Итого, сто пятьдесят трудовней за пять месяцев. Это, как минимум, три пуда зерна, шубу можно выменять. Вопросы есть?

Вопрос был у назначенной пастухом Раи:

— А подарки на праздники будут?

— Какие подарки, на Первое мая и Седьмое ноября?

— Какие ж это праздники?! — хмыкнула Рая. — На настоящие, деревенские. Я ж коров пасти буду. На Петра и Павла, Илью-пророка и, самое главное, на Спожин день.

— Это ещё что такое? — удивилась директорша.

— Не знаю, — ответила Рая, — тут так все называют двадцать восьмое августа.

— Правильно — Госпожин день, — поправил Саня.

— Ааа, это День Успения Госпожи нашей Пресвятыя Богородицы, — вставил я, вспомнив уроки дедушки Тупицына.

— Вот-вот, — встряла Раиса.

Директриса расстроилась:

— Я понимаю — премия за достижения. А тут — Пётр-Павел час убавил, Илья-пророк два уволок. За что премия-то? И вообще, мы атеисты.

— Раз атеисты — то пасите сами, а я — крещёная, — заявила Рая и вытащила из-под фартука крестик.

— Спрячь его, всё равно креста на тебе нету, последнее готова со своих же содрать. Пастуху будет всё, что я сказала, и, так и быть, все гостинцы, что положено. Ещё вопросы есть?

Вопросов не было.

И вот в одно прекрасное утро около четырёх часов собрались у нашего дома Саня с колотушкой, Рая, Аня-санитарка, наш дежурный подпасок и Сыроежка для порядка. Даже директриса подобралась. В общем, народу больше, чем коров. Саня к каждой корове подошёл, положил в рот по куску коврижки из дуранды, посмотрел каждой в глаза, обернулся и спросил у Сыроежки:

— А ты знаешь, почему у коров глаза такие грустные?

Сыроежка пожал плечами:

— Ну, вообще, чего весёлого?

— Не знаешь, значит, — удовлетворённо хмыкнул Саня. — А ты спроси у своей мамани, какие у неё глаза будут, если её за сиськи будут дёргать каждый день, а случать один раз в год.

Дежурный подпасок заржал, Сыроежка показал ему кулак. Дамы смущённо отвернулись. Саня немножко постучал коровам си-бемоль, чтобы они его в лесу узнавали, и побежал за перёгороду к своему стаду.

На следующий день Саня принёс пузырёк с какой-то вонючей жидкостью.

— Зотя набуровил, будете по двадцать капель давать каждому малышу перед едой.

— А они от этого не загнутся? — спросил я, понюхав ещё раз.

— Без этого точно, что загнутся, а так — до первого молока дотянут.

— А то, что у них болезни все разные, это ничего?

— Болезнь у них у всех одна, — твёрдо сказал Саня, — зовут лихоманка. Бери и делай что говорят.

Я передал пузырёк санитарке из местных Анюте. Она понюхала, обрадовалась:

— В самый раз. Готовьте Зоте гостинец, когда эти встанут, тогда ему на крыльцо и положите.

Малыши поначалу бухтели, рот зажимали, но Анюта была строга: кто лекарство не принимает, тому обеда не дают. Рот перестали зажимать, только нос. Как-то докторша наскочила из района.

— Чем это у вас пахнет?

— Тараканов морим, — ответила Аня.

Докторша выскочила и больше не появлялась. Никому из малышей и в голову не пришло заложить Анюту. Раз мама Аня так говорит, значит, так надо. Недели через две они стали вылезать на крыльцо, греться на весеннем солнышке. Приходил Саня, щёлкал кнутом и жарил наизусть сказки Пушкина.

Интернатские коровы начали наливать соками первой травы и сами ломались из хлева на сибеболь Саниной колотушки. Зоте из интернатских запасов сшили штаны и куртку. Но штаны он носить не стал. Саня объяснил, что Зотя в них «выглядает» не как вольный пастух, а как, прости господи, выковыренный.

— Пришлите ему заплаты поярче.

Директриса сказала:

— Раз такой фокусный, надо ему сделать порты, как Ивану Сусанину в Большом театре.

И она собрала худсовет с участием старших девиц, кастелянши и нас с Сыроежкой. Я думаю, в Большом театре порты для Ивана Сусанина обсуждали меньше, чем у нас, но у них и ответственности было куда меньше. Наконец обсудили, решили, подобрали лоскуты и отдали в старшую группу для пошива.

Сомов, Билибин и Головин умерли бы от зависти, глядя на Зотины порты. Зотя остался доволен. Деревенские бабы злились, что мы Зотю портим, подрываем, мол, его нравственные устои юродивого бессребреника, но сами стали к нему подлизываться ещё больше.

Мы с Саней несколько раз говорили, как ему дальше учиться. В ремеслуху он идти не хотел — только время терять, в старшие классы в район в Антропово можно бы, но надо в интернат устраиваться. Я его звал в Казань в спецшколу, но он сказал:

— А кто ж туда меня возьмёт?

Некуда было молодому Ломоносову ткнуться, не к чему пристроиться. Я как-то спросил у Анюты:

— Почему Саню никто в семью не возьмёт?

Она тяжело вздохнула, отвернулась и сказала:

— А кто ж его возьмёт!

Как будто он какой зачумлённый. Так он и остался в деревне, а я уехал в Казань и больше в деревню не возвращался.

Много раз потом, вспоминая Саню, я думал: а зачем он всё-таки хотел настроить свою колотушку на «ля»? Что за блажь такая?

И только недавно меня пробило. Как узнал Саня, что весь мир настраивается на этот звук, так и сам захотел слышать его на своей колотушке.

Чего я тогда упёрся? И он почему отступился? Вечно мы бросаем свои мечты на полдороге. А жаль.

В СПЕЦШКОЛЕ ВВС

В конце июля 1943 года я попрощался с интернатом и отправился в Казань поступать в авиационную спецшколу. Путь от Антропова до Казани занял больше недели, из которых четыре дня я провёл под забором на станции Рузаевка. Кончалась битва на Курской Дуге и на смену тысячам горелых искорёженных танков, едущих с запада на восток, ехали тысячи новых, свежепокрашенных, зачехлённых с Уралмаша и Челябинска. Пассажирское движение было отменено. На станции скопились тысячи пассажиров, они бросались на каждый эшелон, цепляясь за подножки и буфера, чтобы вырваться из этого муравейника. В конце концов и я уцепился за какой-то крюк, залез в тамбур теплушки и через сутки оказался в Казани. Там в пятиметровой комнате размещались моя тётя, её сын Славик, раненый муж — дядя Лёша — и буржуйка. На следующее утро по приезду я отправился поступать в спецшколу. О свирепости приёмной медкомиссии ходили легенды, которые достигали даже Антропова. Поэтому некоторые из нас на всякий случай начали тренировать заранее свой вестибулярный аппарат. Крутились вниз головой как можно быстрее, разгибались и шли по прямой линии. Вначале прямая получалась очень кривой, и мы часто валились с ног, но упорные тренировки принесли свои плоды. Через месяц мы с Петой Маськовым, прокрутившись тридцать два раза, могли идти как на параде. Не падают же балерины после тридцати двух фуэте, а мы чем хуже! Нет, мы

были не хуже. Жалко Пета не поехал со мной в Казань, как полного сироту его не отпустили.

Медкомиссия действительно оказалась самым трудным экзаменом при поступлении в спецшколу. Сначала шли антропометрические измерения — рост, вес и т. д. По росту я находился на нижней планке допустимого, вес у меня оказался весьма приличным, и мы начали по очереди дуть в спирометр — определять объём лёгких. Парни до меня выдували по четыре — четыре с половиной литра. Такие нехилые парни! Мне очень не хотелось сильно отставать от них. Я набрал как можно больше воздуха в лёгкие и начал дуть. Стрелка перевалила за четыре литра, за четыре с половиной, подошла к пяти, я выдохнул всё до конца — стрелка дошла до пяти с половиной и замерла. Подошёл доктор, посмотрел на стрелку и заорал на медсестру:

— Что тут у вас с прибором происходит?

Сестричка огрызнулась:

— Ничего не происходит, всё нормально, я за него не поддувала.

— Давай ещё раз, — распорядился доктор, — только не лопни.

Я дунул на пять семьсот. Доктор поманил меня пальцем и стал мерить экскурсию грудной клетки. Это разность объёмов на вдохе и выдохе.

— Где это ты так раздулся, плавал что ли? — спросил он.

— На сенокосе, наверное.

Ну-ну, давай дальше, смотри не свались с кресла.

До меня на нём крутился большой парень, явный переросток. Когда он встал и пошёл, ноги занесли его на стеклянный шкафчик с инструментами.

Вышла заминка с перевязкой головы и подметанием стёкол. Возможно, поэтому меня крутанули не очень сильно, а может, сказались тренировки, но я встал с креслица и спокойно промаршировал в указанном направлении. По результатам медкомиссии была сформирована рота — восьмой класс спецшколы. В роте было шесть взводов по сорок человек в каждом. Первые два взвода составляли годные к лётно-подъёмной службе, остальные четыре — аэродромно-технический состав. Я попал в первый взвод. Нас тут же по взводам построили, и я оказался в своём четвертом отделении последним, замыкающим, как самый мелкий. Но даже самый мелкий «летун» имел большое моральное превосходство перед самым крупным «технарём». А потом оказалось — и не только моральное. В глазах начальства именно мы были будущие лётчики, одним словом — элита.

За медкомиссией на другой день следовали мандатная и предметная комиссии. Отличники принимались без экзаменов, остальным устраивали экзамены, но без пристрастия. У меня был отличный аттестат, но выданный какой-то богом забытой Понизовской НСШ (неполной средней школой) Антроповского района. Завуч, майор с пустым рукавом, повертел мой аттестат и сказал с сомнением:

— Ну вот, что нам делать с этим деревенским отличником? Примешь — а потом не потянет, выгонять придётся, место зря пропадёт.

— Никакой я не деревенский, а детдомовский из Ленинграда, — сказал я и сам ужаснулся своему оканью. — И учителя у нас были из Ленинграда, — соврал я для убедительности. Слава богу, в нашей НСШ никаких учителей из Ленинграда не было.

А были хорошие молодые тётки из Ярославля и Костромы. Они в классах и печи топили, и окна затыкали, и на церковные праздники из дома приносили картофельный пирог с намазкой и нас, выковыренных, угощали. На наш взгляд это были очень фигуристые тётки, и прозвища у них были хорошие. Одна была Русалка, по-русскому и литературе, другая — Гипотенуза, по математике, а самая роскошная, по географии, была Нидерланда. Ленинградские учителя были только в районной антроповской школе и называли их — Грымза, Кобра и Пиявка.

— Ну хорошо, — сказал завуч, — ленинградские тоже разные бывают. Напиши-ка ты нам прямо здесь свою биографию поподробнее, странички на две, заодно и посмотрим, как вас там русскому языку учили.

«Ну, — подумал я, — тут-то у тебя, товарищ майор, ничего не выйдет». У меня с детства была природная грамотность. Поймать меня на грамматической ошибке в школе было почти невозможно. Потом, конечно, всё ушло куда-то, но по окончании неполной средней я ещё был в полной силе.

Довольно быстро я описал свою нехитрую жизнь до и во время войны. Вспомнил своих родителей — инженера и домохозяйку, а сейчас солдата и медсестру, и отдал листочки майору. Тот надел на нос очки, взял красный карандаш и стал читать. На середине страницы он с сожалением отложил свой карандаш, дочитал мою повесть и сказал:

— Да, видно, вас там неплохо учили; или ты свою биографию выучил наизусть и проверил с учителем?

— Я могу и другую написать, сказал я обиженно.

Они грохнули от смеха. Им показалось смешным, что одну и ту же биографию можно написать по-разному.

— Зачислен, — сказал майор. — Приходи послезавтра к восьми утра, отправитесь в колхоз на уборку урожая.

Давненько я не был в колхозе на уборке урожая.

Колхоз оказался далеко, в другой республике, в Чувашии. Добирались мы туда на пароходе целый день и ночь и пришвартовались на пристани Теньки только на рассвете. Потом мы шли и шли весь день, переночевали в каком-то сарае и к полудню доплелись до деревни Чернышёвка. Там мы разместились в школе, набили свои сенники и наволочки соломой и повалились спать. Утром нас построили и скомандовали:

— Кто умеет запрягать лошадей — шаг вперёд.

Шагнули мы вдвоём, я и тот верзила, который врезался в шкафчик. Он был из пригородного совхоза. Потому такой здоровый. Нас с ним послали на конюшню снаряжать телеги, остальных отправили на поле — вязать снопы и скирдовать. На конюшне лошади стояли без дела, ездить на них было некому.

— Выбирайте себе любую, — сказал бригадир.

— А где же бабы? — спросил я.

— Какие бабы?

— Ну возницы.

— Бабы все на тракторах, а на лошадях, кроме вас, некому. Ну запрягайте, что ли!

Верзила выбрал под стать себе высокого мерина, а я — ещё не старую кобылу. Мы привязали повод кобылы к его телеге и поехали вместе на одной.

- Тебя как зовут? — спросил он.
— А тебя?
— Меня — Гена.
— А меня — Гуля.
— У меня сестра Гуля, мужиков так не зовут.
— Ну и не зови.
— А как же тебя называть?
— Называй полным именем — Гулизавр.
— Ладно, Завр, так Завр.

Так на целый год я стал Гулизавром. Месяц мы возили снопы с поля на ток, возили и днём, и ночью, чтобы успеть до дождей. В конце месяца на помощь прибыли бабы на тракторах. Они уже вспахали свой озимый клин и прикатили спасать урожай. Ежедневно, возвращаясь с очередной ездки, я шелушил зрелые колосья, провеивал зерно из ладони в ладонь и сыпал его в свои бездонные интернатские карманы. Дома я пересыпал зерно в наволочку. В конце месяца наволочка была туго набита отборной пшеницей. Я уложил её в сидор перед отходом, и мы пошли. Сначала я поспешал вместе со всеми, но видя, что они из-за меня притормаживают и злятся, сказал им:

— Вы идите, а я сам приду. Не волнуйтесь, я привычный.

Они обрадовались и припустились налегке, а я наоборот, сбавил и пошёл согнувшись, чтобы тяжесть давила на спину, а не оттягивала плечи. К ночи я добрался до какого-то овина и заночевал. Хотелось есть и пить. Пожевал зерно, оно было сладковатое на вкус, но я его не глотал, знал, что вспучит. Пить захотелось ещё больше, но из фляжки пить не стал — берёг на завтра: знал, что завтра будет хуже.

Завтра наступило. К полудню стало совсем худо, знойно и душно. Я шёл и уже начал думать, а не бросить ли, к чёрту, эту пшеницу. Так и пропасть можно. Дождь пойдёт, от него в степи не скроешься, промокнешь до нитки, а там воспаление лёгких и... «приехали». Но тут у дороги зазеленела бахча — целое огуречное поле. Огурцы, как известно, на девяносто процентов состоят из воды. Вода! Я стал есть их один за другим, без соли, без хлеба. Захватил и на запас. С тех пор прошло шестьдесят с лишним лет, и с тех пор я не могу есть свежие огурцы. А тогда километр за километром, огурчик за огурчиком, я добрался до пристани Теньки. Подошёл пароход, протянули сходни, матросы сгрудились у трапа, чтобы выпустить пассажиров и преградить путь мешочникам, желающим прокатиться вниз по матушке по Волге. Я прошёл вдоль дебаркадера к корме, увидел на пароходе люк в трюм. Между дебаркадером и бортом было метра два. На палубе никого, только давка посредине у сходней: одни пытаются влезть, других сталкивают. Я снял сидор, размахнулся и кинул на палубу. Он мягко шлёпнулся, за ним и я оттолкнулся, перелетел эту водную преграду, упал пузом, подхватил сидор и сиганул в люк. В люке оказался трап, который вёл в пассажирский отсек. Пассажиры сидели и лежали кто на чём, обхватив свои мешки и котомки. Я сделал первый осторожный шаг между ними и увидел свою родную тётю Мусю, которая дремала на кошёлке. Тётя Муся возвращалась из сытых Чебоксар, где меняла вещи на продукты. Я встал перед ней, она открыла глаза, вскрикнула. Далее была встреча родственников, неоднократно вспоминавшаяся на семейных посиделках. Одно из маленьких чудес прошедшей войны.

— А чего это у тебя? — спросила тётя Муся, когда охи и ахи поутихли.

— Пшеница.

— Сколько тут?

— Пуд.

— Откуда?

— В колхозе заработал, на трудодни дали, — соврал я предусмотрительно.

Тут сидящие и лежащие пассажиры проявили интерес ко мне и стали подсчитывать: пуд за месяц на казённых харчах — получается полкило в день — нормально. И хорошо, что зерно — можно крупу намолоть, и кашу варить. Все стали обсуждать, какая вкусная получается пшеничная каша, особенно если в неё налить молока и поставить в русскую печь. Тогда сверху образуется коричневая корочка. Я почувствовал боль в желудке, в голове закружилось, и я стал валиться на тётю Мусю. Потом меня слегка подкормили, а поздно вечером мы приплыли в Казань.

Пшеницу смололи на крупорушке, на рынке купили крынку молока, кашу сварили в русской печке у соседей и отпраздновали начало моего учебного года. Корочка была коричневая, каша рассыпчатая, и жизнь прекрасная.

Немцы отступали по всему фронту, в Казани день и ночь ревели самолётные двигатели на пусковых стендах. В спецшколе нас всех обмерили и начали шить форму. И вот в один прекрасный день мы все из оборванцев и голодранцев стали настоящими лётчиками в мундирах из офицерского габардина, в брюках с голубым кантом, на голове пилотки — два пальца над правой бровью, четыре — над левым

ухом. Нас построили и в повзводном строю выпустили на улицы Казани отрабатывать строевой шаг. Через неделю мы уже дружно пели строевые песни, нашлись и заливистые дисканты, и пронзительные тенора, и начальство, весьма довольное, старалось нас поддержать морально, а в основном физически.

На ноябрьском параде мы общагали танковое училище, а на соревнованиях по боксу выиграли первенство города. Неразговорчивый Гена, самый сильный и тяжёлый из нас, двигался по рингу нехотя, всё это ему казалось несерьёзной забавой, но когда ему расквасили нос, он озверел, зашевелился и так треснул своего противника, что его унесли с ринга. Постепенно проросла элита — это были дети знаменитых лётчиков, спортсмены, музыканты из оркестра и, наконец, отличники. Остальные были ровными и равными. Никакой дедовщины у нас и в помине не было. Ребята из старших классов с нами просто не общались, у них были свои интересы: матчасть самолётов, полёты с инструктором, вечера танцев.

Наше участие в реальной жизни началось зимой. Казань стала крупнейшим авиацентром. Сюда пригоняли американские аэрокобры, дугласы, английские спитфайеры. Союзные лётчики летали с нами, потом сдавали им матчасть и улетали за новыми машинами. Вся вечерняя жизнь проходила в кинотеатре «Электро», переделанном под интерклуб. Там иногда случались столкновения между здоровенными американскими летунами и субтильными британцами. Задирались обычно британцы. Их оттащивали, успокаивали, но они опять начинали потасовку. Потом их, как правило, просто выкидывали за двери на мороз — охладиться.

С каждой неделей по воздушному мосту из Ирана и с Дальнего Востока прибывало всё больше самолётов. Возникла серьёзная проблема их охраны на казанских заводских аэродромах. В каждом самолёте был комплект, состоящий из меховой куртки, тёплого шлема, перчаток с крагами, оленьих унтов и н. з. с коньяком, шоколадом и галетами — целое состояние. На аэродромы по ночам потянулись ходячие раненые из госпиталей и местная шпана. Несколько самолётов были разграблены, с них свинчивали часы, выливали жидкость из амортизаторов — «коктейль шасси», смесь глицерина со спиртом, чем приводили машину в полную негодность. На охрану были мобилизованы курсанты всех училищ, в том числе и мы. В девять часов вечера дежурный взвод выстраивался на плацу, получал учебные винтовки с просверленными казённиками, свистки и отправлялся на аэродром. Нас по одному ставили к каждому самолёту и напутствовали: не стой на месте, ходи, бегай вокруг, а то замёрзнешь, как чего заметишь — свисти, нападут — отбивайся прикладом. В тревожной группе были Гена и ещё несколько неслабых ребят, которые могли авторитетно отметелить мародёра. Иногда появлялись могучие негры из аэродромной команды, хлопали нас по плечам и угощали шоколадом. У нас создалось впечатление, что американские негры — это какая-то особая порода людей, громадные, сильные и добрые. Потом мы поняли, что это их так подбирают в аэродромную службу. Грузить бомбы в люки или толкать самолёты по полю — надо иметь вес и силу. Ну и шоколад в придачу. Несколько раз у нас возникали боевые столкновения с мародёрами, но с помощью

тревожной группы их изгоняли. Ходячих раненых оттаскивали от самолётов подальше, а местную шпану просто лупили прикладами по всем правилам рукопашного боя, который нам преподавали на уроках физкультуры.

К весне у каждого из нас уже был свой боевой счёт, свой негр, свои сигареты и свой шоколад. Сигареты мы меняли на мороженое, а шоколадом угощали девочек на танцах. Девочек нам приводили из окрестных школ, и они ходили к нам с удовольствием. А летом 44 года под звуки прелюдов Листа и первого фортепьянного концерта Чайковского открылся второй фронт. Открылся он и у нас, выплеснулся на улицы из казарм и закрытых клубов. Город танцевал и веселился весь день и всю ночь. Все понимали — война идёт к концу. Началась эвакуация в Ленинград, и дядя Лёша отправил нас с тётёй Мусей и братом Славиком домой. Так кончилась моя недолгая служба в славной казанской спецшколе ВВС. Отпуская меня, завуч-майор с сожалением сказал:

— Да, жаль, с такими антропометрическими данными ты бы мог быть хорошим лётчиком-истребителем.

Мог бы, но кроме антропометрических данных надо было иметь и какие-то другие. Наверное, у меня их не было.

КОШКИ-МЫШКИ

Летом 1944 года по вызову Лензаготплодоовощторга мы с тётёй Мусей и братом Славиком вернулись в Ленинград. С какого бодуна там нарисовался этот «плодоовощ», я уже не помню, но точно, что без бодуна не обошлось. Мне было сказано — какая тебе разница, от кого вызов, наверное, в Ленинграде о твоих подвигах на колхозной борозде прослышали. Приедешь, захочешь — спросишь, а лучше — не высывайся.

Я приехал, отгладил свою третьего срока форму курсанта спецшколы ВВС и отправился поступать в Школу юнг. Всё же я чувствовал себя уже военным человеком и привык носить погоны. В Школе юнг на Лермонтовском проспекте меня спросили, умею ли я драить рынду, швабрить плашкоут, вязать вьбленочный узел, брать рифы и травить баланду. Ничего этого я не умел. У нас в ВВС этого не требовалось, а у них в ВМФ не требовалось крутиться в ренском колесе, стрелять из положения вверх ногами, прыгать с вышки и укладывать парашют. Я был бы для них ничтожным приобретением, и они скомандовали: «Правым, левым табань, поворот все вдруг и полный назад!» В общем, полундра.

И я отправился в свою старую, 181 школу. Там как раз набирали девятый класс, десятого ещё не было. И на следующее утро наш неполный девятый класс отправили на восстановление Ленинграда, а именно в Эрмитаж, потому что он был в нашем, Дзержинском районе, сильно пострадал от обстрелов

и числился в первой очереди на восстановление. В школе сказали: «Наверное, будете разбирать и выносить обломки. Дадут лопаты, носилки, обещали рукавицы, норма — двадцать часов в неделю. Вот ты, в гимнастёрке, строй класс, и отправляйтесь на работу». Я, в гимнастёрке, построил пёструю компанию, получил наряд, и мы отправились в Эрмитаж.

Там на наш стройотряд посмотрели кисло, поморщились: какие же мы им носилки дадим? Им детские надо. Я в душе возмутился: какие ещё детские? В Казани на разгрузке леса в затоне с баржи самые что ни на есть взрослые давали. Затон назывался лесобиржа, или, на местном наречии, бакалда. Брёвна были по шесть метров длиной, укладывались на заплечные носилки двум биндюжникам, извиняюсь, бакалдёрам, стоящим на расстоянии четырёх метров друг от друга перед своими сходнями. Важно было класть бревно так, чтобы его тяжесть распределялась равномерно между носильщиками. Тех подбирали в пары, примерно одного роста и одной силы. А то у слабого начинают подгибаться колени, бревно ведёт его в сторону, начинает скользить, а дальше как получится: либо оно вообще кувыркается в воду, норовя стукнуть слабейшего по ногам или по башке, либо, в лучшем случае, тащит его за собой в воду. Иногда напарники припускали бегом, чтобы успеть добежать по сходням до берега и там скинуть бревно в песок. Если же всё шло путём, то на берегу два здоровых амбала (откуда они брались в войну, из тюрем, что ли?) снимали бревно разом с обоих носилок и укладывали в штабель, а мы, волоча ватные ноги, поднимались по сходням за следующим. После работы на бакалде кормили

чем-нибудь густым и рыбным. Запах рыбы я возненавидел на всю жизнь.

После казанской бакалды эрмитажная трудовая повинность показалась мне пионерской игрой. Но только что вышедшим из дистрофии эрмитажным сотрудникам так не казалось, да и наш внешний вид им доверия не внушал. Они о чём-то пошушукались между собой и сказали: «Подождите, сейчас придёт Иосиф Абгарович и найдёт вам работу». — «Абгарыч так Абгарыч, нам лишь бы чего поскорее — время идёт».

Недавно я нашёл фотографию своего девятого класса. Мы все там выглядим хилыми и замороженными, недомерками и недовесками, такими птенчиками из разорённого гнезда. Такими нас, наверное, и увидели эти эрмитажные хранительницы муз. Появился Иосиф Абгарович, оглянул нас, дёрнул себя за бороду, как старик Хоттабыч, подумал и сказал:

— Вот что. У меня есть для вас ответственнойшее задание, которое никто, кроме вас, выполнить не сможет. От вас будет зависеть, откроем мы Эрмитаж в срок или нет.

И мы, и эрмитажные тётки уставились на него с удивлением. Что это такое, интересно, без чего Эрмитаж открыть будет нельзя? Без тёток можно, а без нас, видите ли, нельзя. И тут Иосиф Абгарович протянул перст в нашу сторону искомандовал:

— Вы принесёте нам кошек, мы не можем повесить ни одной картины, пока у нас нет кошек. Крысы и мыши всё сожрут, и холсты, и краски, и даже рамы. Особенно они обожают импрессионистов. Там ведь холсты совсем новые и краски ещё пахнут маслом. Ну а пуантилисты — это вообще для них пиршество

богов. Не мне вам объяснять, какая трудная задача перед вами поставлена. В Ленинграде практически не осталось кошек. Их всех... — тут он замялся, хотел, наверное, сказать — «сожрали», но, видать, нас постеснялся, — э... эвакуировали, и теперь их надо реэвакуировать, чтобы они снова охраняли бесценные сокровища. Вас здесь шестнадцать человек, шестнадцать юных рыцарей искусства. Проявите свою фантазию, всю свою ловкость и принесите сюда как можно скорее шестнадцать кошек.

— Только кошек? — спросил самый маленький из нас — Мишкинд. — А котов можно?

— Можно и котов, даже котят, мы всем, кто с усами и хвостом, будем рады. За дело, друзья!

И мы повалили из Эрмитажа, сели на набережной и устроили военный совет. Во-первых, где их ловить? У кого ещё остались по домам — берегут их как зеницу ока. Эти, хозяйские, кошки вообще не в счёт. Затем есть бесхозные, живут при столовых, магазинах, госпиталях, в подвалах домов, в развалинах. Подвальные, которые питаются крысами, самые свирепые. Но на что их ловить, на какую наживку?

— На мышей, — сказал Мишкинд. — Кошка кидается на мыша, а ты набрасываешь на неё лассо — и в мешок.

— Приторачиваешь мешок к седлу и скачешь в Эрмитаж к Абгарычу, звеня шпорами, — добавил хохмач Енокян, будущий артист ТЮЗа.

Все развеселились, представляя, как маленький Мишкинд в большой ковбойской шляпе скачет с мяукающим мешком в Эрмитаж.

— Нет, — сказал рассудительный Гена Мишин, — надо не за кошками бегать, а чтобы они сами

приходили к нам. Надо использовать их слабости и пороки.

Какие у кошек пороки? В карты они не играют, водку не пьют, кокаин не нюхают.

— Вот, вот, — сказал умный Мишин — будущий лауреат и большой учёный, как его впоследствии называл академик Прохоров.

(Академик различал две категории учёных — большой учёный и учёный с большой дороги. Мишин был большой учёный. И он доказал это нам, школьным товарищам, задолго до того, как сделал своё потрясающее открытие в области гиперзвуковой аэродинамики.)

— Они нюхают валерьянку, — продолжал Гена развивать свою мысль, — с ума сходят от валерьянки, балдеют вусмерть. Мы смочим валерьянкой ватные тампоны, разложим в местах их обитания и будем собирать кошек мешками.

— Ну и чего мы тогда сидим? — сказал порывистый Енокян. — Пошли в аптеку.

— Не все в одну, по парам, по парам, чтобы не вызывать подозрений, — предупредил Мишин.

— У кого, у кошек? — спросил рассудительный Адриан Лазарев.

(Потомок знаменитых флотоводцев и сам будущий капитан парусного флота, избородивший просторы и все шхеры Балтийского моря, он так и умер с трубкой в зубах за штурвалом своей крейсерской яхты «Ушкуйник» от внезапного инфаркта. Так его и похоронили — в белом морском кителе с золотыми пуговицами, положив на гроб капитанскую фуражку и трубку. По штатному расписанию он был зав. лабораторией, но по призванию — морской волк, шкипер

парусного флота. Просто он опоздал родиться лет на сто. Кто раньше, кто позже, очень трудно родиться в самое время, редко кому удаётся.)

— Нет, не у кошек, а у аптекарей, — серьёзно возразил Гена Мишин.

Мы не поняли, почему и какие именно подозрения могут возникнуть, но поверили Гене. Человек говорит — человек знает.

(Впоследствии эта мнительность стала проявляться у него ещё сильнее. Мы работали с ним в одном институте, и Гена постепенно становился одним из лидеров советской космической программы. После того как он удачно посадил спускаемый аппарат на Венеру, к нему устремились космофизики со всего мира. Допускали к нему далеко не всех, только избранных. С ними проводили совместные семинары, и Гена часто приглашал меня на них в качестве переводчика. Он не знал английского и не желал учить его по принципиальным соображениям. Боялся, что кто-нибудь, известно кто, заподозрит его в намерении бежать за границу. Напрасно я уговаривал его позаниматься с любой из наших замечательных преподавательниц академической кафедры иностранных языков. Гена был непреклонен. На профсоюзных собраниях он гневно осуждал тех, кто подавал заявления на эмиграцию, негодовал и клеймил. Сделав своё выдающееся открытие, он довольно долго безуспешно пытался реализовать его на родине, а потом отчаялся, плюнул на всё и уехал в США, где его тут же назначили зав. лабораторией Главного ракетно-космического центра. Назначили вопреки всем американским правилам, запрещающим занимать административные должности лицам старше 65 лет, хоть

ты и нобелевский лауреат — не имело значения. Но Гена был не какой-то замшелый нобелевский лауреат, которых в американских университетах пруд пруди, а создатель новой науки — гиперэродинамики, от которой «Боинг» и «Локхид» стояли на ушах. Пришлось Гене на новом месте работы осваивать вождение казённого кадиллака, управление джакузи и учить английский язык, на чём Гена и надорвался. Он умер от инфаркта, хотя прежде никогда не болел, не курил, не пил и круглый год занимался спортом. Ему бы жить и жить. Остался бы дома, пережил бы нашу эпоху маразма и что-нибудь куда-нибудь запустил бы на зависть всему миру и получал бы в Кремле награды четвёртой степени. А так взял и умер в Пасадине, штат Калифорния, от нервного стресса.)

А пока этого не случилось, мы сидели на набережной, делили аптеки и определяли охотничьи угодья. Маленький Мишкинд сказал, что использовать пороки домашних животных стыдно и он будет ловить кошек на мышек. С тем и отправился домой вязать лассо. Не знаю, пригодилось ли ему это умение потом на ранчо в Техасе, но на следующий день он был единственным из нас, кто принёс в Эрмитаж кота в мешке.

(Мишкинд у нас хотя и был самый маленький, но и самый удаленный. Он быстрее всех бегал, дальше всех прыгал, ходил на руках по школьной лестнице, чем пугал преподавателей, и соревновался наперегонки с трамваем № 5 от улицы Некрасова до университета. Так он и пробежал весь курс университета, откуда его выпустили с дипломом юриста в 1951 году. Года за два за этого, прочитав гениальную статью тов. Сталина «Марксизм и языкознание», он сказал:

— А тов. Сталин «ку-ку».

Много разного я слышал о тов. Сталине в разные годы, но то, что тов. Сталин «ку-ку», первым определил Мишкинд. Он ещё добавил:

— Теперь болезнь будет явно прогрессировать, скоро появится что-нибудь похлеще, и весь вопрос в том, свалит ли болезнь его в ближайшие несколько лет или он успеет совершить чего-нибудь ужасного. В любом случае пора менять специальность.

Юристом Мишкинд не работал ни одного дня. Окончил заочно физмат Педагогического института и стал преподавать математику в школах рабочей молодёжи. Одновременно к нему потянулись ученики из молодёжи совсем нерабочей. Он стал прилично зарабатывать и купил себе один за другим три велосипеда — повседневный, гоночный и парадный. За трамваем он больше не бегал. Летом он каждый вечер уезжал на Финский залив, где у него был облюбованный остров, переходил вброд неширокую протоку и устраивал себе на острове *sleerover* (ночлег вне дома). Там он и спал на песке, накрывшись велосипедом. Пару раз приходили местные бомжи, по-старому — бродяги, и пытались отнять велосипед, но он вразумлял их молниеносным ударом ногой в челюсть. Визиты прекратились. Всё же он был чемпионом университета по самбо в своей весовой категории, а страха вообще не ведал. Чайки его использовали как часть пейзажа и отдыхали на нём по ночам. Потом, когда народ поехал по известному маршруту Вена — Рим — далее везде, он погрузил свои велосипеды на ТУ-104 и отправился вместе со всеми. В Европе он исколесил все горные дороги и с сожалением отбыл в Америку, когда его туда

вытурили. Там его как дефицитного школьного учителя математики быстро пристроили в общедоступную школу для бедных, сирых, убогих и цветных, где он и преподавал всю оставшуюся жизнь. Нравы в школе были простые. Иногда ученики, обломав зубы о бином Ньютона, вытаскивали ножики, чтобы покончить с этим издевательством раз и навсегда, но он вышибал им остатки зубов одной левой (у него толчковая нога была правая) и отнимал ножики. Никто ни на кого не жаловался, и дирекция школы очень расстроилась, когда Мишкинда посадили в сумасшедший дом за нарушение общественной нравственности. Подумаешь, лежал голый и загорал на своём балконе. А нечего таращиться в бинокль через улицу! Посмотреть в самом деле было на что. Маленький Мишкинд был сложен, как Аполлон, только в миниатюре. В Техасе он купил себе по объявлению в газете, не глядя, ранчо — кусок голой холмистой местности, поросшей мескитом, и ездил туда на уикенды. По ночам к нему приходили койоты и жалобно выли, рассказывая о своей полусобачьей жизни. Как-то я ему позвонил и сказал, что Гена умер. Мишкинд долго плакал. Оказывается, скрытный Гена был его задушевым другом. Они встречались тайно ото всех, и Гена делился с ним всем, что накопилось в его душе. Он знал, что Мишкинд единственный человек на земле, который его никогда и ни за что не продаст.)

А пока, решая насущные задачи, мы разбрелись по своим охотничьим угодьям. В первый день мы потерпели фиаско, потому что ватки быстро выдыхались, и зверьё, нанюхавшись и сильно обалдев, быстро же и расползлось в неизвестных направлениях.

На второй день сафари мы взяли с собой баночки, скляночки и заливали валерьянку в них, чтобы уж кошек забирало до полного ступора.

Моим охотничьим угодем был Мальцевский рынок. Вообще-то, он назывался Некрасовским, как улица и бани. (Наверное, Некрасов, поглядев из окошка на «парадный подъезд» и написав пару виршей, шёл потом с Иваном Павловичем Панаевым в баню, или с Авдотьей Панаевой — на рынок, или наоборот.) Но местное население по старинке называло рынок Мальцевским, а бани — Бассейными.

(Мальцев до революции был миллионщик, у него были заводы, газеты, пароходы и золотые часы «Патек Филипп». Часы эти продавались только по предварительным заказам, и в рекламе того времени говорилось: английская королева ждала заказанные ею часы «Патек Филипп» шесть месяцев, но в мире есть вещи, которых стоит подождать. После революции газеты закрыли, пароходы и заводы экспроприировали, рынок превратили в барахолку, а часы просто сдёрнули с пуза. Полежав в Гохране, они оказались в кармане у товарища Сталина, и он по ним сверял сроки выполнения сталинских пятилеток. Где-то к концу тридцатых часы забарахлили, и их под конвоем отвезли на Первый московский часовой завод. Там их открыли, посмотрели, сказали — надо почистить и сменить пружину. Оставьте, всё сделаем. Старший конвоир распорядился: «Ни в коем случае, трогать не велено, только посмотреть. Посмотрели, сказали что как, до свидания, и забыли». Увезли их обратно в Кремль. Но в Кремле они сами собой не починились. На Спасской башне время смотреть — не набегашься. Было решено везти их в Женеву, в Швейцарию,

на фирму. Тем более что все часы «Патек Филипп» имеют пожизненную гарантию. Вот пускай и чинят по гарантии. И часы поехали в Женеву в сопровождении часового, разводящего и заводящего. В Женеве, в главном офисе на рю Дю-Рон, открыли заднюю крышку, достали толстый гроссбух, сверили номер и прочитали, что золотые часы номер такой-то были проданы в 19... году российскому негоднику господину Мальцеву. «Всё, — говорят, — в порядке, пожалуйста, предъявите сертификат». — «Какой ещё такой сертификат?» А действительно, какой ещё такой? Сняли с пуза, а потом расстреляли Ивана Сергеевича Мальцева вместе с беременной женой, урождённой княжной Барятинской, в городе Симеизе в 1920 году. Мёртвым часы ни к чему — их время вечность. А теперь такая незадача — сертификат им подавай. «Нету, — говорят, — сертификата, часы дарёные». — «Очень хорошо, *tres bien*, мол, просто *magnifique*. Давайте дарственное письмо. По нашим правилам, без дарственного письма претензии по гарантии не принимаются, а то можно подумать, что часы украдены или, не дай бог, насильственно отчуждены». — «Не надо думать, надо чинить. А не можете — так прямо и скажите». С тем наша миссия скоренько с «Патек Филиппа» и уехала, а часы в лучшем виде починили на Первом часовом заводе. Так они и тикали до последнего дня жизни владельца, может, и сейчас у кого-нибудь ещё тикают. Для «Патек Филиппа» сто лет не срок.

Эту историю я услышал от бывшего старшего инженера Первого часового завода, который предусмотрительно уехал из Москвы в Ленинград и растворился в пестрой массе ленинградских ИТР. Кстати,

не совсем уж растворился, а вскоре выделился на их фоне своими сталинской и ленинской премиями.)

Но тогда мне было не до печальной судьбы мецената Мальцева и его несчастной жены. Мне надо было изловить и доставить кошку. Просидев полдня на ступенях рынка, я не увидел ни одной. Они днём наружу не высывались. А чего им делать снаружи? Животный блокадный страх ещё не угас в них. Выскочишь — тут же схватят и сожрут. Кто не знает — у кошек мясо нежное, как у кроликов. У нас в деревне в колхозном овине была тьма мышей, потому что всех кошек съели. За кошку статью не давали, не то что за зайца, на которого разрешение полагалось. Поставил я свою жестянку с валерьянкой перед закрытием рынка в укромном уголке под лестницей и поплёлся домой. На следующий день, на рассвете, побежал на рынок. Лежат, дрыхнут у бачка кошка с котёнком. Малыша не удержала, не оттащила от греха подальше задрыга полосатая. Положил я свою добычу в мешок и понёс домой. Тётя Муся сказала:

— Изверг и душегуб. Ты смотри, я в этот Эрмитаж приду и проверю, не заморили ли они их там. Оставь хоть котёночка.

— Нет, — говорю, — он у нас помрёт без молока, а там будет при мамочке.

— Ладно, иди-иди, креста на тебе нет. Стой! Ты чего их в мешке тащишь, как топить собрался? Возьми корзинку, пусть видят дорогу домой. Не понравится — прибегут назад.

Но им, видать, понравилось.

Недавно была телепередача про эрмитажных кошек. Ну, эти новые русские кошки не чета нашим,

августа 44-го, хотя какое-то отдалённое родство всё же просматривается.

Иосиф Абгарович написал нам шикарное письмо в школу, что мы, мол, выполнили ответственное задание и обеспечили своевременное открытие Отдела западноевропейского искусства.

Русский отдел открыли значительно позже, когда с новым пополнением мурок и васек суконные мундиры петровских кирасиров уже можно было выставлять безбоязненно.

До 1 сентября мы приходили в Эрмитаж уже по привычке, и эта привычка сохранилась у многих из нас на всю оставшуюся жизнь.

ОТЕЦ

Отец был скромным рядовым инженером и никогда не высовывался. Возможно, это спасло ему жизнь до войны. Единственный раз, когда он высунулся, так это из окопа в 1942 году, чтобы выстрелить из своего ПТР* в гусеницу немецкого танка. Это тоже, наверное, спасло ему жизнь. Гусеница слетела, танк завертелся на месте. Через верхний люк стали вылезать немецкие танкисты. Первого уколошили беспорядочной стрельбой, второй, вылезая, поднял руки. Отец заорал: «Не стрелять, возьмём пленного!». Немец так с поднятыми руками и скатился по броне в объятия полудохлых солдат батальона выздоравливающих. Его тут же уволокли в окоп, подвесили пару невразумительных плюх для острастки, связали руки за спиной его же брючным ремнём, посоветались, кому его в тыл тащить. «Ну раз Березин танк подбил, пускай и ведёт с сержантом».

И они втроём поползли в штаб батальона. В то время пленные попадались редко, тем более из подбитого танка, и это событие стало явлением батальонного масштаба. Когда они то ползком, то на четвереньках, а на самом последнем участке в полный рост добрались до штаба батальона, там их уже ждали. Капитан велел немца слегка помыть, почистить, положил перед собой его документы и сказал:

— Надо бы провести первичный допрос. Эх, чёрт, никто языка не знает. Да и я подзабыл.

* Противотанковое ружьё.

Однако поднапрягся и, глядя немцу в глаза, строго спросил:

— Анна унд Марта баден, вир фарен нах Анапа?

Немец обомлел от ужаса и запричитал:

— Найн, найн. Анна унд Марта ниht фарен нах Анапа цум баден!

Возможно, он испугался, что с ним говорят каким-то шифром, имея в виду немецкое наступление на Кавказ. Капитан явно обрадовался:

— Понимает шельма, ишь как испугался! Тут бы его и опросить, пока он ещё тёпленький.

Солдат Березин снова высунулся.

— А вы спросите, товарищ капитан!

— Как же я спрошу? Я, кроме «Анны с Мартой» и «хэнде хох», ничего не помню.

Немец вздёрнул руки вверх.

— Да опусти ты. Это я так, к слову. Варум, дарум, вифель урен.

Немец с готовностью отстегнул ручные часы и протянул капитану.

— Вы его спросите по-русски, а я попробую перевести, — снова встрял настырный солдат.

Капитан недоверчиво посмотрел на него. Маленького роста, тощий, сутулый, с горящими глазами, только что из стационара для дистрофиков. Солдат ему явно не понравился. «Но танк ведь подбил, с двадцати метров, как учили. Может, он и в школе хорошо учился и что-нибудь помнит». И капитан стал задавать вопросы, солдат без запинки переводить, а немец отвечать. Через полчаса капитан исписал уже полблокнота. Позвонили из штаба полка:

— Твою мать, что вы там с пленным делаете, почему не ведёте?

Капитан говорит:

— Снимаем допрос, пока тёплый. Уже полблокнота заполнили.

— У тебя же переводчика нет или он по-русски говорит?

— Он говорит только по-немецки, а переводчик у меня бронебойщик из дистрофиков, который танк подбил. Он по-немецки чешет, вашим так и не снилось.

— Давай их обоих сюда, живо! Солдата-то покормите, чтобы по дороге не откинулся.

— Покормите... у нас у самих только суп рататуй, по краям картошка, а в середине — сам знаешь.

И они потопали в штаб полка. Пленный, солдат Березин и двое конвойных. В штабе полка после допроса солдату сказали:

— А ты останешься у нас, нечего тебе там в окопе грязь месить. Будешь у нас служить в разведроте. Отправляйся к капитану Погибе, он тебя к настоящему делу приставит.

И солдат отправился по новому месту службы в разведроту. Ротой командовал кадровый военный из кубанских казаков. «Академиев» он не кончал, что, возможно, спасло ему жизнь во время армейского погрома конца 30-х, но разведчик он был от бога. На Ленфронте половина «языков» числилась за ротой капитана Погибы. Если бы не его сомнительное происхождение из старинной казачьей семьи, то был бы он уже полковником и командовал бы разведотделом корпуса или армии, а так оставался с самого Халхин-Гола капитаном. Почему-то он обрадовался новому бойцу так, как будто ему не доходягу из батальона выздоравливающих прислали,

а самого наипервейшего снайпера. Он представил солдата личному составу и сказал:

— Батю беречь, кормить от пуза, в караулы не ставить, чего попросит — достать из-под земли, а когда подкормится, обучить стрельбе из всех видов трофейного оружия. Он, между прочим, танк с 20 метров один подбил. Не каждый сможет.

Разведчики сочувственно посмотрели на батю, похлопали по тощему плечу, по костлявой спине.

У солдата Березина началась новая жизнь. Скоро у него появились справные хромовые сапоги вместо грубых кожемитовых ботинок с обмотками, которые прилипали к ещё не зажившим язвам. Ушили по его размеру комсоставскую гимнастёрку, вместо мосинской берданки 91/30 дали ППШ, а вскоре дополнительно и трофейный шмайсер. Понемногу он осваивал и азы профессии. Учился кидать из любых положений немецкий штык-нож, стрелять в темноте на звук или на вспышку. Но главным занятием было освоение немецких радиопередатчиков различных систем. Целыми днями он сидел с радисткой роты Аннушкой и перестукивался с ней без выхода в эфир, отрабатывая свой почерк. Время от времени разведчики уходили на задание, иногда возвращались с языком, иногда сами теряли товарищей на той стороне или при переходе через линию. Капитан Погиба обращался временами к отцу:

— Ну что, Батя, осваиваешься? Скоро найдут тебе напарника, тогда будет и твой черёд.

Напарник нашёлся, черёд наступил. Напарник и отец никогда не встречались, никогда не видели друг друга, только слышали. Напарник сидел где-то в штабе армии, и отец переговаривался с ним

по телефону на немецком языке. Говорили они в основном на бытовые фронтовые темы. Каждый из них по роли занимался вопросами снабжения: фураж, там, ГСМ, реквизиция гужевого транспорта у местного населения, рационы, обмундирование, всё вплоть до гуталина и жировой смазки кожаных ранцев. Скоро они должны были вести свои разговоры уже в эфире, а не по защищённому телефонному каналу.

Ранней весной группа разведчиков из роты капитана Погибы направилась в глубокий немецкий тыл.

Как это всё делается, мы знаем по литературе, по замечательному кинофильму «Звезда», по другим источникам, но дальний поиск в постановке капитана Погибы, по-моему, не был описан. Во-первых, разведчики, отправляясь в тыл, не имели ни единой вещи советского производства. Оружие, одежда, рация, сигареты, спички — всё было трофейное. У них не могло быть такой оплошки, как убить советским ножом, пуля от ПППШ, окурки от Беломора. Всё было натуральное, из Фатерлянда. Встречи с местным населением были категорически запрещены. В случае неожиданных контактов несчастные очевидцы подлежали уничтожению независимо от пола и возраста. При захвате пленных, преимущественно офицеров или рассыльных, их не тащили через линию фронта, а проводили опрос на месте и результаты сообщали открытым текстом на немецком языке, на немецких частотах в штаб армии. Вот тут-то отец и его далёкий напарник могли вдоволь наговориться на условном языке о шнапсе, тушёнке, подковах, лопатах и понтонах. Разведгруппа, работающая в немецком тылу на морзьянке, обречена. Пеленгаторы находят рацию

максимум за три дня. Открытая немецкая речь, пересыпанная отборным матом, и переругивание с ближайшими станциями могли дезориентировать пеленгаторов на некоторое время, особенно в период неразберихи, возникающей во время передислокаций, а это и было время разведывательных операций.

Обо всём этом я узнал уже после войны, когда отец демобилизовался, и на девятое мая 1947 года была назначена встреча фронтовых друзей в Ленинграде. В этот вечер все должны были собраться у нас на квартире. Мамаша сказала:

— Ну и прекрасно, я сварю крjшон и испеку в чудо-печке шарлотку.

Отец мрачно посмотрел на неё и буркнул:

— Какой крjшон, какая, к чёрту, шарлотка!

И обратившись ко мне, приказал:

— Купишь шесть бутылок водки, нет, семь, на всякий случай, коньяк, десертного вина для Анны Прохоровны, она водку не пьёт. А ты, — обратился он к матери, — запечёшь в духовке окорок и приготовишь закуски.

— Водка? — закричала мамаша. — В нашем доме никогда не было водки! Фу, какая гадость, у нас и водочных рюмок нет.

— Кстати, — сказал отец, — купи комплект рюмок, 12 штук, на свой вкус.

Вообще говоря, меня всегда удивляла претенциозность мамыши. Родилась она в семье боцмана невского дебаркадера, и боцманы, как известно, крjшонов не пьют. Дедушка исключением не был. Главным инструментом воспитания в семье был шпандыр. Насколько я понимаю, это какой-то специальный ремень. Так что особенных нежностей

в семье не было. Я думаю, что все эти крюшоны и шарлотки пришли гораздо позже, в разгар нэпа, когда мамаша на разных курсах познакомилась с осколками разбитого вдребезги старого общества и поднабралась от них манер и выражений.

Девятого мая к 7 часам у нас собрались гости, большинство было в мундирах с наградами. Командовал парадом полковник Погиба. Он только что получил генеральскую должность и ожидал свою первую генеральскую звезду. Отец хотел посадить его во главе стола, но полковник сказал:

— Нет, сегодня мы в гостях у Бати. Он хозяин, и сегодня мы воздадим ему должное. Только пусть место рядом с ним никто не занимает. Это место его напарника. Они никогда не встречались, и я думал, что сегодня они наконец-то встретятся, но он умер от инфаркта на прошлой неделе. И он ещё с нами, нальём и ему рюмку.

И они налили. Они никуда не торопились и вспоминали...

Полковник наклонился ко мне и спросил:

— Отец ведь, наверно, тебе ничего не рассказывал и не расскажет. Из него ведь клещами не вытащишь. Так вот сиди и слушай.

Истории, которые они рассказывали, были в основном смешными. Можно было подумать, что они сильно веселились там в разведке. Особенно смешной была история, как отца вызвали в штаб Черняховского для допроса немецких генералов, и пришлось ему срочно присваивать офицерское звание, которое присвоить было никак невозможно, потому что у отца не было никакого военного образования. Тогда ему

присвоили звание — «офицер без звания». Полковник, вручавший офицерскую книжку, сказал ему:

— Берегите её как зеницу ока, она ещё вам может пригодиться, потому что в нашей армии сотни тысяч офицеров, тысяча генералов, даже маршалов всех родов наберётся с дюжину, а в звании «офицер без звания» вы, наверно, один на всю Красную армию.

Ему выдали шинель полковничьего сукна и отправили к Черняховскому. Он пробыл при нём до самой смерти командующего и был в нескольких шагах от него, когда раздался взрыв. Генерал армии погиб, а «офицер без звания» контужен и ещё долго валялся по госпиталям, пока наконец не вернулся к своим боевым товарищам.

Во всей этой истории неясно только одно: где это он так наострил язык говорить по-немецки. Неужели в школе или, вернее сказать, в Киевской Первой гимназии, которую он окончил с золотой медалью в 1915 году? Конечно нет. В гимназии училось много достойных людей. В одном классе с ним учился Константин Паустовский и некоторые знаменитые, потом забытые деятели революции. Все учили иностранные языки, но отец, как круглый пятёрочник, знал их не только лучше своих сверстников, но и всё свободное время тратил на изучение немецкого — главного языка науки и философии. Его единственным приятелем в гимназии был сын немецкого колониста Михель Вернер. Вернер-старший очень хотел, чтобы Михель поступил в Киевский Политехнический институт и стал инженером-механиком. Большое хуторское хозяйство требовало своего инженера. У Михеля были трудности с точными науками, и мой отец занимался с ним все зимы, а летом отправлялся

на хутор, где отводил душу в разговорах по-немецки с Вернером-старшим в его богатой библиотеке.

К окончанию гимназии Михель получил свои твёрдые четвёрки по нужным предметам, а отец говорил по-немецки с едва заметным саксонским акцентом.

С разведгруппой он ходил в дальний поиск 5 или 6 раз и за всё время их ни разу не засекли, и он не был ни разу ранен. Свою единственную, тяжёлую контузию он получил в штабе Черняховского. Никто из его сослуживцев по батальону выздоравливающих не дожил до конца войны. Большинство погибли на Невском Пятачке и при прорыве блокады. Так, казалось бы, бесполезное знание иностранного языка помогло ему сохранить жизнь и пройти всю войну в рядах настоящих солдат-разведчиков.

В тот вечер полковник Погиба сказал:

— Батя на фронте никогда не пил водки, считал, что даже глоток понижает боеспособность, и обещал, что выпьет с нами после войны. Этот момент настал — исполняйте обещание, товарищ офицер.

И отец взял стопку водки, выпил её, не торопясь, и, к ужасу мамыши, заел её солёным огурцом и крякнул. Полковник Погиба полез целоваться.

Отец умер в 1973 году от инсульта. Из фронтовых друзей на похороны пришла только Анна Прохорова с сыном — капитаном Погибой. Остальных разметала послевоенная жизнь, а многие ушли ещё раньше.

ТРИДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

Летом 1974 года я уговорил Лену, и мы отправились обратно в моё детство в Антропово. Высадились мы на станции Николо-Полома, откуда до Понизья было когда-то вёрст пятнадцать. Уже в Николо-Поломе нас удивило, что никто толком дороги до Понизья не знал. Знали только общее направление и махали руками кто куда. Ориентиром для нас стал разъезд Тчанниково. Поплутав часа три по заросшим, непроезжим дорогам мимо брошенных деревень, мы дошли до поселения с признаками жизни. Во время войны это была большая деревня Низятево, в которой все жители были гончарами. Рядом с деревней был овраг, из него несколько столетий подряд брали гончарную глину. В каждой избе стоял гончарный круг, приводимый в движение босой ногой. На круг шлёпали шмат глиняного теста, гончар втыкал в него большой палец, а остальными четырьмя окатывал боковую поверхность. Круг вертелся, под пальцами бесформенный шмат постепенно превращался в горшок, миску, крынку. Нас по очереди отправляли в Низятево учиться на гончаров. В интернате катастрофически не хватало посуды. Излишне говорить, что, кроме братьев Тихомировых, никто ничему не научился. Верхом моего мастерства стала плошка для кошки, в которую я вмазал маленькую глиняную мышку.

— Что это? — спросил Сыроежка.

— Мышка.

— Так ты ей на боку и напиши — мышка, а то кошка со страху окочурится.

— Кошка ведь не умеет читать, — возразил я серьёзно.

— Жизнь научит, — заверил меня Сыроежка.

Плошка стала у порога, а кошка надолго ушла в детскую группу.

Мы проходили мимо брошенных домов, мимо гончарного оврага, в котором давно уже никто ничего не копал. Дальше дорога угадывалась только по брошенной технике: тут останки трактора, там остов комбайна с торчащим в небо хедером (не путать с начальной еврейской школой). Хедер — это устройство для захвата колосьев. Кое-где из окаменевшей грязи торчали зубья лобогреек и крылья жаток.

Наконец из-за бугра со знакомыми дубами показалась деревня. Это было уже наше Стёпино. Мы спустились с бугра, перешли вброд ручей, вдоль которого когда-то расстилали лён, мимо бань поднялись к домам. Большая улица, первый порядок, вдоль которого стояли лучшие дома, находилась в беспорядке. Улица вся густо заросла высоким бурьяном, к некоторым избам тянулись вытопанные тропинки. Старый колодец с журавлём находился на своём месте в самом центре порядка. У колодца ошивалась стая одичавших собак. Они обернулись на нас и злобно зарычали. Лена попробовала один из своих городских приёмов и ласково заговорила:

— Собачки — хорошие, умные, такие красивые собачки.

Умные и красивые зарычали ещё более злобно и, оскалившись, стали приближаться к нам. Я нацупал в кармане свой нож с защёлкой, но тут раздался чей-то истошный женский голос:

— Ууу, б...и, сейчас как врежу коромыслом по мослам!

Собаки подались назад, мы обернулись и увидели пожилую женщину с вёдрами на коромысле.

— Вы куда идёте? — спросила она.

— Мы уже пришли. Это Стёпино?

— Стёпино-х...но, а чего вам здесь надо?

— Вот решили навестить, я здесь во время войны в интернате жил.

— А сейчас у кого жить будете?

— Не знаю, только пришли. Может, чего посоветуете?

Она помолчала, разглядывая нас, и сказала:

— Попроситесь к Соньке Романовой — она одна живёт.

— К Соньке!? Это старшая сестра Надьки?

— Она, а вы что Надьку знаете?

— Знаю, я с ней в школе учился.

— Ну тады вам к ней и дорога — второй дом за колодцем.

— Я помню, пятистенок.

— Во-во, давайте, а я здесь постою, чтобы собаки не бросились.

И она снова навесила им пару матюгов.

— Ничего себе местечко. Куда ты меня привёз? — спросила Лена.

Соня была дома. Насколько я её помнил, она была девица неприветливая и злющая, полная противоположность Надьке. Такой она и осталась. Только теперь уже не девица, а пожилая костлявая тётка. Она долго пыталась вспомнить меня, потом вспомнила в основном мой репертуар, который я исполнял на детской скрипочке во время поминок по убитым.

— Ну а приехали зачем-то? — наконец она задала самый главный вопрос.

— Вот решил навестить места детства, — снова затянул я свою песню.

— Так ни с того ни с сего и решил? Ты это в школе расскажи первоклашкам; может, они тебе и поверят, а я должна точно знать, раз ты ко мне на постой собрался. Дом, что ли, покупать хочешь? Тут уже многие дома скупили, ваши же интернатские.

Мы с Леной переглянулись: пожалуй, это был выход. И я сказал:

— Да, хотелось бы. А что, продают ещё?

— В Стёпине уже нет, а ты походи кругом, поспрашай, может, какую развалюху и купишь. Тебе же ведь не круглый год жить, только на отпуск. Ну ладно проходите. Если устроит, то и устраивайтесь.

И она повела нас в хорошо знакомую мне избу. В избе по стенкам висели грамоты, из которых мы узнали, что Соня заведовала избой-читальней, а теперь поселковой библиотекой. Сельская интеллигенция. На что же она живёт? И как бы читая мои мысли, Соня сказала:

— Коровы и козы у меня нету, обрат с фермы беру. Картошка с огорода, а хлеб два раза в неделю привозят из района. Аккурат завтра привоз, так что с утра пораньше собирайтесь в сельпо, дают буханку в одни руки. Мы три возьмём, две сменяем на сметану и яйца — будет чего на «завтрек». Вы чего с собой привезли — выкладывайте, чтобы в сидорах не задохлось.

И мы выложили свои городские припасы: копчёную колбасу, масло, конфеты, пряники и бутылку — куда же без неё. При виде бутылки Соня первый раз улыбнулась и пригласила садиться за стол.

Она поставила котелок с картошкой, хлеб, простоквашу, мы — всё остальное, разлили бутылку, и начался вечер воспоминаний.

За тридцать лет много воды утекло. Сестра Надя с семьёй уехала в Ленинград, иногда приезжает летом. Мама умерла сразу после войны. Батю ещё при мне убили на фронте. Председатель колхоза после того, как все колхозы сельсовета объединили в один, остался без дела, уехал на Полому к вдове. Потом вдова пропала — стали её искать. Нашли в гробе в кадучке. Её председатель задушил, на куски разрубил и засолил. Так кадучка в подвале и стояла. У Лены закрылись глаза, и она медленно поползла со скамейки под стол. Я вывел её на крыльцо.

— Эти ужасы когда-нибудь кончатся? — спросила она слабым голосом.

Я подумал, что они только начинаются.

— Ванилу помнишь? — спросила меня Соня.

Ну как же можно было забыть Ванилу! Он был первый силач во всей округе. Ещё школьником он поднимал трактор за передок. По слухам, это могли сделать ещё два мужика в районе. Ванила никуда не рвался из деревни, работал и плотником, и кузнецом, на драки не ходил, но часто разнимал дерущихся: поднимал буяна вверх тормашками и засовывал его головой в бадью с водой или в навозную кучу — что было ближе. У колодца его и застрелили из охотничьего ружья. Долго разбирались, кто и за что, а потом списали на пьяную драку, хотя Ванила и в рот не брал. Может, поэтому его и убили. На этом я вечер воспоминаний закрыл, чтобы можно было прийти в себя до утра, до похода в сельпо.

Дорога в Понизье, раньше такая ровная, стала вся в буграх и рытвинах. Брошенной техники по

краям тоже поприбавилось. Прямо выездная сессия МТС, или, как деревенские её называли, «железный погост». У сельпо на ящиках и брёвнах сидели жители и ждали открытия. Мы заняли очередь и сели на пустой ящик. Тут же к нам подошёл пожилой мужичок в ватнике на голое тело. То ли у него не было рубахи, то ли он хотел, чтобы все любовались наколками на его груди. Он сел по-зэковски, на корточки, закурил сигарету, пустил дым в нашу сторону и спросил:

— Из Питера?

— Из Питера.

— Интернатский?

«До чего же быстро здесь вести распространяются», — подумал я.

— Интернатский.

— Я тоже, — сказал он.

Я впился в него глазами. Он ухмыльнулся.

— Хочешь признать? И не пробуй, я уже потом в интернат попал после войны, тогда ваших питерских мало оставалось.

Это было новостью для меня. Я думал, что с концом войны все собрались и уехали по домам, а домов-то, оказывается, уже у многих не было и родных не осталось. Вот они и застряли здесь, а интернат стал местным детдомом. Вот такая история.

— Так что ты меня не знаешь и не слышал, если не чалился (в смысле, не сидел).

— Нет, я не ходил (в смысле, на зону). Учился, потом работал.

— Меня Петя зовут, — сказал мужик. — А тебя?

— Меня Арсений.

— Не слыхал. Ты сюда маляву не засылал?

«Проверяет, — подумал я, — прикидываюсь фразером или ботаю. Но всегда лучше меньше прикидываться», и я ответил просто:

— Не, мы так приехали, дом присмотреть и вообще.

Я вынул из кармана нож и стал обстругивать какую-то палочку, чтобы показать, что беседа меня не шибко интересует.

— Ну гляди, присматривай себе дом, — сказал Петя и отошёл к группе мужиков. Он им что-то говорил вполголоса, и они поглядывали на нас без особого дружелюбия. Вскоре прикатила продавщица на хлебном фургоне. Мужики быстро сгрузили хлеб и встали без очереди, но стояли они не за хлебом, а за водкой. Взяли под расписку по бутылке, по банке килек, один кирпич хлеба на всех и пошли вниз к ручью, где и в старое время было много уютных пропешин в зарослях ивняка.

Кирпичи были всё такие же тяжёлые и сырые, но из них уже не торчали остья и колосья. Муку, вить, привозили заводскую, а не по колхозным сусекам собирали. Я отломил корочку и положил в рот. И все эти тридцать с лишним лет исчезли, как будто вчера ещё я также поднимался из Понизья к Стёпину и жевал такую же корку. Вот так вся жизнь прочитана от «корки до корки».

У колодца нас ждали всё те же собаки. Увидев нас, они зарычали и стали медленно наступать.

— Ну скажи же им что-нибудь! — нервно вскрикнула Лена. — Они же разорвут нас!

— Что я им скажу?

— То что вчера говорила эта женщина с ведром!

И я всё вспомнил, и то, что было вчера, и тридцать лет назад, открыл рот и заревел на них от-

борным. Эту косматую шпану как ветром сдуло. Лена с интересом взглянула на меня, и мы прошли к дому.

У меня ещё в городе была намечена программа посещения окрестных деревень, но на первой же экскурсии программа зависла из-за бездорожья. Там, где раньше проходили хорошие наезженные дороги, остались одни бездонные выбоины и колдобины. Чтобы попасть в соседнюю деревню, надо было вернуться в Понизье, а оттуда уже — в деревню. Понизье стало центром здешнего мира, за пределами которого всё остальное к реальной жизни отношения не имело. Знаменитого базара в Палкино уже не было, да и неизвестно, существует ли само Палкино.

Кое-как мы добрались до деревни Угол, постучали в одну избу, показавшуюся обитаемой. Никто не отозвался, мы пошли дальше. Нас догнал мальчишка, спросил:

— Мамишна послала спросить, вы чего стучались?

— Мы мёду хотим купить, раньше здесь везде пчёл держали.

— Банка есть?

Мы показали банку в рюкзаке.

— Пошли к мамашне.

Вышла мамашна, уткнув руки в боки. Спрашивает сына:

— Эти чего хотели? Ты чего привёл?

Он ей толково отвечает: что вот, мол, питерские (как он узнал, что на нас написано, что ли!) «ходят» с банкой, «хочут» мёду купить. Мамашна помолчала, сказала:

— Давайте банку. А соты вам надо?

— А они запечатанные? — спросил я.

— Вестимо, — ответила она и посмотрела на меня повнимательней, — ты из какой деревни пришёл?

— Из Стёпина.

— Ааа, из интернатских, значит.

«Ничего себе, — подумал я, — как у них дедукция работает».

— Чего же вы сами двери не открыли — парнишку послали?

— Дык, чего же её каждому открывать! Мало ли кто шляется! Какой от них прок? Может, вам чего ещё? У вас-то в Стёпине ни х... нет. Как были голодранцы, так и остались.

— Тогда нам хорошо бы молока и сметаны.

Мамишна оживилась и по нашим лицам прочитала, что мы ничего хорошего давно уже не ели.

— Тады здесь посидите на скамейке, а я сейчас чего-нибудь соберу.

Парнишка остался с нами за часового.

— Тебя как зовут?

— Лёха.

— А фамилия?

— Ну Александров, ну.

— А по отчеству не Михайлович?

— Михайлович. А ты почём знаешь?

Я посмотрел на него повнимательней. Да, та же порода, крепкий парнишка, немногословный и смотрит набычишись. Вдруг он спросил:

— А тебя как зовут?

— В твоём возрасте меня Гулишна звали.

Лёха раскрыл глаза.

— Тады я тебя знаю, батя рассказывал, что он тебе хотел башку оторвать.

И он закричал внутрь дома:

— Мамишна, а мамисна, это за мёдом Гулишна пришёл!

Она вышла, вынесла банку золотого мёда, вафли сочащихся сот, половину пласта свежего творога, крынку сметаны и солёных огурчиков.

— Вот, собрала на «скору» руку, — сказала она и, обращаясь к Лёхе, спросила:

— Какой Гулишна?

— Ну интернатский, про которого батя рассказывал, кореш этого поганки.

— Сыроежки? — догадался я.

— Во-во, Сыроежки!

— Так это вы с нашим батей воевали? — спросила хозяйка. — Он как на побывку приезжает, то иногда «выпимши» рассказывает.

— А где он сейчас? — спросил я.

— На Северах, нефть ищет, не в колхозе же батрачить.

— Ну ладно, передавайте ему привет, когда увидите.

Мы расплатились за мёд, за творог и сметану она с нас не взяла. Лёха нас проводил до околицы и всё спрашивал:

— Гулишна, а Гулишна, а ты сам с батей дрался?

— Нет, — говорил я, — куда мне супротив твоего бати. Он ведь быка за рога валил. С ним Сыроежка дрался.

— А Сыроежка какой был?

— А вот поменьше тебя, но никого не боялся, даже твоего батю.

У околицы мы расстались, и я сказал Лене:

— А теперь ходу, ходу, пока не затемнело, а то без дороги все ноги поломаем.

Мы спотыкались на глинистых увалах, карабкались на пригорки и скользили в низинах. Вокруг простирались непаханные, несеяные, некошенные поля. Поля войны, — подумал я, — война прошла где-то там, а поля остались здесь, постепенно превращаясь в брошенную целину.

Ещё через тридцать лет мы с Леной снова ходили по полям, на этот раз новгородским. Всё та же безбрежная целина, заросшие бурьяном деревни, в которых доживали последние дни последние колхозные пенсионерки, но уже начинали копошиться приезжие дачники. В стране менялись правители, режимы, лозунги, только в деревне ничего не менялось. Она продолжала дичать и вымирать.

Когда разгоняли армию за ненадобностью, двести тысяч офицеров пожелали стать фермерами. Армия могла дать им технику, построить дома, проложить дороги, хотя бы грунтовые, могла, но не получила приказа. Россия упустила золотую возможность, свой шанс к возрождению крестьянства. Двести тысяч ещё молодых офицеров с крестьянскими корнями не вернулись в деревню. Они пошли в охранники, бандиты, «челноки», лавочники, оставив бесценную и бесхозную землю. Нет уже больше крестьян, скоро не будет и земли.

Вытянет Мишка Александров «на Северах» последний кубометр нефти из тундры, задвинет шибер и вернётся в свой Угол лечить застуженные ноги лопухами и гнать самогон из картошки.

Дома нас ждала встревоженная Соня.

— Уезжать вам надо завтра с утра. Петька дружкам говорил, что ты его убивать приехал, будто тебя из зоны специально нарядили. Так он сказал, что

раньше сам тебя убьёт. Завтра «техничка» из Поломы прикатит, вот на ней и езжайте.

Соня задёрнула все занавески в доме, припёрла дверь колом. Я положил топор рядом с кроватью и прокемарил всю ночь, прислушиваясь к каждому шороху.

Утром мы взяли рюкзаки и пошли к мастерской ждать «техничку». Шофёр поломался для блезиру, но потом согласился за бутылку и обещание — помогать, если захряснем. Как я уже говорил, дороги не было, было общее направление, по которому каждый кормчий сам выбирал себе путь.

Главным видом транспорта стала тракторная волокуша: гусеничный трактор тянул здоровенные сани, у которых полозья были вытесаны из цельных брёвен. На санях располагались груз и пассажиры. Так что после двух тысяч лет со времени распространения колеса в этом краю сюда снова вернулись сани в качестве всесезонного транспортного средства.

Пятнадцать километров до Поломы мы ехали три часа. Два раза выходили, подкладывали сучья при переправе через лужи, меняли колёса. На станции мы взяли билеты на первый же проходящий поезд. Поезд шёл в Ярославль. Путешествие в детство благополучно закончилось.

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФИЗТЕХ

КРОЛИКИ И ГЕНЕРАЛЫ

Я уже несколько месяцев работал в Физтехе и с утра до вечера занимался спектральным анализом одного вещества, необходимого для повышения обороноспособности. Вещество должно было быть очень чистым, не содержать посторонних примесей, иначе обороноспособность не повышалась. Даже очень малое, почти что ничтожное количество примесей делало вещество никуда не годным. Вот я и должен был эти примеси находить, говорить — какие, сколько, и делать всё это очень быстро.

Слух о том, что в нашей лаборатории появился спектральный анализ, скоро распространился по институту, и меня пригласил зав. химической лабораторией Александр Павлович Обухов. Александр Павлович был не простой химик. Простых людей в Физтехе вообще не было, как я потом убедился. Если это был инженер, то он потом оказывался великим изобретателем и лауреатом всех премий, если это был стеклодув, то его в Москву спецрейсом возили, чтобы он там у Курчатова какую-нибудь немислимую загогулину выдул. В стране таких стеклодувов было три, из них один у нас. Сидящий в углу радист, дымящий паяльником, оказывался чемпионом мира по авиамоделизму. Простой механик в лаборатории низких температур делал такие детали, которые вообще сделать было невозможно. «Он что, Левша?» — спросил я как-то по молодости. «Какой Левша! У Левши подкованная блоха не скакала, он малограмотный был, всего не рассчитал.

А наш — файн-механик, Слава Суппе, к нему сам Абрам Фёдорович ходил советоваться».

А то, что Александр Павлович был не простой химик, выяснилось потом, когда в его лаборатории сделали теплозащиту гагаринской ракеты. Пока взлетали и спускались собачки, разные Белки-Стрелки, американцы не волновались — знаем мы эти русские штучки. Запускают одну, она там зажаривается в раскалённой капсуле, а фотографируют другую. Однако, когда полетел и прилетел Гагарин, все обалдели. Всё НАСА стояло на ушах, пока не додумались. Но это отдельная история, а пока пылкий ум Александра Павловича был занят проблемой рака, к которой его привлёк знаменитый хирург из Военно-медицинской академии, назовём его генерал Попов. Генерал резал раковых больных, но хирургическое вмешательство в большинстве случаев оказывалось запоздалым. Рак обычно проявлял себя лишь на поздних стадиях. «Я чувствую себя не хирургом, а прозектором, — говорил профессор Попов, — на ранней стадии я бы их спас, но ранней диагностики пока не существует. Определите, по крайней мере, каков химический состав опухоли, какие химические элементы там аккумулируются, и может быть, мы сумеем подобрать подходящие радиоактивные метки и увидеть, где они там собираются».

Профессор Попов вырезал опухоль, помещал часть её в один кварцевый бюкс, а в другой помещал кусочки прилегающей здоровой ткани — для сравнения. Потом эти бюксы везли в Физтех, ставили в муфельную печь и сжигали до пепла. Затем этот пепел надо было подвергнуть спектральному анализу.

Вот тут-то на периферии этой проблемы замаячил и я. Александр Павлович пригласил меня и сказал:

— Хорошо бы в свободное от работы время решить проблему ранней диагностики рака. За это могут ведь и Нобелевскую премию дать. Вы же определяете за один раз полный качественный состав, а нам нужны месяцы работы, весь набор средств аналитической химии надо испробовать. Неужели вам самому не интересно?

Самому было интересно, но этот раковый пепел в кварцевых бюксах вызывал какой-то страх. «Тоже мне естествоиспытатель, — подумал я, — только столкнулся с серьёзной задачей и поджал хвост».

— Давайте, — сказал я, — попробуем.

Сначала я попробовал на простом пепле из ножек стульев, куриных косточек, наконец перешёл на содержимое бюксов. В раковом пепле железа оказалось гораздо больше, чем в здоровом. Образцы сменялись образцами из самых разных мест ЖКТ — желудочно-кишечного тракта, но везде в опухолях явно преобладало железо. Мы с Александром Павловичем стали искать по справочникам подходящую метку и нашли — изотоп железа Fe^{59} , имеющий не сильно выраженную бета-активность. Своим «открытием» я поделился с Семёном Ефимовичем Бреслером — большим Семёном. Он знал всё.

(Когда Семёну Ефимовичу поручили читать курс молекулярной биологии на кафедре биофизики ЛПИ, он сказал: «Никогда не занимался молекулярной биологией, придётся написать учебник». И написал. По нему занималось много поколений биологов в нашей стране и за рубежом. Профессиональные биологи сначала были в ярости и обрушились на любителя

Семёна Ефимовича с критикой. Он спокойно критику воспринял, поблагодарил, учёл, и последующие издания стали безупречными. Биологи скрипели зубами, но ничего поделать не могли. «А нечего было мух считать, — спокойно резюмировал Семён Ефимович. — Самим надо было писать, раз такие умные».

Он спокойно выслушал меня и сказал удивлённо:

— А чего ещё вы там ожидали увидеть? Ведь в раковой опухоли разлагается гемоглобин и оседает в ней. А гемоглобин состоит преимущественно из железа. Fe59 — вы говорите? Может быть, по крайней мере, не возникнет радиоактивного поражения. Самое трудное будет сделать капсулу-детектор, которую придётся глотать, но, может, дадим эту тему какому-нибудь студенту для диплома. Всё-таки мы кафедра физики изотопов.

На генерала Попова известие о железе произвело сильное впечатление. Он тут же стал развешивать планы научной работы на своей кафедре, зачем-то вызвал молодого адъюнкта, куда-то его послал. Молодой адъюнкт скоро появился с бутылкой «Двина», мы разлили и с большим энтузиазмом выпили за успех нашего предприятия.

— В следующем месяце с инспекцией в Академию приедет начальник тыла Советской Армии генерал армии Хрулёв, мы ему доложим, получим добро и начнём работать всерьёз.

Генерал Хрулёв не заставил себя долго ждать. В назначенный день мы сидели в ординаторской, ждали профессора Попова с операции и генерала Хрулёва с инспекцией. Первым появился профессор в белом халате, белой шапочке, белых штанах и тапочках.

Через несколько минут возник и начальник тыла в сопровождении свиты. Профессор Попов вскочил со стула, бодро щёлкнул тапочками, приложил руку к шапочке и доложил, что на кафедре только что успешно проведена плановая операция и для обсуждения текущих работ приглашены сотрудники Физико-технического института — профессор Обухов и адъютант Березин. Генерал армии покосился на нас, сказал «вольно» и спросил:

— Ну, что же вы, генерал, собираетесь обсуждать с этими... — Он замялся на секунду и добавил: — Вольнонаёмными товарищами?

Генерал-майор, профессор Попов, лаконично ввёл генерала армии в проблему ранней диагностики рака и рассказал о нашем участии в предстоящей работе. Генерал армии устало проговорил:

— Товарищ генерал-майор, дорогой мой Борис Сергеевич, ну куда вас потянуло? На фронте солдаты и офицеры гибнут от ран, а не от рака, вот этим и надо заниматься.

— Так точно, — бодро отрапортовал генерал Попов, — солдаты и офицеры от ран, а генералы и маршалы, в основном, от рака. Главным образом, от рака прямой кишки и ЖКТ.

Генерал армии хмыкнул:

— Допустим. А зачем у вас на отделении в нужниках установлены биде? Вы что, сюда мамзелей водите?

И брови у него грозно сдвинулись.

— Никак нет, товарищ генерал армии. Всё для того же. За долгие годы службы наши генералы и маршалы непрерывно пользуются в туалетах прессой, главным образом, газетой «Правда» и втирают

себе в прямую кишку свинец, содержащийся в типографской краске. А свинец — сильный канцероген. Биде же способствует правильному орошению. Я вам настоятельно рекомендую установить у себя дома и в Генеральном штабе эти сантехнические устройства.

Генерал армии внимательно изучил лицо генерал-майора, ища подвоха. Подвоха не обнаружил и сказал:

— Хорошо, посоветуемся. Действительно, чего уж там. А что вам надо для этой ранней диагностики?

— Главным образом, виварий. Мы заведём кроликов, будем их заражать штаммом, давать перорально раствор Fe59 и с помощью детектора смотреть места скопления железа и вовремя их вырезать.

— Вот это вы уж оставьте. Никаких кроликов вы здесь резать не будете. Будете резать наших доблестных воинов и гражданский контингент по разнарядке Горздрава. А кроликами пускай занимаются в Академии наук.

Генерал армии тяжело поднялся с узкого ординаторского стула. Генерал-майор вскочил и щёлкнул тапочками. Генерал армии поморщился:

— Да бросьте вы, Борис Сергеевич.

Протянул ему руку для пожатия, кивнул нам и вышел в коридор к ожидающей свите.

— М-да-а... — неопределённо протянул профессор, — ну что же, будем продолжать резать наших доблестных воинов. Зря это я брякнул про газету «Правда», чёрт дёрнул за язык.

На этом наши устремления к Нобелевской премии прекратились, а вскоре руководство лаборатории

за проявленную самостоятельность и нецелевое использование ресурсов лишило меня и квартальной премии.

Много позже я узнал, что метод меченых атомов успешно применялся японскими медиками для ранней диагностики рака. Но Нобелевской премии им тоже никто не дал. Что утешало.

ПИКИ-КОЗЫРИ

На заводе возник форс-мажор. Проиграли в карты начальника нашего цеха. Один урка проиграл другому. Но кто кому и на какой срок — неизвестно. Срок — это время уплаты проигрыша. Если проигравший не вернёт в течение оговорённого срока долг, т. е. не предъявит труп, то его самого убивают. Причём не просто убивают, а казнят самым жестоким, невероятным способом. Когда из зоны просочился слух, что начальника цеха проиграли, его в ту же ночь отправили спецрейсом в неизвестном даже семье направлении. Может, у проигравшего остались подельники или братаны на воле, и они уже получили «маляву» о том, что начальника надо «мочить». Пока игроки не обозначены, или срок проигрыша не вышел, и проигравшего не убьют, начальника надо прятать как самое дорогое национальное достояние, каким он, в сущности, и был.

Недавно умер Сталин, в Кремле началась борьба за власть. Страна ослаблена, самое время напасть на СССР и кончить эту затянувшуюся «холодную войну» хорошим атомным ударом. Тем более что военное преимущество всё ещё на стороне противника. Так наверняка думали в нашем «коллективном руководстве» и лихорадочно стремились достичь ракетно-ядерного паритета.

В каждой проблеме всегда есть ключевой элемент, свой гвоздь для подковы полководца, вернее, его захромавшей лошади. Проблема паритета в конечном счёте упиралась в наш цех: успеет он или

не успеет раньше американцев схимичить термоядерный заряд. Счёт шёл на недели и на дни. Заменил начальника цеха не могли ни Главный Теоретик, ни Генеральный Конструктор, ни сам Генеральный Секретарь. Только начальник цеха со своим сверхъестественным чутьём, своей интуицией, идя иногда наперекор всякой науке, мог наладить эту чёртову алхимию, которая тогда работала без технических описаний, без чертежей, без регламентов, исключительно по его воле и наитию.

И вот один урка проиграл его на нарах другому, и всё Политбюро, всё коллективное руководство оказалось бессильным. Оставалось только ждать, спрятав начальника за семью замками в каком-нибудь уютном бараке нашего соцлагеря.

Его отсутствие сказалось уже через двое суток. Продукт пошёл какой-то дерьмовый, ни на что не годный. Это уже я видел сам, своими глазами, разглядывая спектры, внезапно заколосившиеся сорняками, через которые уже ни одному нейтрону было не прорваться. Работы у меня поубавилось, и я стал чаще захаживать к своей знакомой — молодому специалисту, хирургу местной больницы, которая по совместительству работала и на зоне. Мы с ней познакомились на танцах в заводском клубе.

В отличие от других заводских клубов, в нашем всегда был образцовый порядок. На танцах дежурил комендантский патруль и в случае возникающих конфликтов зачинщиков тут же грузили в дежурный «козлик» и увозили в комендатуру, где без лишних слов сажали в подвал на хлеб и воду. Через пару дней их выпускали, задумчивых и тихих. На заводе оформляли прогул и начисляли штраф.

Так что дурацких драк и мордобоя из хулиганских побуждений или ревности у нас практически не было. В случае серьёзных разногласий противники подкарауливали друг друга где-нибудь на крутом берегу реки, подальше от посторонних глаз и выясняли отношения с помощью рашпиля, шабера или заточки. Чаще всего споры носили имущественный характер. Кто-то у кого-то спёр лодку или увёз козу с островного пастбища, или и то и другое вместе. Но из-за соперничества на танцах кровь не проливалась ни разу, и мы с удовольствием танцевали танго, блюзы и буги-вуги с молодым доктором три раза в неделю под мои пластинки. В нашем клубе никто не интересовался идейным содержанием музыки, и объявляли только: «медленный танец» — для танго и блюза и «спортивный танец» — для рок-н-ролла и буги. Местная молодёжь внимательно присматривалась к фигурам рок-н-ролла и довольно быстро сама начала импровизировать. Когда какая-нибудь аппетитная лаборантка взлетала вверх ногами и демонстрировала ажурные трусики, публика визжала от восторга. Моя подруга вверх ногами не летала, но в остальном смотрелась очень хорошо и танцевала с большим увлечением.

В первый же вечер, обозначая рамки наших отношений, она с медицинской прямоотой объявила, что она девушка, статут свой менять не собирается и местный батальон матерей-одиночек пополнять не намерена, и если меня такой формат отношений устраивает, то мы вполне можем встречаться. Меня такой формат вполне устроил, и мы продолжали ходить на танцы.

На следующий день после исчезновения начальника цеха в квартире молодого хирурга установили телефон для срочного вызова в больницу или на зону. Уходя в клуб, она звонила и сообщала, где её могут найти, если вдруг...

Прошла неделя ожидания, приближалось первое число — к нему обычно сводились все счёты на зоне. Молодого хирурга просили вечером на всякий случай никуда не отлучаться. Мы сидели у неё дома, пили чай с пряниками и смотрели альбом, где она была запечатлена в разных художественных позах. Она очень нравилась себе, и я считал её мнение вполне объективным. Ей также нравилось, что я фотографировал её, а затем проявлял и печатал её снимки по ночам в своей секретной фотобудке. Это была наша маленькая тайна от всевидящего глаза и всеслышащих ушей.

Часов в 9 вечера раздался телефонный звонок:

— Хирург? Срочно собирайтесь, едем в зону. Машина выслана.

Я проводил её к «газику» вниз и остался ждать. Пришла она уже под утро. В лице ни кровинки, зато белый крахмальный халат весь в крови. Она сняла его, бросила в угол и пошла в ванную. Выйдя оттуда в халатике, она закурила. Я никогда не видел её курящей и спросил:

— А ты разве куришь?

— Хирурги все курят.

— И пьют, — добавил я.

— Вот и налей.

Я налил ей рюмку коньяка, она залпом выпила.

— Ещё!

Вторую, слегка захмелев, пила уже не торопясь. Выпила и наконец сказала:

— Ну всё, порешили его.

— Кого?

— Ну этого, который проиграл вашего фраера — из-за чего весь сыр-бор.

— Как?

— А очень просто, посадили его на лом. Читал, как в Турции на кол сажают? А его посадили на лом. Лом ещё накануне воткнули в ямку с раствором, а когда время подошло, его к этому месту подвели и насадили.

— А что же охрана?

— Охрана заметила, когда у него из ушей уже кровь текла. Когда я подъехала, он ещё живой был. Говорю — давайте снимать. Там ещё кум был и чужой опер. Они говорят: «Погоди, пусть сначала скажет: это он проиграл и кому, может это всё подстава, чтобы мы на живца, т.е. на этого мертвеца, клюнули. Мы клюнем, объекта вызовем, а они его тут и порешат. Пусть он заговорит, а не хрипит. Ты, доктор, делай что-нибудь!» Я ему — прямой укол в сердце, он трепыхнулся, глаза открыл. Они: «Это ты проиграл? Говори, а то будешь висеть, пока не сдохнешь». Он головой еле кивнул — я, мол. «Кому?» Тут у него губы зашевелились, опер ухом прильнул, «понятно», — говорит, и куму на ухо прошептал. Тот со всех ног — на вахту. Опер ко мне: «Давай, доктор, командуй, не всё же ему висеть». Я подозвала двух вертухаев, и мы стали его снимать. По дороге в больницу он и кончился. Только приехали, а меня обратно. Когда пошли в барак брать того, который выиграл, он выхватил из матраца лезвие и полоснул себя по горлу: всё равно

ему с таким «счастьем» уже не жить. Я приехала, а он уже кончается. Его даже в больницу не повезли, на месте и сактировали. Потому я так и задержалась. Что за проклятая профессия! Что за проклятое место! За что мне всё это? За то, что на одни пятёрки училась, себя блюла, мамане помогала?

И она заплакала, привалившись к моему плечу.

На следующий день начальника цеха спецрейсом доставили обратно. Он за неделю хорошо загорел, поправился, вечно воспалённые красные глаза заголубели. Спектры тоже прочистились, как будто по ним ёршиком прошлись. «Продукт» стал наполнять штатные ёмкости. В положенный срок пришёл спецпоезд с двумя балластными платформами спереди, двумя сзади, вагоном охраны, запасным паровозом и блиндированным грузовым вагоном для «нашего». Куда мы его и загрузили. Паровоз свистнул, охрана встала по местам, и наш «продукт» поехал туда, где его уже набивают в «изделие».

Я посчитал, что где-то в августе «изделие» должны опробовать, если не возникнут новые неприятности. Они не возникли. «Изделие» шарахнуло 13 августа 1953 года. Но это было ещё впереди, а пока жизнь шла своим чередом.

Доктор получила два дня отгула за внеочередное ночное дежурство, я совершил внеочередной прогул, и мы отправились на реку покататься и позагорать на необитаемом острове. В мелкой песчаной бухте вода была тёплая, песок горячий. Доктор сняла с себя всё лишнее и загорала равномерно, чтобы не оставлять белых пятен.

— Сниматься будем? — спросил я её.

— Нет, что-то не хочется.

— А на танцы вечером пойдём?

— Пожалуй, я уже натанцевалась по уши, наверное, начну готовиться в ординатуру. Узнаешь мне там у себя, как и что.

Я согласился, а вскоре уехал домой.

С испытаний 13 августа Б.П. приехал чернее чёрного. Он встретил меня в коридоре института, взял за пуговицу, отвёл в сторону и пророкотал вполголоса:

— Это было ужасно, это было просто ужасно.

«Коллективное руководство» на радостях всех наградило. Как всегда кого-то забыли, кого-то недо считались, но доктор получила свою медаль за то, что в критический момент способствовала.

А всё же забавно, от какой малости может зависеть ракетно-ядерный паритет. Вот такие пикикозыри.

БУТОР И ЕГО СЛОВО

Мне оборудовали спектральную комнату на заводе. В спектральной комнате должна быть фотобудка с водой и электричеством. Время на её установку было вчера, в крайнем случае завтра, как обычно. К обеду прислали зэка с инструментом и конвоем. Конвойного я выставил в коридор и выдал ему пачку сигарет. Зэк был серьёзный, основательный. Инструмент был у него в полном порядке. Он достал складной метр, вынул карандаш и заточил его топором. У нас в деревне раскулаченный дедушка Тупицын тоже точил карандаши топором. Зэк был гладко выбрит.

— А бреетесь тоже топором? — спросил я его.

— Бывает, ответил он кратко и начал разметку.

Всё он делал споро, но не спеша, авторитетно делал. Нарезал принесённые доски, вмазал кронштейны, поставил раковину. Тут подошло время обеда, и в комнату вошла старшая лаборантка Клава с железным ящиком для образцов. Она поставила ящик на табурет и стала доставать из него посуду — тарелки, ложки, вилки, котелок, свежий хлеб. Поставила на стол три прибора и сказала просительно:

— Отобедайте с нами.

Это значит, я с ними. Вообще-то Клава была бойдевка. Под её началом числились сто лаборанток, которые подчинялись ей беспрекословно. Она могла и оплеуху дать, и премии лишить или наоборот, награждать по-царски — тремя днями отгула и паке-том ваты. А тут Клава вдруг стала какая-то сама

не своя, и зэк забурел при ней — только желваки на скулах задвигались. Я сказал:

— Конечно, о чём разговор!

Мы взяли табуреты и придвинулись к столу. Клава открыла котелок — там была варёная с пару картошка, присыпанная укропом и политая маслом. Зэк достал из кармана луковицу и нарезал её моим скальпелем. «Богатый зэк, — подумал я, — с луковицей ходит». Лук и чеснок были на зоне главная валюта, лучшее средство от цинги. Опытные командировочные, когда шли по заводу, роняли в траншею, где копошились зэки, то пачку сигарет, то луковицу не то чтобы от особого человеколюбия, а просто так было принято, для уберега. Зэки запомнят — не будут играть на тебя в карты.

— Кушайте, Фёдор Иванович, — сказала зэку Клава, — время-то идёт и картошка стынет.

«Ага, — подумал я, — вот какая драматургия получается. Фёдор Иванович — старый знакомый, не зря сюда пришёл. Со свиданьцем, значит».

— Со свиданьцем, — сказал я обрадованно, — тут и выпить не грех.

И достал колбу. Но Фёдор Иванович покачал головой и ответил:

— Нет, нам пить не положено. А вы выпейте на здоровье.

Клава протянула мне мензурку со словами:

— Налей, Борисыч, я выпью за ваше здоровье, Фёдор Иванович.

И слёзы потекли у неё из глаз. Фёдор смотрел на неё — только желваки двигались. Он спросил меня:

— Что же вы не пьёте, выпейте с нею.

Мы выпили неразбавленного, запили водой и быстро захмелели. А Фёдор аккуратно доел свою картошку с луком и вернулся к работе. К вечеру всё было сделано. Вода текла, свет горел, щелей не было. Когда Фёдора уводили, на Клаву было лучше не смотреть. На следующий день её в цеху не было.

Прошло время, объявили амнистию. Большинство эзков готовились ехать домой — строгали себе чемоданы. Но некоторые решили остаться: квалифицированным давали место на заводе.

Однажды в мою комнату вошла Клава и сказала:

— Борисыч, мы с Фёдором Иванычем приглашаем вас на свадьбу в эту субботу.

— Поздравляю, — говорю я, а сам думаю: ни хрена себе, свадьба у эка! Напьются, поножовщина — надо уходить огородами.

А Клава читает все эти нехитрые мысли на моём личике и говорит:

— Да вы не бойтесь, у нас очень спокойно будет, благородно. Ведь Фёдор Иваныч — БУГОР. Никто и не пикнет. И народ весь хороший — ни одного урки не будет! Все люди серьёзные — власовцы. — Каждое её слово, как гвоздь в темечко. Но люди-то и на самом деле серьёзные, таких обижать нельзя.

— Как же, — говорю, приду, а куда?

— В клубный барак, он теперь за зоной, к чetyрём часам.

И я пошёл на свадьбу. Клава оказалась права. Никогда ещё я не был на более достойной и непьяной свадьбе. Эзки наслаждались возможностью быть и чувствовать себя свободными и уважаемыми людьми. В конце свадьбы Фёдор отвёл меня в сторону и сказал:

— Ты скоро поедешь домой, Борисыч, дело идёт к концу, но дорога твоя спокойной не будет. Разное может случиться в пути, и я хочу дать тебе СЛОВО на дорогу, СЛОВО БУГРА. Ты поедешь с этим СЛОВОМ спокойно, но без нужды не говори, а приедешь домой — забудь. И он дал мне СЛОВО. И я приехал с ним домой, а мог бы и не приехать: в Котельниче началась резня, и многих пассажиров повыкидывали из поезда. По перрону с багажными тележками бегали ополоумевшие носильщики и кричали:

— Что мы тут нанялись покойников возить какие сутки. Сами режете, сами и возите.

С тележек свешивались руки и ноги тех, кто уже приехал. По дорогам с востока на запад катилась великая амнистия, оставляя за собой разбитые вокзалы и горы трупов. А я ехал на перекладных в свой Ленинград, и меня оберегало СЛОВО Бугра.

ЗИГЗАГ

Зимой 53 года мы похоронили одного из молодых сотудников нашей лаборатории. Мы все его очень любили и горестно оплакивали его смерть, наступившую от незаживающей множественной язвы желудка. После этого начальство решило принять профилактические меры и летом 54 года ряд сотрудников были направлены в санатории. Меня отправили в Боржоми, в санаторий «Ликани». Это была большая профсоюзная здравница, где трудящихся промывали целебной боржомской водой снизу и сверху. Все врачи были грузины. Они носили белоснежные крахмальные халаты, были преисполнены важности и к пациентам относились как к бедным родственникам — заботливо, но снисходительно. Все, кто мог, быстро поправлялись на чудесной боржомской воде, вдыхая запах реликтовых ликанских сосен, кто не мог — умирали, их тут же хоронили, и главный врач читал последнее слово на могиле, по результатам анализов и выписке из болезни успешного восстанавливая его трудовую биографию. Пару раз я ему помогал в этом деле, и похороны у нас проходили торжественно и печально.

К концу пребывания я начал чувствовать, что слабею от диеты номер один и многочисленных промываний. На очередном осмотре я пожаловался на это лечащему врачу. Он нисколько не расстроился и сказал:

- Значит, пришла пора делать зигзаг.
- Зигзаг — это как? — спросил я.

— Ну, что ты ешь? Каша манная, каша рисовая, компот из сухофруктов, сосиски из целлюлозы — гадость какая! От этого и здоровый человек заболит! А у тебя язва. Организм кушать хочет, а мы ему клизму. От этого может быть ахилия желудка. Вон как у того из Свердловска, которого хоронили на прошлой неделе. Пора делать зигзаг! Вместо ужина пойдёшь в духан, здесь по дороге к городу на Куре. Скажешь духанщику: Шени черимэ, Валико, — доктор прислал зигзаг делать. Он тебе сделает шашлык по-карски на рёбрышках, лобио, сациви из кур с орехами, траву разную — джонджола, реган, цимата, вино Хванчкара или Киндзмараули, потом кофе по-турецки со слоёным хачапури по-аджарски или пахлавой.

Я сглотнул слюну.

— Можешь пригласить какую-нибудь девушку. Во второй палате есть одна с пятой диетой — геолог из Уфы, тоже слабеет. Друг друга поддержите. — И, довольный, он засмеялся.

Вечером, подсчитав свои ресурсы, я понял, что геологу с пятой диетой зигзаг не светит, и отправился в духан один.

Духанщик стоял на пороге своего заведения, взглянул на меня намётанным глазом и спросил:

— Зигзаг будем делать?

— Зигзаг, — ответил я обречённо.

— Давно пора, — сказал духанщик. — Заходи дорогой, садись к окну.

За окном по ущелью бурлила Кура, а за ней тянулась жалкая ниточка однопутной закавказской железной дороги. В духане уже находилась какая-то компания местных джигитов. Они что-то шумно

обсуждали, за что-то пили из большого рога, который передавали друг другу. На моём столе тут же появились горячий лаваш, разнообразная трава, сациви, лобио и ещё что-то исключительно вредное и безумно вкусное. Валико подошёл и посоветовал:

— Главное — ешь траву! В траве вся сила. Кто ест грузинскую траву — никогда не болеет и живёт сто лет, если не убьют раньше.

И я предался зигзагу. Лечащий врач знал, что говорил. Такого лобио и такого сациви я нигде никогда не встречал. А мне предстоял ещё шашлык по-карски. Но с шашлыком вышло не совсем так, как я предполагал. Один из джигитов от соседнего стола подошёл ко мне. В одной руке у него был стакан красного вина, а в другой длинный кинжал, униженный как шампур кусками сочного горячего мяса. Острый конец кинжала торчал и был направлен к моему горлу.

— Генацвале, — сказал мне джигит. — Мы просим тебя присоединиться к нам и выпить за здоровье товарища Сталина.

И остриё кинжала скользнуло под подбородок.

— Но ведь товарищ Сталин умер, и пить за здоровье умершего человека — большой грех.

— Ты правильно думаешь, кацо, но неправильно говоришь! Товарищ Сталин не умер, товарищ Сталин жив! И он живёт здесь, в боржомском ущелье среди друзей. А кого вы там похоронили — это ваше дело. Так выпьем же за здоровье товарища Сталина, — сказал он уже с явной угрозой.

Умер товарищ Сталин в прошлом году или нет — это осталось вопросом исторической науки, а то, что я могу стать покойником через минуту, — это уже

вопросов не вызывало. Я никогда не хотел умереть за товарища Сталина, тем более в такой идиотской ситуации, и сказал:

— Ну раз он жив — тогда другое дело. И взял из его руки стакан. Все остальные джигиты тоже поднялись со стаканами в руках, и мой батано торжественно провозгласил:

— За здоровье товарища Сталина!

Я выпил со всеми. Это было Киндэмараули какого-то невиданного разлива. Батано протянул мне кинжал с шашлыком и сказал:

— А этим закуси.

Шашлык был тоже такой, что товарищ Сталин им бы не побрезговал. Батано посмотрел на меня влажными глазами и спросил:

— Как тебя зовут, дорогой?

Я сказал:

— Арсен. — Так, как было у меня записано в санаторной книжке. Тут лицо у него исказилось от гнева, и он закричал:

— Зачем ты меня обманываешь? У русских не бывает Арсен! Это я Арсен, и сегодня день моего рождения и день моего имени! Ну зачем ты сказал, что ты Арсен? Так всё хорошо было, а теперь я должен пролить твою кровь, чтобы смыть оскорбление.

Он довольно хорошо говорил по-русски — этот именинник и друг товарища Сталина.

— Не должен ты проливать ничью кровь, — сказал я ему уже обозлённый, — и нет здесь никакого оскорбления, потому что я Арсен.

— Чем докажешь?! — заорал он в истерике.

— Смотри сюда, — тоже крикнул я и протянул ему свою санаторную книжку. Слава богу, мы всегда

носили её с собой, ибо без неё на территорию санатория не пускали. Он схватил книжку и стал её бессмысленно перелистывать.

— Что это — цвет соломенно-жёлтый? Ты что, китаец? У тебя цвет серо-зелёный.

Я ткнул пальцем в первую страницу. Он прочитал:

— Фио... — споткнулся на фамилии и тихо произнес: — Арсен. Потом громко повторил:

— Здесь написано Арсен. Вы слышите, он Арсен, и я Арсен, мы как братья!

— Тёзки, — поправил я.

— Какие тётки? Братья! — И он полез целоваться.

Через минуту я сидел среди них, зигзаг вырос из скромной загогулины в фигуру невероятной красоты.

Очнулся я утром в своей палате. У кровати стояли две бутылки Киндзмараули, в тумбочке торчал кинжал с шашлыком, рядом записка: «Вечером не уходи — продолжаем. Арсен».

НЕБУЛИЙ

Небулий — гипотетический химический элемент, предполагавшийся в составе галактических газовых туманностей.

БСЭ, т. 17, 1974

На заводе случилось отравление. Отравилась целая смена, обедавшая в столовой. Никто не умер. Но ряды на время поредели. Как всегда, скосило самых нужных, самых незаменимых, самых-самых. Санэпидстанция ничего не установила, гражданская оборона была поставлена в тупик. Всё это я узнал, когда меня срочно вызвали в дирекцию. В дирекции шло совещание на эту тему. Обсуждался вопрос — «я не могли ли подсыпать нашего в пищу?». — «Для чего? — поинтересовался я. — От него ведь, кроме лёгкого поноса, ничего плохого не будет. Кормите людей всякой дрянью, а потом ищите причины в таблице Менделеева». — «Вот нам и надо установить, — сказал незнакомый человек в штатском, — не является ли наш причиной этого лёгкого, но массового поноса. И мы просим вас провести спектральный анализ остатков пищи, которая ещё находится на кухне. Анна Ивановна, обеспечьте товарища всем необходимым». И зарёванная Анна Ивановна, директор столовой, вместе со мной покинула высокое совещание. «У нас котлы арестованы. Мы их сейчас распломбируем и наскребём. Вам же много не надо?» — «Какая гадость,— подумал я, — подвергать спектральному анализу протухшие остатки!» И тут меня озарило: «Да-да, конечно, распломбируйте, запломбируйте,

но вы, наверно, знаете, что спектральный качественный анализ является не абсолютным, а относительным методом», — начал я читать ей лекцию спецкурса. «Как это, как это?» — «А так, что анализ проводится в сравнении с эталонным образцом, и мне для этого потребуется самый лучший, какой сможете, эталонный образец из директорского зала, свежее-зажаренный на сливочном масле с зеленым горошком и подрумяненной картошечкой». — «Понимаю», — сказала Анна Ивановна, — мы вам отрезем кусочек». — «Ничего вы не понимаете! — обозлился я. — Никакой не кусочек, а специально приготовленный лучшим поваром из лучшего мяса бифштекс к сегодняшнему обеду. Я не могу откладывать проведение экспертизы!»

Через пару часов ко мне в лабораторию в опечатанных судках были доставлены два образца — рабочий и эталонный. Я начал с эталонного. Анна Ивановна всё поняла правильно. Её знания об атомной спектроскопии были поверхностны, но знания жизни было не занимать. Я это понял, когда открыл крышку эталонной пробы. Сколько в ней было веры и надежды! Как она почувствовала, что бифштекс должен быть розовым внутри, с золотисто-коричневой корочкой снаружи! С сожалением я отрезал от него маленький кусочек для анализа и в первый раз за месяц предался пиршеству духа. Но за каждое удовольствие нужно платить. Расплата наступила, когда я взглянул на спектры проб. В глазах потемнело от частотокола тысяч спектральных линий. Спектры в точности совпадали друг с другом. В каждом был один и тот же набор элементов таблицы Менделеева. И *наш* был в одинаковых количествах.

И не *наш* с соседнего комбината тоже имелся. Правда, кое-чего и не было, например мышьяка. Значит, по крайней мере, крысид не насыпали. С расшифровкой спектра я засиделся до позднего вечера, заступила ночная смена, из столовой принесли эталонную пробу № 2. Анна Ивановна, определённо, осваивала атомную спектроскопию. Проба № 2 была настолько хороша, что я уже ничего от неё не отобрал в жертву науке. На следующее утро я составил отчёт, в котором приводился весь список элементов, находившихся в обеих пробах. В резюме было указано, что спектры идентичны, хотя в эталонной пробе наблюдается несколько большая интенсивность линий элемента небулия.

Прошло некоторое время. Массовый понос кончился, труженики атома вернулись к своим реакторам. В столовой стали кормить значительно лучше, санэпидстанция наконец-то нашла задним числом какую-то заваливающую палочку. Анна Ивановна, увидев меня в зале, обычно кричала: «Товарищ спектроаналитик, зайдите, снимите пробу! Или вам прислать?» Я заходил, и мы снимали пробу вместе. Жизнь налаживалась.

Из Ленинграда приехал Б.П. Он зашёл ко мне в спектральную, взял рукой за ухо и начал больно выкручивать, ласково приговаривая: «Небулий, значит! Несколько большее количество! Это что, 22-кратно ионизованный кальций в туманности Андромеда? А на 22 года в лагерь не хотите? Вот, прямо здесь, через дорогу. Ваше счастье, что Авраамий Петрович рассказал об этом Якову Борисовичу, они оба смеялись до упаду. А ведь мог рассказать и Лаврентию Павловичу!

И тут до меня дошёл весь ужас содеянного. Я понял, по какому тонкому льду ходил всё это время. Наполовину оторвав моё ухо, Б.П. успокоился, осмотрел комнату и распорядился: «Вот этих голубей мира на фотобудке закрасьте. Тоже мне Пикассо на зоне. Кстати, зарплату мы вам повысили, пока вы тут развлекались живописью. Пошли домой. У меня есть для вас книга «Туманность Андромеды». Я знал, что Б.П. очень любил Ивана Ефремова и как писателя, и как человека, и не стал говорить, что «Туманность Андромеды» у меня уже есть. Если захотел подарить, пусть дарит, пусть ему будет приятно.

С конца 50-х годов я работал на термоядерной установке «Альфа» в Институте электрофизической аппаратуры. Самыми нудными были наши спектральные измерения. Надо было произвести не менее 500–600 электрических разрядов, этаких рукотворных ударов молнии, для того чтобы получить внятную фотографию спектра излучения этой якобы термоядерной плазмы. Вначале в нашей маленькой спектральной группе было 3 человека, которые соглашались сутками сидеть в приборном бункере и производить снимки спектров. Но одного вскоре посадили на 6 лет за чтение романа «Доктор Живаго», а другого сняла техника безопасности из-за опасения, что он сможет зацепить костылём кабель высокого напряжения, так что на ночные дежурства оставался я один. А с напряжением у нас было всё в порядке. Перед разрядом даже у сидящих в бункере поднимались волосы на голове, а из кончика носа выскакивали искры.

После одной бессонной и не особенно удачной ночи в бункер спустились сверху и скомандовали:

— Кто тут из Физтеха, быстро в дирекцию! Приехала комиссия из Москвы!

И я как был в своём прожжённом, мятом халате, небритый и голодный поднялся в дирекцию. Комиссия из Москвы в составе одного человека в нежно бирюзовом заграничном костюме сидела рядом с директором в кресле, небрежно закинув ногу за ногу, выставив гавайские носки на загорелой голени.

Комиссия мне сразу не понравилась: я сам пижон, друзья — пижоны, но надо же знать место и время. Комиссия как раз поджидала меня, чтобы приступить к критике нашей части программы исследований. Приятно грассируя и явно любуясь собой, комиссия сообщила присутствующим, что после Бунзена и Кирхгофа в спектроскопии ничего нового не появилось и в ближайшее время не появится. Поэтому глупо расходовать время и электроэнергию на никому не нужные спектры. Термояд — это нейтроны и альфа-частицы, а не излучение фотонов от примесей и всякой дряни. Все посмотрели на меня осуждающе, так как именно из-за меня они сутками маялись, подливали азот в дьюары, поднимали напряжение, бахали, глохли, и всё оказывается впустую. После речи комиссии директор вяло спросил:

— Есть ли желающие что-нибудь добавить?

— Есть, — сказал я. И, взяв себя в руки, начал говорить.

— Вот тут товарищ из Москвы упомянул Бунзена и Кирхгофа; очевидно, его знания спектроскопии на этом уровне и кончаются.

Все уставились на меня с ужасом. Вася больно ткнул меня под столом ботинком, но меня уже понесло.

— Именно спектроскопия привела к созданию мазеров и лазеров. О каком термояде мы можем говорить, когда не знаем даже, из чего состоит эта самая термоядерная плазма. Вы думаете, из протонов и электронов? Как бы не так! На 90 процентов она состоит из этой самой дряни — примесей железа, кремния, углерода, азота. И пока мы не научимся получать её чистой, ни о каких нейтронах и альфа-

частицах можно и не мечтать! Разве можно было бы построить атомный реактор не из сверхчистого графита, а из бурого угля! Почему же вы хотите получить термояд в железной камере, в которой плазма всё время лижет стенки и образует дуги, из которых вылетают струи тяжёлых частиц? Пока мы не научимся получать чистую, изолированную от стенок плазму, ни о каком термояде не может быть и речи! И единственным инструментом, позволяющим судить о том, что в этой плазме происходит, является спектроскопия.

— Ты с ума сошёл, — зашипел Вася. — Кому ты говоришь? Ведь это Лев Андреевич Арцимович!

Так я увидел Арцимовича в первый раз.

— Ну что же, — сказал Лев Андреевич после некоторой паузы. — Я рад, что у вас есть такие энтузиасты диагностики. Я ведь не ретроград и не призываю вас закрывать это направление. Действительно, мы говорим плазма, но то, что мы под этим подразумеваем, может совершенно не соответствовать действительности. Безусловно надо с этим разобраться, но без ущерба для всего остального. Всё-таки Бунзен и Кирхгоф жили в прошлом веке, а сейчас мы должны больше ориентироваться на Тамма и Сахарова.

Совещание было окончено, я пошёл к себе в бункер. По дороге коллеги спрашивали: «Не боишься? Академика зацепил, теперь он тебя запомнит». И он запомнил. Через несколько месяцев, когда стало ясно, что никакого термояда мы не получим, меня вызвали в дирекцию. Замдиректора Николай Васильевич заботливо усадил меня напротив и, помявшись немного, сказал:

— У нас большая неприятность.

— ???

— Лев Андреевич Арцимович составлял делегацию на конференцию в Зальцбург и из нашего института включил вас.

Меня как током ударило.

— А в чём неприятность?

— А в том, что, кроме вас, он никого не включил. Ни профессора Г., ни профессора З., ни других докторов, только вас, а вы даже и не кандидат.

— Надеюсь, скоро буду, — ответил я. А в голове сверлила мысль: «Неужели Хоми Баба, но ведь он умер, или для брамина это не имеет значения. Жив — умер, какая разница?»

— Я категорически возражал, — продолжал Николай Васильевич, — но он категорически настоял. Даже сказал, что раз вы не испугались его, значит, вообще никого не испугаетесь. Разве вы с ним встречались? Когда это вы его не испугались?

— Встречался, — ответил я. — Значит, это он сам, Лев Андреевич.

— Остаётся единственный выход, — гнул своё Николай Васильевич, — вы сами откажетесь от участия, сошлётесь на болезнь или на отпуск. Мы вам и путёвку в Старую Руссу на воды дадим. И тогда сможем послать профессора Г. или З.

— Я сам не откажусь, — сказал я мрачно, — а минеральная вода есть и в Зальцбурге. Алко-Зельцер называется.

— Значит, не хотите пойти навстречу дирекции в интересах института?

— Навстречу дирекции — не хочу. А интересы института Льву Андреевичу дороги не меньше, чем

вам. Это же его родной институт. Я думаю, Лев Андреевич знал, что делает.

Друзья мои, никогда не поступайтесь своими интересами ради мнимых интересов чиновников любых рангов и мастей, никогда не позволяйте себя унижать. Ибо унижение ведёт к инфаркту или алкоголизму либо к тому и другому вместе.

Николай Васильевич вздохнул и сказал:

— Тогда начинайте готовиться. Учтите, что на помощь ваших руководителей вам вряд ли стоит рассчитывать.

Николай Васильевич был опытный организатор науки и всё понимал правильно. Но и я уже был не новичок, и мы поняли друг друга.

Перед поездкой в Зальцбург нас собрали в Москве, в Главатоме. Визы получены, гостиницы заказаны, билеты куплены. Не было РЕШЕНИЯ. РЕШЕНИЕ задерживалось. Мы только что ухнули здоровенную водородную бомбу на Новой Земле и ждали реакцию мировой «реакции» на эту нашу «мирную» инициативу. Дождались, начали думать, то ли выпускать нашу сборную по термояду в Зальцбург, то ли попридержать до лучших времён. Наконец Никита Сергеевич распорядился — пускать. РЕШЕНИЕ состоялось, и мы поехали. Почти для всех из нас это было первое путешествие на Запад. Заинструктированные под завязку, мы прилетели в Вену. Там мы были приняты послом, а напутственное слово произнёс советский представитель в МАГАТЭ — Вячеслав Михайлович Молотов. Тот самый легендарный Молотов, имени которого были города, заводы и стипендии.

Вячеслав Михайлович был загорелым, энергичным, подтянутым мужчиной. Поражало его лицо — гладкое, почти без морщин. Наши академики выглядели по сравнению с ним как сморщенные мухоморы рядом с ядреным боровиком. Вячеслав Михайлович не стал рассказывать нам про происки врагов и шпионские сети, которые будут накидывать на нас в каждой забегаловке, про эшелоны завезённых из Парижа кокоток для сексуальной компрометации, про миллион долларов ЦРУ, приготовленных для подкупа и шантажа. Он не стал вешать нам на уши всей этой чуши, а спокойно сказал:

— Каждый из вас знает, как вести себя на конференции и что говорить, и не мне вас учить. Но вы пойдёте по магазинам, вам же захочется привезти что-то своим близким, мой вам совет: не торопитесь, сначала приценитесь хорошенько и не стесняйтесь торговаться — здесь это принято. Желаю вам всем успеха. К сожалению, я не смогу приехать к вам в Зальцбург, у нас здесь будут свои переговоры.

На этом его напутствие закончилось. Мы все подошли к Вячеславу Михайловичу — всё-таки живая история. Всем хотелось с ним сфотографироваться. Кто-то спросил:

— А скажите, Вячеслав Михайлович, как всё-таки было с Гитлером до войны? Вот этот ваш пакт?

— А чего тут говорить, — спокойно ответил Молотов, — объ...л нас Гитлер, вот и всё. У меня в мемуарах всё написано. Скоро прочтёте.

И он ушёл своей лёгкой походкой, не сгибаясь под тяжестью лет, не отягощённый угрызениями совести. Ушёл вполне довольный собой и жизнью, прошлой и настоящей.

Из Вены в Зальцбург мы отправились двумя транспортными средствами: в большом шикарном автобусе ехала вся делегация, кроме Арцимовича, а в лёгковом Фольксвагене — Лев Андреевич с шофёром. О, какой это был шофёр! Он имел какой-то дипстатус в посольстве, но не это было главное. Лёва, так звали шофёра, был ростом метра два, с фигурой гладиатора — ничего лишнего и всё на месте. Когда он входил со Львом Андреевичем в придорожный ресторан, все гретхен бросались к нему, а потом уже обращали внимание на нашу ораву. Мы с Васей сразу полюбили его.

— Настоящий человек, — сказал Вася, — за такого не стыдно.

Лёва тоже проникся к нам и на очередной стоянке попросил помочь ему с машиной. Около машины, расстегнув пиджак, он вытащил пистолет из наплечного хольстера и попросил:

— Подержите, а то мешает.

И сам полез под машину посмотреть, не прилепили ли там «мастырку». Пистолет был с длинным стволом, увесистый, не наш. На конце ствола была нарезка для глушителя. Мы по очереди подержали пистолет и зауважали Лёву ещё больше.

В Зальцбурге произошёл облом: всех самых важных поселили в самом центре, остальных по мере уменьшения важности смещали на периферию. В самом центре оказался вокзальный отель с удобствами в коридоре, железными кроватями прошлого века, продавленными матрацами и ночными фарфоровыми вазами. В одну комнату поместили академиков Леонтовича и Арцимовича, а на приставную кровать поперёк входной двери —

Лёву. Ноги ему пришлось класть на тумбочку. Зато нам с Васей достался отель «Эрцгерцог Ауэрсперг» в парковой зоне. Напитки в «Эрцгерцог» были бесплатные, а их список составлял более ста названий в четырёх томах. За пять дней конференции мы добрались только до сорокового номера. Кроме нас, в «Эрцгерцог» размещалась вся элита американской делегации: глава комиссии по атомной энергии, директора знаменитых ядерных лабораторий, конгрессмены и их охрана. Когда они увидели нас с Васей утром на завтраке в саду под балдахином, у них крыша поехала. Мы видели, как они пошушукались за своими столиками, поглядывая на нас, а затем величественный профессор Мэл Готлиб, директор Принстона, подошёл к нам и спросил, не знаем ли мы, где остановился академик Арцимович.

— Как же, знаем. В привокзальной гостинице вместе с академиком Леонтовичем.

У доктора Готлиба чуть очки не свалились.

— В привокзальной гостинице?! Это же место на одну ночь для коммивояжёров и на час для неженатых пар.

Видать, доктор Готлиб бывал раньше в Зальцбурге и знал что к чему. Он заметно разволновался.

— Может, господа академики переедут к нам сюда? Мы с удовольствием предоставим им наше «хоспиталити». У нас как раз есть пара свободных номеров.

И далее напрямую, без церемоний, доктор Готлиб спросил нас:

— А как вы сюда попали?

Я с удовольствием рассказал ему, что у нас самые важные живут в центре, например в Кремле.

А всякая шушера расселется по окраинам. И поскольку никого ниже нас по рангу в делегации нет, то мы сюда и попали.

— Непостижимо! — только и сказал доктор Готлиб и отошёл к своим *vir'am*. Через минуту оттуда раздался взрыв здорового американского хохота.

После завтрака к нам с контрольным визитом пришли представитель ЦК, начальник Главка и куратор. Они скорбно осмотрели наш будуар, убранный цветами, нашу ванную с заливами для подводного массажа, сверкающие биде, нашу веранду с балдахином, и начальник Главка сказал с укором куратору:

— А академики товарищи Арцимович и Леонтович даже туалета в номере не имеют. И поезда грохочут.

— Может, переведём их сюда? — спросил представитель.

— Ни в коем случае, — ответил куратор, — это недоработка не наша, а посольства. Размещение уже согласовано, и ничего менять нельзя.

— Ну хорошо, — сказал представитель, — мы видим, вы славно тут устроились. Живите дружно, тем более что друзья познаются в *бидэ*.

Это у них такая шутка. Больше мы их у себя не видели.

Разомлев после обеда, Вася пошёл плавать в ванну. В ней было много блестящих кранов, отверстий, свисали шнуры с грушами. Вася дёрнул за одну. Через минуту в дверь постучались, и с подносом вошла фрекен. На подносе стояла бутылка виски, лёд, содовая и ещё что-то. На фрекен был короткий передничек с рюшечками, больше ничего такого на ней не было.

— Кто там ещё? — встревожился Вася.

— Это к тебе! Пришло декольте и принесло виски.

Сообразительный Вася закричал:

— Держи её, не пускай ко мне!

Я пытался загородить фрекен путь, но она упрямо двигалась к ванной. Я стал убеждать её, что произошла ошибка и что джентльмен не хочет её видеть.

— Хочет, — настаивала она, — он меня позвал, а не вы!

Мне пришлось распластаться поперёк двери и стоять насмерть. Она что-то произнесла на непонятном языке, повернулась и унесла своё декольте вместе с подносом. Вася выскочил как ошпаренный.

— Ну что, первая провокация состоялась? — спросил я торжествующе.

Как-никак, Вася был парторг, и такие авантюры ему были ни к чему.

— Сейчас оборву эти чёртовы груши, чтобы никому было неповадно дёргать!

Никому — это значит мне, — сообразил я. — Бережёт мою нравственность.

Это приключение настолько разволновало Васю, что мы спустились в бар и начали изучать первую главу. Я долго предлагал Васе взять что-нибудь закусить, но он был непреклонен.

— Ты что, сюда жрать приехал? Дома отъешься! Лучше пей по списку. Водка тот же хлеб, только в жидком виде. Когда ещё такой ассортимент увидишь!

Вечером приехал Лёва и увёз меня к товарищам академикам. Лев Андреевич готовился к завтрашней беседе с Готлибом и хотел, чтобы я помог ему

с английским. Во время беседы Лёва внимательно слушал нас, а на обратном пути воспроизвёл в точности весь наш диалог и с прекрасным произношением.

— Ты что, и английский знаешь? — изумился я.

— Нет, только немецкий и испанский. Моя страна — Аргентина.

— А при чём здесь немецкий в Аргентине?

Он посмотрел на меня с явным сожалением и вздохнул.

Когда Лёва высадил меня у «Эрцгерцога», выскочив из машины и открыв мне дверь, американские *секьюрити* переглянулись. Я почувствовал, что наша легенда о двух бедных учёных провалилась.

На конференции самым трудным было не выступление с докладом, а пресс-конференция, или по-простому, допрос с пристрастием. Вопросы были каверзные, недоброжелательные. Для многих наших участников это было дело новое, к тому же мешал языковой барьер. Начальство занервничало и стало внушать нам:

— Доклады — ерунда, кто их слушает! Самое главное — пресс-конференция. Они же разнесут свою клевету на весь мир, и это дойдёт до нашего руководства. Не отмоешься!

Во все времена и у всех народов для чиновников впечатление всегда было важнее существа — не быть, а казаться, и наши советские чиновники возводили потёмкинские деревни где только могли. Конечно, они были не в состоянии оценить истинное значение зальцбургской конференции и пользовались привычными стереотипами. Но именно в Зальцбурге впервые были представлены результаты многолетних

исследований, окружённых до того тайнами и легендами. Мировое ядерное сообщество, привыкшее к быстрым победам, создавшее атомное и термоядерное оружие, построив многочисленные атомные электростанции, уткнулось в яростное сопротивление природы: термоядерный синтез не получался управляемым. Не получался ни у кого. Вместо технической задачи возникла грандиозная научная проблема, и её решение, как оказалось, зависело не столько от технических возможностей страны, сколько от людей — учёных. Именно людей, занятых решением этой проблемы Лев Андреевич и хотел показать миру. За несколько дней никому ранее не известные молодые учёные Кадомцев, Велихов, Сагдеев, Галеев, Рютов и другие будущие академики стали признанными лидерами мирового термояда, а сами термоядерные исследования приобрели статус научной дисциплины.

В отличие от нынешнего времени, когда мы часто говорим о том, что учёные-то у нас первоклассные, но работать им не на чем и не на что, в Зальцбурге наш арсенал, «наше железо» не уступало «железу» всего остального мира. Самая большая термоядерная установка того времени «Огра» находилась в Москве. Потом физики шутили: «В Москве есть три самые большие вещи в мире: царь-пушка, которая не стреляет, царь-колокол, который не звонит, и царь-огра, которая не даёт термояда». Но тогда американцам было не до шуток. И они готовились строить ещё более крупные машины.

Когда Вася как главный инженер установки «Альфа», отвечая на вопросы после доклада, сказал, что «Альфа» была построена за 6 месяцев, в зале

сначала наступила мёртвая тишина, а потом раздался взрыв аплодисментов. Англичане аналогичную установку «Зета» строили более трёх лет.

В Зальцбурге было впервые сформулировано «первое начало» термояда: управляемая термоядерная реакция будет осуществлена через 20 лет, считая с текущего дня. Прошло уже 44 года, «первое начало» остаётся неизблемым. Я думаю, что управляемый термояд придёт на смену традиционным источникам энергии тогда, когда он станет насущно необходим. И тогда, лет через 50, разрежут на металлолом брошенные нефте- и газопроводы, идущие из России в Европу, и, может быть, кинут нам нитку электропередачи от какой-нибудь европейской термоядерной электростанции, чтобы мы не вымерзли и не вымерли до конца.

Рыночная экономика, разделавшись с наукой, с особой жестокостью разгромила наш термояд, не оставив никаких шансов на утоление неизбежного энергетического голода ко времени, когда последний галлон нефти и последний кубометр газа уйдут на Запад. Лязгнет напоследок железный шибер, и медленно опустится железный занавес на этот раз с той стороны. Но вернёмся из мрачного будущего в полное надежд прошлое.

После своего доклада я оказался в пресс-центре. Я сидел в свете юпитеров за столиком с микрофоном. Вокруг разместились акулы пера, за ними наши официозы и другие участники.

— Мой доклад относится к области диагностики плазмы, — начал я, не ожидая вопросов. — Что такое диагностика плазмы и чем она отличается от медицинской диагностики? — спросил я журналистов

по-английски. — Переводчик облегчённо вздохнул и отошёл в сторону. Журналисты, наоборот, пригнулись. — В медицинской диагностике вы можете приблизиться к пациенту, расспросить его, пощупать пульс, измерить давление и т. д. В диагностике плазмы ваш пациент живёт всего три тысячных секунды, он всё время мечется в агонии, находится от вас за железной стеной, и вы можете взглянуть на него только через маленькое кварцевое окошко. Пометавшись в своей камере, он бросается на стенку и погибает каждый раз по-разному.

— Какая драматическая картина! — вскричала молоденькая австралийская журналистка. — Вы просто хладнокровные живодеёры, а не учёные. Вас надо привлечь к ответственности за жестокое обращение к плазме.

Все заулыбались.

— Напротив, мы даём ей жизнь, мы хотим видеть её стабильной и устойчивой, излучающей энергию и дающей её нам, людям. Вот для этого мы и развиваем диагностику плазмы. Сейчас плазма слабая и больная, но мы найдём причины болезни — она поправится и начнёт работать.

— А что американцы думают о вашей диагностике? Почему в программе конференции нет американских работ на эту тему?

— Потому что наши русские коллеги сказали всё, что можно, и нам нечего больше добавить, — включился в дискуссию доктор Готлиб.

Вскоре брифинг был закончен. Австралийская журналистка предложила продолжить беседу в кафе.

На вечернем заседании Николай Васильевич передал мне:

— Лев Андреевич просил быть при нём после заседания, вы можете понадобиться.

Я нашёл Льва Андреевича и отрапортовал:

— Прибыл в ваше распоряжение!

— Слушайте, не вы ли тот «астрохимик», о котором мне рассказывал Б. П.?

— Какой астрохимик? — удивился я.

— А тот, который небулий! Мы все очень смеялись и прозвали вас астрохимиком. А теперь идёте, у меня важный разговор с Гарольдом Фюртом.

В то время Гарольд Фюрт возглавлял экспериментальную программу в Принстоне. Эта встреча положила начало многолетнему сотрудничеству российских и американских учёных, а мы с Гарольдом стали близкими друзьями.

Конференция близилась к концу. Мировое общественное мнение, ранее упомянутое как реакционные круги, отметило, что у русских появилось много молодых талантливых учёных. Были названы имена будущих академиков, меня тоже отметили как автора интересного доклада.

В последний день состоялся прощальный фуршет. Всем не хватило, и все разбрелись кто куда: в кафе, по номерам, в казино. Мы с Васей отправились домой к «Эрцгерцогу» «допивать второй том». К двум часам ночи руководство всех пересчитало, все были на месте, кроме харьковского доктора наук Тарасыча. В полтретьего подъехал Лёва, поднялся в бар и спросил меня:

— Ты этого Тарасыча в лицо знаешь?

— Знаю.

— Опознать сможешь?

— Смотря какое у него будет лицо! — начал ёрничать я.

— Поехали! — приказал Лёва и, поддерживая меня под локоть, вывел к машине.

В каких только местах мы не побывали — в бальных залах, подвалах, клубах, притонах! Ни один советский человек не мог и мечтать о такой роскошной экскурсии по ночному Зальцбургу — городу Моцарта, где днём лились нежные звуки скрипок, а ночью бушевали пороки и страсти. Лёва профессионально ориентировался в этой вакханалии: он вошёл внутрь, отодвигая громил-охранников, выводил меня на середину и говорил:

— Смотри!

Я смотрел и ничего, кроме женщин, затянутых в чешую, полуодетых и совсем раздетых, не видел.

— Не туда смотришь, — говорил мрачно Лёва. — Смотри вглубь.

Там в глубине тонули в полумраке лица зрителей. Тарасыча среди них не было. На рассвете в половине пятого мы возвратились в штабной номер ни с чем. По дороге Лёва размышлял:

— Или в речке с гирей на шее, или увезли в Бундес.

В штабном нас разочаровали.

— Да он спит в номере! Закатился под диван.

Лёва произнёс монолог, его никто не прервал. Все хорошо понимали, что через час он снова сядет за руль и повезёт академика в Вену. Я же был безмерно счастлив и безмятежно проспал весь путь в автобусе. При посадке в самолёт случилось непредвиденное: на рейс было продано на один билет больше, чем было мест. С нами летела наша сборная по футболу, которая накануне проиграла австрийцам. Предстояло решить, кого оставлять в Вене

на неделю до следующего рейса: футболиста или учёного. Решали долго. Сначала в аэропорту, потом у самолёта. Мы сидели внутри. Лев Андреевич сказал:

— Пошли на воздух, мне душно.

Мы вышли. У колеса стояли Представитель, начальник Главка, куратор и Гавриил Качалин, начальник проигравшей команды. Поодаль кучковались хмурые футболисты с баулами. Спор был в самом разгаре.

— А вот и Лев Андреевич, — обрадовался начальник Главка. — Подходите к нам!

И Качалин с ходу обратился к новому лицу:

— Вот вы, товарищ академик, знаете всех своих. Вы за них ручаетесь?

И Лев Андреевич, не почувствовав ловушки, гордо ответил:

— Ручаюсь, как за самого себя!

— А я, — осклабился Качалин, — не могу поручиться ни за одного! Все они пьяницы и фарцовщики. Оставишь без присмотра, он или напьётся, или сбежит. Вот и выбирайте сами!

— По-моему, всё ясно, — сказал представитель Аэрофлота. — Кого будете оставлять, товарищ академик?

Лев Андреевич был в ярости. Его сделали как мальчишку. Но от суровой советской действительности деваться было некуда. И он сказал:

— Тогда останется Михаил Соломонович Иоффе.

В глубине души я надеялся, что он назовёт меня. Но он назвал человека, которому всецело доверял. В самолёте это известие вызвало бурю протеста: все считали, что справедливо было бы оставить

футболиста, тем более проигравшего. Один Михаил Соломонович спокойно взял свои вещи и вышел на лётное поле. Грусти на его лице мы не заметили.

В поезде по дороге из Москвы в Ленинград Николай Васильевич сказал:

— Я даю вам три дня отгула, посидите дома, выплесните все свои впечатления на домашних, а потом спокойно приступайте к работе. В общем, я вами доволен. Главное, что вы помогали Льву Андреевичу, он вам этого не забудет.

И он действительно вспомнил обо мне через 10 лет.

БУЛАТ ОКУДЖАВА

Ранней весной в конце «хрущёвской оттепели» в Ленинград приехал Булат Окуджава. Не на очередной концерт в каком-нибудь НИИ, а приехал пожить, подальше от московских угроз и скандалов. Поселился он в маленькой квартире в нашем ведомственном доме на Ольгинской улице.

Когда-то в конце 20-х годов ленинградские власти в порыве филантропии и по прямому указанию сверху начали строить дома для специалистов, артистов и прочих работников культуры. Для специалистов и артистов строили поближе к центру и получше, для остальных — где и как придётся. Для учёных Физико-технического института тоже построили трёхэтажный барак у бывшего котлована, ставшего озером. Оштукатурили его и заселили разными понаехавшими физиками. На этом доме нет ни одной мемориальной доски, а могло бы быть довольно много. Очень хорошо бы смотрелись мраморные доски на этой корявой халабуде: «Здесь жили лауреаты Нобелевской премии академики Капица, Ландау, Семёнов; трижды Герои Социалистического Труда — академики Курчатов, Александров, Зельдович. На дважды и просто героев не хватило бы проёмов, и им можно было бы повесить братскую доску с длинным списком и общей звездой. Как-то вопрос о досках действительно возник, и кто-то из городского начальства, оставив на углу Яшумова переулка автомобиль, чертыхаясь и спотыкаясь на колдобинах, добрался до дома на озере, посмотрел и сказал:

— Не надо подчёркивать, в каких условиях жили эти выдающиеся люди. Какие доски! Что скажут о нас потомки? И вообще это здание давно уже подлежит сносу.

С тех пор прошло уже более 40 лет, но зданию до сих пор сносу нет: так и стоит на берегу Бассейки. В нём по-прежнему живут бывшие и будущие лауреаты.

В одной из квартир проживала Оля Арцимович вместе с мамой — родной сестрой академика Льва Андреевича Арцимовича. Оля была студенткой Политехнического института. В те года в Политехнике училось много красивых и ярких девушек. Такая вот аномалия. В отличие от университетских филфаковских красоток, политехнические были ещё и умные и не по делу начитанные. Мало того, они ещё и прекрасно танцевали и не какой-то там краковяк или Етку-Ленку, а настоящий рок-н-ролл, было бы с кем. Танцевали в Политехнике также не под радиолу, а приезжал знаменитый нелегальный оркестр Ореста Кандата, в котором играли джазовые корифеи: трубач Костя Носов, саксофонист Борис Гольдштейн, контрабас Кантрем, пианист Анатолий Кальварский. Иногда давали постучать на фоно будущему народному артисту Давиду Голощёкину. Особым блюдом на десерт подавалась Нона Суханова — наша ленинградская Элла Фитцджеральд со своей знаменитой «Колыбельной птичьих островов» — «Лолабай оф бёрдланд». И тут уж такой «лолабай» начинался!

Королевой всех этих политехнических балов была Оленька Арцимович. Как они познакомились с Булатом — мне неизвестно, но вместе они смотрелись

замечательно: кустодиевская красота Оленьки прекрасно оттенялась его печальной subtilностью. Квартира Оленьки стала центром притяжения для всех ленинградских бардов, вольных поэтов, фрондёров и стукачей. Долго так продолжаться не могло. Возникла коллизия, требующая разрешения.

В один прекрасный день меня вызвали в дирекцию. Когда я вошёл в приёмную, секретарша пробурчала:

— Где ты болтаешься? Борис Павлович тебя уже два раза спрашивал. Проходи.

Я прошёл. Б. П. сидел за столом и барабанил по нему пальцами, что означало доuku и нетерпение. Перед ним сидела завхоз Ольга Кондратьевна. В те давние времена в институте не было ни главного инженера, ни помдиректора по АХЧ, ни начальника ЖЭК. Всем этим занималась и весьма успешно завхоз Ольга Кондратьевна. Традиция эта осталась, наверное, ещё с военных времён, когда Андрей Васильевич Степанов, который был и дворник, и истопник, и главный энергетик, и заместитель блокадного директора Пал Палыча Кобеко, наладил бесперебойное отопление института и горячее питание находившихся в институте на казарменном положении сотрудников, чем фактически спас Физтех от вымирания. В Физтехе только один раз за всю историю лопнули трубы, когда вопросами теплоснабжения занимался не истопник Степанов, а немалый штат академика Алфёрова.

— ...так вот, — продолжала Ольга Кондратьевна, — участковый требует, чтобы мы его либо призывали к порядку, либо пускай катится обратно в свою Москву и не устраивает на ведомственной

жилплощади какие-то гулянки заполночь. Там ведь звукоизоляция какая — сами знаете, жильцы жалуются.

— Мне не жалуются, — мрачно заметил Б. П.

— Ну в милицию жалуются!

— А милиция тут при чём? Площадь-то ведомственная — должны жаловаться по принадлежности.

— Как хотите, Борис Павлович, но мы должны что-то с этим делать.

— Арсений Борисович, — обратился Б. П. ко мне, — вам известно, что на нашей ведомственной площади проживает Булат Шалвович Окуджава?

— Я не управхоз, — увернулся я от прямого ответа. — Проживает, не проживает — меня это не касается.

— Очень даже касается, — вспыхнул Б. П. Вы культсектор месткома, и у вас под носом, можно сказать в самом Физтехе, живёт выдающийся поэт и бард современности, а вы до сих пор не пригласили его выступить у нас с концертом!

Действительно, — подумал я, — не пригласил. Не хотел снова нарываться на неприятности как с выставкой Филонова, которую запретили за час до открытия, сняли картины с гвоздиков и увезли в неизвестном... известном направлении. Да и недавняя постановка «Антигоны» Ануя ещё бредила память. Молодой режиссёр Женя Шифферс, находясь в армии, был контужен во время подавления венгерского восстания, и эта контузия отразилась на его творческих исканиях. Он поставил «Антигону» с будущими Народными артистами Иваном Краско и Ольгой Волковой в главных ролях и показывал спектакль заинтересованной публике. Спектакль был

событием петербургского театрального андеграунда. Понятно, что мы упустили его не могли. Начальник первого отдела Александр Иванович, без разрешения которого никакого публичного действия произойти не могло, спрашивал меня перед тем как подписать заявки артистам на пропуск:

— А эта Антигона, в ней ничего такого «анти» нет?

— Ну что вы, Александр Иванович! Это же древнегреческая пьеса, какое «анти»!

— Я понимаю, — не сдавался Александр Иванович, который нюхом чуял, что ни с того ни с сего сегодня древнегреческую пьесу, да ещё с приставкой анти, ставить не будут.

— Назвали бы просто — «гона», а тут ещё «анти». Кстати, кто она такая?

— Ну как полагается в древнегреческих драмах — царица.

— Вот видишь — царица! А тут «анти» — значит, против законной власти. Ну смотри, на твою ответственность. — И он нехотя подписал заявки.

Когда у трона Клеонта появился древнегреческий стражник Жано в кедах, шерстяной шапочке, надвинутой на глаза, и с автоматом АК, я похолодел. А Александр Иванович, который сидел рядом, спросил:

— А почему он с «Калашниковым»? Откуда у них автомат в Древней Греции?

— В Греции всё есть, — ответил я невпопад и стал ожидать дальнейших аллюзий.

— Листовки в зал кидать будут? — спросил Александр Иванович.

— Неее..., не должны, — протянул я.

— В перерыве подойдешь к ним и скажешь, что-бы и не думали... Пускай в крайнем случае устно, по-древнегречески.

Дальше по ходу пьесы разыгрывалась коллизия: хоронить — не хоронить. Я сидел, как на гвоздях, и молил: «Ну хотя бы похоронили поскорее, и не дай бог — в мавзолее, а то опять начнут туда-сюда носить. Публике — дармовой катарсис, а мне — очередной скандал».

И вот новое испытание.

— Я надеюсь, вы исправите своё упущение? — спросил Б. П.

— С удовольствием, — ответил я.

Тут он снова обернулся к Ольге Кондратьевне.

— Когда-нибудь мы умрём, Ольга Кондратьевна. — Она вздрогнула. — И нас скоро забудут, а память о поэте будет жить вечно. На Руси испокон века сначала поэтов подвергали гонениям и поношениям, а потом ставили им памятники. Пусть же нас никто никогда не помянет недобрым словом за то, что мы отказали в приюте опальному поэту.

Он сказал это со значением и посмотрел на меня, воспринял ли я эту фразу.

«Воспринял, воспринял, высек из мрамора на извилине». Он посмотрел на часы, показав, что аудиенция закончена. Мы вышли, и Ольга Кондратьевна обернулась ко мне:

— Штой-то я не пойму, чего я теперь участковому скажу? Что мы все умрём и он тоже, как бы он меня сам раньше времени на тот свет не отправил.

Я показал ей на большой официальный портрет в приёмной:

— Кто это?

— Сами знаете кто.

— А почему он здесь висит?

— Полагается ему, вот он и висит. Я сама его в комбинате заказывала.

— А почему этот висит, а все предыдущие не висели?

— Ну значит, не полагалось им, вот они и не висели, — сказала она неуверенно.

— Неправильный ответ. Он висит не потому, что полагается, а потому, что это портрет друга. Б.П. ведь и деньги на портрет давал свои личные.

— Да, — согласилась она, — откуда вы знаете?

— Я всё знаю, — ответил я ей самоуверенно.

— Да уж ты с ним лучше не спорь, — неожиданно подтвердила секретарша.

— И вот он, — сказал я, показав на портрет, — попросил Б.П. по-дружески приютить на время нашего квартиранта, захотел помочь ему как фронтовик фронтовику. А участковому так и скажите, пусть держится подальше, если хочет дослужиться до майора, не его это ума дело. А на концерт пригласите. Врубайтесь в ситуацию!

И я пошёл на выход, а Ольга Кондратьевна начала врубаться в ситуацию.

Недели через три, прекрасным июньским вечером у нас в актовом зале состоялся концерт Булата Окуджавы. На стульях сидели по двое, по трое. В первом ряду восседал Б.П. и предвкушал, рядом с ним сидели Оленька и её мама. Я объявил начало концерта, сказал несколько обязательных слов о нашем госте. Булат подстроил гитару, поправил микрофон и запел.

Это был незабываемый вечер. Булат перебирал струны души, в распахнутые окна влетали ангелы. Неслышно проезжал «синий троллейбус», вдалеке звучал «надежды маленький оркестрик», мы слышали, как «грохочут сапоги и птицы ошалелые летят». В дальнем углу зала на стуле, принесённом из дирекции, сидел участковый в штатском и безутешно плакал. И он был не одинок.

СИНХРОННЫЙ ПЕРЕВОД

Осенью 1965 года в Белграде должна была состояться большая конференция по «Явлениям в ионизованных газах». Явления эти чрезвычайно разнообразны, начиная от неоновой рекламы и до термоядерного взрыва. Поскольку в то время одной из самых актуальных проблем физики было осуществление управляемых термоядерных реакций, которые могли происходить только в полностью ионизованной плазме, то интерес к тематике конференции был всеобщий. Было решено, что наконец-то на эту конференцию поедет не жалкая горстка функционеров, а мощная представительная советская делегация, человек на 100. В этом году в Югославию начался массовый туризм, и было решено отправить всех желающих учёных как туристов за их собственный счёт. Желающих нашлось 140 человек. Югославы были страшно рады, что после 17 лет остракизма русские братушки снова приедут к ним и начнётся нормальный научный обмен, прерванный ссорой Сталина с Тито. Из-за такого количества «братушек» возникла проблема перевода. Шесть параллельных секций, по три переводчика на секцию — нет, такого количества синхронных переводчиков в Югославии не было. Оргкомитет обратился в нашу Академию наук с просьбой оказать содействие в переводе. Дирекция вызвала меня и Жору и спросила:

— Неужели не выручите?

Ни я, ни Жора до этого синхронным переводом не занимались. Жора был переводчиком от бога, но

одно дело — переводить на семинарах, когда можно переспросить докладчика, а другое дело — сидеть в будке и переводить слово в слово человека, которого ты, как правило, не видишь, довольно плохо слышишь и который, может, сам не знает языка, на котором делает доклад.

Жора сказал:

— Можно попробовать, но в успехе мы не ругаемся.

В себе-то, конечно, он был уверен, но мой потенциал оценивал довольно низко и никаких гарантий за меня давать не хотел. Дирекция добавила:

— Международный комитет ваш труд будет оплачивать, и затраты на поездку вы оправдаете.

Этот аргумент нам показался убедительным, и мы согласились.

По приезде в Белград нас нашёл член оргкомитета Боже Аничин, ответственный за весь перевод, и притащил пачку докладов по нашей секции. Среди докладчиков было много японцев, немцев, поляков и разных «прочих шведов», для которых английский был чужим языком. Что такое переводить японцев на слух, мы уже знали по институтским семинарам. Однако здесь же они, наверное, будут зачитывать свои тексты? Боже Аничин, как бы видя нас насквозь, сказал:

— Безусловно, эти доклады читать никто не будет. Они предназначены для опубликования, а для вас они будут только для ориентации — чтобы знать, о чём речь. Доклады получены не все, многие привезут их с собой и сдадут в оргкомитет прямо перед выступлением. Не все хотят, чтобы их доклады видели заранее. Тематика, сами понимаете, какая.

Физиономии у нас вытянулись. Боже понял, что перестарался, и решил исправить положение:

— Безусловно, ваш труд будет оплачен. Мы будем платить 48 тысяч динаров.

Значит, по двадцать четыре тысячи каждому — быстро сообразили мы. Это была как раз сумма туристского обмена. Неплохо, но физиономии у нас по-прежнему оставались мрачными. Боже заволновался и добавил:

— Каждому по сорок восемь тысяч.

Жора пнул меня под столом ногой. Мы по-прежнему смотрели на Аничина безо всякого выражения.

— В день, — добавил он, — плюс за два дня подготовки. Хотя на самом деле у вас будет один.

Мы погрузились в вычисления: семь дней по сорок восемь тысяч динаров — это уже составляло четырнадцать туристских обменов на каждого и перекрывало пределы нашего воображения. Боже почти в истерике начал ломать руки:

— Я понимаю, что вы рассчитывали на доллары, но доллары мы платим только международным переводчикам из Атомного агентства, которые будут работать на пленарных заседаниях. Мы взываем к вашей социалистической солидарности и как к братьям. Я обещаю вам, что мы введём коэффициент на инфляцию, чтобы вы могли получить по пятьсот тысяч динаров каждый. Это почти что соответствует международной норме.

Жора закрыл глаза и откинул голову на спинку кресла.

— Так я могу рассчитывать на вас? — с надеждой спросил Боже Аничин и буквально выскочил за дверь.

Жора приложил палец к губам, поднял глаза кверху, обшарил взглядом потолок, как бы высматривая на нём «жучки» и «зрачки», потянулся за своей курткой, я за своей, и мы молча вышли на улицу.

— Ты что-нибудь понимаешь? — спросил он меня.

— А чего тут понимать? Работать надо. Выходит, они нас расценили по международным нормам.

— Ничего, переоценят по местным, когда услышат наш перевод.

— Если услышат, — добавил я.

— Тогда пошли разбираться с материалом.

Мысль о том, что послезавтра мы сядем в будку, в которой нам уже никто не поможет, и вместо миллиона динаров мы получим пинок под зад, начала давить на нас всё сильнее и сильнее. Вечером мы обнаружили, что ужинать не в состоянии, у обоих случился спазм пищевода на нервной почве. Мы купили себе по бутылке минеральной воды «Князь Милош» и по пятьсотграммовой плитке чёрного шоколада. «Князь Милош» и шоколад стали нашим рационом на последующие три дня. На четвёртый день спазм стал отпускать, появился аппетит вместе с первыми навыками синхронного перевода. Но уже на второй день нас разлучили — Жору отправили в другую секцию, где профессионалы из Атомного агентства несли какой-то бред. Я остался один в своей будке. Понимать дословно, что говорят докладчики, я так и не научился, поэтому, зная в общем содержание доклада, устраивал себе вольное изложение на заданную тему. Иногда мои домыслы были далеки

от текста докладчика. И когда ему задавали вопросы, он глубоко задумывался и предлагал встретиться в кулуарах.

Профессионалы из Атомного агентства были супруги Петровы — белоэмигранты. Он был по специальности кораблестроителем, и именно он построил самый знаменитый и самый быстрый французский лайнер — «Нормандия», признанный чудом кораблестроения и самым элегантным кораблём всех времён и народов. Господин Петров знал несколько языков и по выходе на пенсию стал работать в Атомном агентстве. Мадам Петрова его всюду сопровождала и тоже работала синхронным переводчиком. Физика ионизированных газов была для них китайской грамотой, чего они и не скрывали.

Третьим переводчиком была Катя Ровенская — дочь полкового священника из армии генерала Врангеля. Она окончила Сорбонну, специальные курсы синхронных переводчиков в Женеве и была признанной звездой мирового синхронного перевода. Катя переводила в любую сторону на пяти языках — русском, английском, французском, испанском и немецком. Её постоянно приглашали на конференции ООН, МАГАТЭ, на заседания Совета Безопасности и всех других международных организаций. Её график был расписан по дням на год вперёд. Каждую неделю она перелетала из одной страны в другую. Её перевод был произведением искусства. Голос на французском звучал, как у Мирей Матье — глубокий и хватающий за душу, с неповторимым раскатистым «ррр». На английском она звучала как Вивьен Ли, на русском... Наши участники говорили, что когда Катя переводила на русский, они просто

слушали её дивный голос, забывая о содержании. По-русски она говорила так, как в России уже давно не говорят, и к тому же с едва заметным французским акцентом. Она интонировала на наиболее значимых по её разумению словах, придавая им какой-то особый смысл. Например, «электронно-ионные пары» несли в её изложении какую-то загадку, неясно было, как они встретились, что их ждёт впереди, сколько времени они пробудут в возбуждённом состоянии, не скроются ли в «туннельном переходе», не сорвутся ли, очертя голову в «лаvinу». Мы и не подозревали до Кати, до чего романтична наша наука. Сам «акт лазерного излучения», когда перевозбуждённый атом «испускает» и «истощённый сваливается в основное состояние» — это же сплошной секс в наушниках! Обалдевшие участники бегали слушать Катю, носили ей в будку воду, кофе, цветы, конфеты, любовные послания. Катя потом говорила, что подобного внимания ранее она удостоивалась только один раз, когда переводила Никиту Сергеевича в ООН и мгновенно находила английские эквиваленты его «кузькиной матери» и другим элоквициям. «Самое трудное, — говорила Катя нам с Жорой, — было мгновенно подобрать соответствующий оригиналу народный английский слэнг, чтобы не упустить всей самобытности хрущёвской речи и не обеднить впечатление. Многие переводчики опускают эмоциональную составляющую и теряют личность докладчика, которая иногда оказывается гораздо важнее самого текста. Я вживаюсь в докладчика, я его альтер эго, только на другом языке. Какое я имею право исказить его образ, часто неповторимый?»

Много позже я узнал, что одна австрийская писательница написала повесть «Я синхронный переводчик», где Катя была прототипом главной героини, которая принадлежала всему миру и «жгла свою свечу» с обоих концов. Свеча горела ярко, но недолго.

На пятый день международная группа переводчиков забастовала из-за задержки зарплаты. Боже Аничин пришёл к нам и спросил, будем ли мы с Жорой работать или присоединимся к забастовке. Для него наш отказ был бы равносильен катастрофе. С другой стороны, он хотел выбить из своих бюрократов всё положенное и обещанное. Мы спросили, будет ли работать техника.

— Будет, с техникой проблем нет.

Мы переглянулись и сказали:

— С нами тоже проблем не будет.

— Тогда собирайтесь! Будете работать на самых важных секциях.

И мы пошли с Жорой в свои залы. В фойе, где был размещён бар, красиво бастовали международные переводчики и примкнувшие к ним местные кадры — невероятной красоты длинноногие, сероглазые, англо-русскоговорящие потомки белых офицеров, застрявших на Балканах. Мадам Петрова окликнула нас:

— Куда вы идёте, господа? Разве вы не знаете, что мы бастуем? Присоединяйтесь к нам! — И она показала на свой высокий бокал с соломинкой.

— Нет, — сказали мы, — там сейчас наши товарищи будут докладывать, — мы идём на их секции.

— Вы хорошие товарищи, но плохие друзья, — припечатала нас Катя.

И мы — два штрейкбрехера поплелись к своим будкам.

Вечером конференция кончалась. Всем переводчикам наконец-то выплатили зарплату. Нам с Жорой деньги разнесли по будкам. Дали каждому по большому полиэтиленовому мешку, набитому динарами. Каждый расписался, не глядя в ведомость и продолжая перевод. На заключительном заседании, где всех благодарили, особенно подчеркнули выдающийся вклад Жоры, который вынес на своих плечах основную тяжесть пленарных заседаний. Господин Петров сказал нам, что их группа приглашает нас сегодня вечером в ресторан отметить наше знакомство и начало совместной профессиональной карьеры. Мы обрадовались, что они не затаили зла на нашу измену, и охотно согласились. Господин Петров заехал за нами на своём немислимом «Ситроене» и повёз куда-то в высший свет. Катя с мадам Петровой уже ждали нас. Мадам Петрова сказала:

— Ну раз вы теперь приобщились к нашей профессии — пора вам приобщиться и к нашей профессиональной «cuisine». Вы когда-нибудь пробовали Стэйк-тартар?

— Нет, — сказали мы честно, — не довелось.

— Вот сегодня и попробуйте. Это главное блюдо синхронных переводчиков, которое восстанавливает силы, как ни одно другое.

Господин Петров щёлкнул пальцами: тут же появились шеф и его помощник. Они выкатили столики — на одном было блюдо с сочными кусками мяса, а на другом золингеновские ножи в футляре и разделочные доски. Шеф кинул на одну из досок первый кусок, вынул из футляра сверкающий большой нож,

выдернул из бороды волос и полоснул по нему ножом. Мы поняли, что нож должен был разрезать этот волосок, но увидеть это было невозможно, хотя шеф, очевидно, увидел. Он удовлетворённо хмыкнул, одним ударом рассёк кусок мяса, кинул половину помощнику, вынул второй нож и стал двумя ножами с невероятной скоростью рубить мясо. Мы расстроились. Рублеными шницелями мы наелись в физтеховской столовой, и не этого мы ожидали здесь, на эспланаде Хилтон отеля. Постепенно шеф изрубил все куски в столовский фарш, посолил, поперчил, посыпал кубиками лука и полил прованским маслом. Затем он взял немного фарша серебряной лопаточкой, положил на тарелку и протянул господину Петрову. Ага, сообразили мы: прежде чем жарить котлеты, дают попробовать фарш. Владимир Михайлович попробовал и одобрил, и шеф с помощником стали накладывать его на наши тарелки.

— Господа, — провозгласила мадам Петрова, — это и есть Стейк-тартар, еда богов, воинов Чингисхана и синхронных переводчиков. Приятного аппетита!

На столе около нас оказались рюмки водки, мы их подняли, и Жора под столом протянул мне таблетку синтомицина, каким-то чудом оказавшегося у него с собой. Мы чокнулись, выпили и с отвращением ткнули вилками в сырой фарш. Они впились в нас глазами. С первой вилки было непонятно. Мы взяли по второй и по третьей.

— Ура! — закричали, зааплодировали господа Петровы и Катя. — Состоялось! Господа, мы так рады.

Мы выпили ещё по одной. Стейк-тартар распря-мил наши плечи, поднял подбородки. Мы почув-ствовали себя воинами Чингис-хана, оседлавшими степных скакунов. Господин Петров сказал:

— Разрешите мне, мадам Петров и Кате серд-ечно поблагодарить вас за то удовольствие, которое доставила нам встреча с вами.

«Ну начинается, — подумал я, — вот тут-то они нам и припомнят забастовку». Жора тоже набряк. Он никогда ничего хорошего от жизни не ждал и в каждом внешне благоприятном событии видел на-чало неприятностей. А Владимир Михайлович про-должал:

— Вот уже сколько лет мы работаем с русскими-советскими и всегда чувствуем с их стороны насто-роженность и отчуждение. Некоторые просто избегают нас, их, наверное, там инструктировали — держат-ся подальше от белоэмигрантов, врагов трудового народа. А вы первые советские, которые отнеслись к нам по-человечески, как к своим коллегам, а не классовым врагам, и мы заметили с вашей стороны не только уважение, но и... симпатию.

Мы с Катей посмотрели друг на друга, я наклони-лся к ней и чмокнул в щеку.

— Bravo! — Закричал Владимир Михайлович. — Официант, шампанское! Неужели там, где вас учили, вас не предупреждали, что семьдесят процентов международных синхронных переводчиков — это русские эмигранты и их потомки?

— Нас никто не учил, — сказал Жора, — мы сами.

— Вернее, меня учил Жора и вы, Катя, — до-бавил я.

Рано утром я провожал Катю в Белградском аэропорту. Она улетала на очередную конференцию в Южную Америку.

— Ариведерчи, мон шер, — раскатилась она своей бесподобной трелью и скрылась в толпе пассажиров по ту сторону границы.

Тем же вечером вся советская делегация отправилась на автобусах в турпоездку по стране. К нам с Жорой пристроился сотрудник института Химфизики Юрий Саясов. Он слыл знатоком немецкого языка, и его тоже потянуло на синхронный промысел. Он надеялся с нашей помощью прильнуть к этому занятию. Юрий имел сильные претензии выглядеть как денди: на нём были кремовые шорты фабрики «Большевичка», сиреневые сандалеты ереванского пошива, бобочка и панамка. На носу у него гордо сидели тёмные очки в золотой оправе из анодированного алюминия. Всю дорогу в автобусе он читал толстый «New York Times», подобранный на остановке, и пытался заговорить с Жорой по-немецки. Жора терпеть не мог говорить на иностранных языках бесплатно или без большой нужды и недовольно морщился, слушая «киндердойч» херр Саясова. Жора предложил его именовать между собой: Херберт фон Саясов или просто Херберт. По приезде в Дубровник Херберт поселился с нами в квартире частного сектора и стал нашим постоянным спутником. Дубровник — курортный город и там, кроме пляжей, морских экскурсий и сувенирных лавок, было множество стрип-баров, казино и прочих зланных мест, куда пускали только иностранцев. В первое же заведение Херберта не пустили. Намётанный глаз вышибалы мгновенно распознал в нём соцлагерника

и его выгнали взащей. Нас с Жорой пропустили беспрепятственно. Из чувства солидарности мы тоже вышли и отправились в следующий вертеп. Там повторилась та же картина. Несолоно хлебавши мы вернулись домой, где Юрий-Херберт уже на пороге запричитал:

— Ну почему, почему?! Ведь я одет, в отличие от вас, по-европейски, в руках у меня «New York Times», а вы оба, я извиняюсь, выглядите как охладомоны, и ещё эта кошмарная туристская сумка за плечами! Что только вы в ней таскаете? Ну почему, почему?!

— Надо не казаться европейцем, а быть им. В этом всё дело, — сказал Жора. — А относительно сумки — бвана, покажи ему, что у нас в сумке!

Бвана — это так мы звали друг друга. На языке суахили это значит — господин. Чтобы быть бваной, требуется немного — никогда не терять чувства собственного достоинства. У бваны Жоры это великолепно получалось с самого рождения: он никогда не был пионером или комсомольцем, не приносил никому никаких клятв, и его терпели в Политехническом институте только потому, что он был безнадежным отличником. Конечно, мне было до него далеко, но я старался.

Несколько помедлив, я расстегнул сумку и показал Херберту два туго набитых динарами полиэтиленовых пакета с надписями «Гуля» и «Жора».

— Что это! — сдавленным голосом спросил Херберт.

— Деньги, — ответил Жора.

— Сколько же здесь? — выдохнул Херберт.

— Около миллиона.

— Вы что, миллионеры? — прошептал Саясов.
— Если быть точным — то хиллиардеры, — ответил Жора.

Один хиллиард равнялся тысяче динаров.

— Откуда? — спросил Юрий, озираясь на двери.

— Гонорар за синхронный перевод.

— И это все ваши?

— Нет, — поспешил ответить я, пока Жора чего-нибудь не брякнул лишнего, — большую часть мы должны будем сдать в Академию наук.

— А если вы потеряете? — спросил Юрий.

— Тогда мы долго будем бить тебя, пока не найдём, — ответил Жора.

Юрий посмотрел на нас. Наши лица выражали полную решимость исполнить обещанное. Жора уже несколько лет занимался культуризмом, и его бицепсы не оставляли никаких надежд бестелесному Юрию. Про себя я скромно умолчу, но своему полутяжёлому весу в общем соответствовал. Мы все помолчали, каждый о своём, и отправились спать.

Утром после купания мы забыли сумку на пляже. По дороге домой Жора спохватился:

— А где, бвана, сумка?

Мы рванули назад, слава богу под гору, перемахнули через забор, подбежали к месту, где раздевались — сумки не было. Только из ближайшего мусорного бака высовывался какой-то знакомый хвостик. Мы бросились к баку, дёрнули за хвостик и... вытянули сумку! Мы стали растёгивать молнию, её заело — попал мелкий песок, но когда молния подалась, мы увидели два полиэтиленовых пакета «Гуля» и «Жора». Никому в голову не пришло, что в этой старой заношенной торбе мог находиться

миллион динаров! Миллион, который мы собирались весь до последнего динара потратить в Белграде, не оставив родной Академии ни полушки.

Вообще, эта тема сдачи денег в Академию после заграникомандировок обошла нас стороной. Мы перестали бы себя уважать, перестали бы быть бванами, если бы позволяли грабить себя, как разрешали сотни других командированных. В конце семидесятых годов, кстати, выяснилось, что эти поборы были незаконными и шли в карман чиновникам иностранного отдела, игравшим на исконной запуганности и замордованности советского интеллигента. Примерно то же самое было и в спорте, и в искусстве. И это явилось одной из причин невозвращения гордых и постоянно унижаемых Олега Протопопова и Людмилы Белоусовой и многих других.

Через два года летом 67-го в Вене состоялась очередная конференция по «Ионизованным газам». К этому времени мы с Жорой уже были профи. МАГАТЭ уже само пригласило нас в качестве основных синхронистов, и мы снова увидели супругов Петров и Катю Ровенскую. Петровы сильно постарели за эти годы, а Катя смертельно устала. У неё не хватало сил ни на что. Она много курила, пила чёрный, как дёготь, кофе и добавляла туда Хеннеси. К вечеру она становилась уже никакая. Один раз мы все пообедали в столовой МАГАТЭ стейком-тартар, но это уже был не тот тартар, да и всё было не то. А у нас с Жорой возникла коллизия, связанная с Хербертом фон Саясовым.

Австрийский оргкомитет захотел, чтобы ряд немецкоговорящих участников прочли свои доклады по-немецки с переводом на русский и английский.

Для немецко-английского была Катя, а для немецко-русского — наш академический Совет по физике плазмы рекомендовал Саясова. Оргкомитет согласился.

Как обычно, мы с Жорой поселились в одном номере, Херберт жил один. Уже с самого начала конференции он повёл себя странно: на инструктаж не пришёл, доклады не взял, а на второй день вообще не явился на работу. Пришлось Жоре бежать из нашей секции в саясовскую и переводить за него. Вечером мы поймали Херберта. Он был какой-то взвинченный, извинился, сказал, что перепутал время и что у него было какое-то важное свидание. Жора пообещал, что ещё одно важное свидание, и на все последующие он без посторонней помощи ходить не сможет. В третий и четвёртый день Саясов на перевод не являлся, Жора работал за него, а я — за Жору и за себя.

В последний день конференции Саясов, прячась от нас, появился в оргкомитете, схватил причитающийся ему по контракту гонорар и исчез. Мы с Жорой почувствовали себя нагло обворованными и решили перед возвращением в Москву у него эти деньги отнять и отлупить, главное — отлупить. Группа отправилась в путешествие по стране, мы остались в Вене редактировать доклады.

Но Саясов не появлялся. Вместо него появился наш консул и попросил открыть ему номер Саясова. Мы вошли в него вместе с консулом, комната была в беспорядке, но в основном личные вещи остались, и даже на видном месте лежал дорогой немецкий фотоаппарат. Увидев аппарат, консул меланхолично заметил:

— Советские люди без фотоаппарата не убегают. Сейчас, наверное, где-нибудь болтается под мостом в Дунайском канале с гирей на шее. Получил деньги, загулял, попал к арабам и всё — догулялся. Придётся писать заявление в «криминал-полицай» об исчезновении. Неприятно. Забирайте его вещи, доставите на родину.

Проклиная этого несчастного Херберта фон, мы начали собирать его вещи и в ванной комнате обнаружили пузырёк с какой-то остро пахнущей жидкостью. Консул понюхал и сказал:

— Дело дрянь — хлороформ. Это он взял с собой, чтобы усыпить соседа, когда будет убегать ночью. Кому-то сильно повезло. Нет, не болтается он с гирей на шее в канале и не едят его рыбы. Он уже в Бундесе и рано или поздно выплывет. Но в криминал-полицай всё равно сообщать придётся, а то они подумают, что это мы им сюда крота подкинули. Теперь пускай сами ищут.

Руководитель делегации Матвей Самсонович переживал больше всех. Ведь именно он рекомендовал Саясова на роль переводчика. От огорчения Матвей Самсонович не поехал со всей группой — остался в гостинице и не выходил на улицу — боялся, что теперь будут следить за ним и в случае чего приклепают попытку к побегу.

В Вене стояла невыносимая жара. Возвращаясь с работы, мы заходили к Матвее Самсоновичу и выводили его погулять в парк, чтобы он немножко подышал свежим воздухом. У него было большое сердце, и мы опасались, как бы его не хватил инфаркт от этих переживаний и недостатка кислорода. Матвей Самсонович был безучастен ко внешнему миру и всё

время бормотал одно и то же: «Что будет, что будет...» Мы утешали его как могли, рассказывали анекдоты из жизни Атомного агентства и убеждали, что лично ему ничего не грозит.

По приезде в Москву мы сдали багаж злополучного Херберта, написали свои объяснения и укатили в Ленинград.

Через несколько недель в газете «Известия» появилась статья «Невеста из ЦРУ» про нашего Херберта. В статье рассказывалось, как некая разбитная бабёнка — жена одного из американских физиков — ездит с конференции на конференцию и соблазняет «морально неустойчивых» советских учёных, за что получает от ЦРУ вознаграждение. Очередной её жертвой явился Саясов, которого она подцепила, пообещала выйти замуж, «поматросила и бросила». Безутешный Саясов вернулся в Москву, где сотрудники института его единодушно осудили и с работы выгнали. Теперь он служит переводчиком в бюро технической информации.

Странно, что Саясова не посадили, а всю эту туфту сочли достаточным поводом для того, чтобы оправдать его побег с родины, да и ещё с режимного заведения. С «Невестой из ЦРУ» я встретился на следующий год в Стокгольме. При одном взгляде на неё было ясно, что ни о какой любви с первого взгляда не могло быть и речи. Впрочем, со второго тоже. И вообще чем дольше на неё смотреть, тем яснее становится, что вся эта история — газетная утка. «Невеста из ЦРУ» была вполне почтенная пожилая гримза, которая действительно ездила со своим мужем, известным физиком, с конференции на конференцию и не отходила от него ни на шаг.

Саясов действительно обратился к ним с просьбой о содействии в побеге. Они сообщили об этом в свой режим — и всё — остальное уже было делом техники. В последний день конференции он с одним портфельчиком пришёл в американское посольство. Там ему сказали, что его будут вывозить через границу на машине военной полиции под видом пьяного американского солдата, загулявшего в Вене. Влили ему в глотку бутылку дешёвого венгерского виски, облачили в форму американского солдата, но тут вышел конфуз: таких шибздигов в американскую армию не берут, и форму пришлось ушивать прямо на нём. Потом его в бессознательном состоянии свалили на джип и повезли через границу на базу под Мюнхен. Когда он пришёл в себя, его начали экзаменовать, чтобы решить, стоит ли его дальше ввозить в США или оставить на месте. В ходе экзамена выяснилось, что не стоит. «Великая американская мечта» быстро развеялась, и в конце концов Саясову было предложено место техника-лаборанта на химфаке одного из провинциальных университетов в ФРГ. Это была пощёчина всей советской науке: кандидат наук, старший научный сотрудник престижного академического института потянул с трудом на лаборанта. В Академии этим обстоятельством шокированы были больше, чем самим фактом побега. Всё это я узнал много позже от Матвея Самсоновича, которому показали все материалы по делу Саясова.

В 1968 году мы участвовали в конференции МАГАТЭ по «Термоядерному синтезу». Конференция проходила в новосибирском Академгородке. Это был самый разгар сибирских вольностей: кафе «Интеграл» с повсеместно запрещённым джазом,

поэтические вечера, фестивали бардов, выставки неформальных художников. Кругом кишели молодые гении, к ним льнули крепкие сибирские девицы из стройгородка, аспирантки, абитуриентки и прочие фемины. В Академгородке были свои небожители — академики Лаврентьев, Будкер, Кутателадзе и другие знаменитости. Мировой термояд на этот раз приехал к Будкеру — основателю и директору института Ядерной физики. Готовились основательно: отремонтировали туалеты в номерах для иностранных гостей в гостинице «Золотая долина», покрасили «Интеграл» и купили туда новую ударную установку.

В Академгородок завезли из Москвы вагон девиц со знанием языков. Назывались они «Интерлингго», и поместили их тоже в «Золотую долину». Больше никого из советских туда не пустили. Нас с Жорой тоже не хотели пускать, но мы сказали им, что понятие советский-несоветский к нам не относится, так как мы международные переводчики, и призвали для подтверждения директора конференции мистера Агню. К тому времени Агню был уже сильно взбешён результатами своей проверки технического обеспечения конференции. Всё было хотя и широко по-сибирски, но безмозгло по-русски: микрофоны гнали на зал какой-то пароходный рёв, зато в наушниках раздавался комариный писк. Переносные приёмники ловили «Кукарачу» из кафе, но не доклады со сцены. Проекторы показывали на экране загадочные картинки из жизни других галактик вместо графиков и таблиц. А тут ещё отказываются поселять его синхронных переводчиков, потому что привезли каких-то проституток

из Москвы и мест якобы нет. Агнём рывкнул — места нашлись, мы поселились.

Поначалу было морально тяжело, потому что «Интерлинго» точно знало, что, кроме них, в «Долине» никого советских нет и принялись на нас с Жорой оттачивать своё мастерство оболъщения. Надо отдать должное: кадры в «Интерлинго» были на высоте и своё дело знали. Это привело в дальнейшем ко многим коллизиям внутреннего и международного характера. Много лет спустя, вспоминая новосибирскую конференцию, зарубежные коллеги сладко зажмуривались и произносили волшебное слово «Интерлинго». наших жеребцов от девиц отгоняли оглоблей, а одному, особенно озабоченному, так и сказали:

— Вы сюда работать приехали — вот и работайте. Они тоже работать приехали и не мешайте им, а то быстро выкатитесь.

Местные комсомольцы, которые охраняли «Интерлинго» от туземных посягательств, не разобравшись, поставили фингал под глаз начальнику термоядерного управления товарищу Лупандину. Тот без промедления предъявил фингал академику Будкеру и потребовал сатисфакции. Будкер вызвал медперсонал, который приложил примочку, а заодно взял кровь на анализ алкоголя. Анализ оказался очень положительным. В милицейском протоколе было зафиксировано, что начальник такой-то в состоянии сильного алкогольного опьянения учинил дебош, в результате чего местные дружинники вынуждены были применить силу. Протокол вылетел в Главатом, а начальник из Главатома. Но это всё были события вокруг конференции. На самой же конференции

тон задавала сибирская молодёжь, во главе со своим ребе Будкером. Официально его называли Андрей Михайлович, хотя на самом деле он был Гириш Ицкович, сын раввина из славного города Жмеринки. Сказать, что его любили в институте — значит ничего не сказать: его обожали. Это он ввёл знаменитый круглый стол в своём институте, на котором обсуждались все научные и хозяйственные дела и приглашались все, кто имел за душой что сказать, а у кого за душой ничего не было, тот быстро собирал манатки и выкатывался из Новосибирска.

Главным теоретиком термояда у Будкера был Роальд Сагдеев, тогда ещё молодой доктор, в будущем молодой академик, директор Института космических исследований, советник Горбачёва по вопросам космических вооружений и председатель Комитета Советских учёных в защиту мира. Но это всё будет потом, потом, а пока он был даже не Роальд, а Ролик, хотя в термояде уже считался признанным классиком. На новосибирской конференции как раз одним из главных событий был доклад Сагдеева о турбулентности плазмы: почему она не желает удерживаться и нагреваться, а бурлит и клокочет без всякого толка. В формулу, очень приблизительно и неточно описывающую турбулентность, он ввёл новый член, который всё поставил на свои места. Мы с Жорой сразу же назвали его членом Сагдеева, и, поскольку в докладе он фигурировал много раз, каждый раз мы его живописали по-разному. Он был у нас и гибкий, и могучий, обладал скрытой потенцией, и в конце доклада, когда мы, следуя за текстом, последний раз воткнули член Сагдеева в нужное место, зал просто повалился с кресел от хохота.

Много ли нужно, чтобы развеселить тысячу задёр-
ганных учёных на занудном теоретическом докладе.
В перерыве Сагдеев зашёл к нам в будку и спросил:

— Что я такого смешного сказал? Почему так
все ржали? Или перевод был неадекватным?

Мы отловили нескольких знакомых американцев
и задали им этот вопрос в присутствии Сагдеева. Они
в один голос заорали, что это был лучший доклад,
который они слышали в своей жизни.

Сагдеев кое о чём догадался, но на рожон не по-
лез. Он понял, что мы ему обеспечили паблисити
и не погрешили научной истиной. В научный оби-
ход этот член в уравнении турбулентной диффузии
так и вошёл как «член Сагдеева». Кто с чем входит
в науку!

В Новосибирск для усиления группы перевода
МАГАТЭ пригласило из ООН главного переводчика
Совета Безопасности — господина Хлебникова. Я не
знаю, родственник он или однофамилец несчаст-
ного Пола Хлебникова, которого убили в Москве.
Он появился перед самым открытием, высокий, эле-
гантный, с подстриженной щёткой усов, как у сэра
Энтони Идена. В руках у него был дорогой кожаный
кэйс с именной монограммой. Он открыл его. В нём
стояла малоформатная коллекция избранных конья-
ков, несколько бутылок виски, серебряные стакан-
чики и ещё какая-то дребедень, необходимая для
успешного синхронного перевода. Он предложил
нам выпить за знакомство — мы отказались. В от-
личие от наших зарубежных коллег, мы никогда
алкоголь во время работы не употребляли, только
минеральную воду и кофе, впрочем, от кофе мы впо-
следствии тоже отказались. Слегка расстроенный

нашим отказом он выпил «Джек Дэниэлс» один и сообщил, что сегодня переводить не будет, так как не выспался с дороги и подремлет у нас в будке, а заодно вникнет в тематику. За ланчем он недовольно поковырял вилкой свой шницель и спросил, может ли заказать стейк-тартар. Мы радостно сообщили, что нет. Он открыл саквояж и утешился ещё одним «Дэниэлсом». Мы спросили его, не родственник ли он знаменитого русского поэта Велимира Хлебникова. Он ответил, что о таком поэте никогда не слышал, и прибавил важно:

— Мой батюшка — генерал-адъютант Его Величества.

Жора, который хорошо разбирался в придворной жизни последнего царя, заметил, что никогда не слышал о генерал-адъютанте с такой фамилией. Господин Хлебников слегка покраснел и сказал:

— Это очень похвально, что современная русская интеллигенция интересуется жизнью высшего общества, сама не имея к нему никакого отношения.

Жору последнее замечание слегка задело, но он сдержался.

Назавтра Хлебников сел в резервную будку, мы прильнули к наушникам и в эфир понеслось:

— Магнетические силы компрессируют плазму и приводят её к полному коллапсу, но она извиваясь, как флейта, бросается на стенку и погибает, разбрасывая фотоны от импьюритивных атомов высоких степеней.

У нас с Жорой отвисли челюсти, а потом мы гомерически расхохотались. (На языке физики это означало бы примерно следующее: магнитное поле сжимает плазму и приводит её к схлопыванию, но

в результате желобковой неустойчивости она вытесняется к стенкам и распадается с излучением фотонов от высокоионизованных примесных атомов.) Сразу же после доклада к нам в будку ворвался мистер Агню, которому наши академики уже наступали про магнетические силы, и сообщил, что мистер Хлебников от перевода отстраняется и весь его перевод передаётся нам. Потом появился сам мистер Хлебников и заявил:

— Как вы догадываетесь, я больше здесь переводить не буду. Главный переводчик Совета Безопасности должен переводить либо блестяще, либо никак. Эти плазмы и протоплазмы не моя стихия. Оставляю их вам вместе с остатком моей коллекции.

И он открыл кейс.

— Между прочим, почему бы вам не приехать к нам в ООН и не поработать у нас. Нам нужны такие люди, как вы.

— Нет-нет, — сказал Жора, — это не наш профиль. У вас там своя терминология, своя специфика и глоссариум.

— Помилуйте! — воскликнул мистер Хлебников. — Какая там специфика, о чём вы говорите! «Агрессия справа — агрессия слева», «вооружение — разоружение», весь глоссариум не займёт и двух страниц! Вам на полдня работы. Я могу поговорить.

— Но ведь мы физики, а не международники. Нас никогда туда не пошлют.

— Какие международники в ООН?! — снова возразил Хлебников. — Где вы их видели? Международники — таксисты, международники — гувернантки, да вы будете самыми образованными людьми в нашей компании. Вот вам моя визитка, будете

в Нью-Йорке — звоните и заходите. Я познакомлю вас с топ-мэнеджментом.

На следующий год мы зашли с Жорой в ООН на Ист-Ривер. Господин Хлебников был в отпуске, в наших услугах никто не нуждался, да мы и не особенно стремились их предлагать.

Наша карьера синхронных переводчиков, начавшаяся в Белграде, продолжалась более двадцати лет. В 1976 году на международной Школе по Физике лазеров мы с Жорой установили неофициальный мировой рекорд по длительности нон-стоп синхронного перевода: одиннадцать дней по шесть часов в день каждый. Как и любой рекорд, этот дался нам нелегко, и больше мы таких экспериментов над собой не проводили. Врачи считают, что нервные нагрузки при синхронном переводе сродни нагрузкам лётчика-испытателя. И в том и в другом случае от перегрузок люди иногда теряют сознание, испытывают продолжительные нервные стрессы, становятся инвалидами, но вместе с тем, преодолевая себя, синхронисты испытывают удовлетворение подобно тому, что испытывают спортсмены, победившие в беге на длинные дистанции или просто дошедшие до финиша.

Но рано или поздно звенит звонок — пора! — синхронист снимает наушники, выходит из будки и начинает жизнь нормального человека.

ЕВРОПЕЙСКОЕ ФИЗИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО (ЕФО)

В 1969 году Академия наук вступила в Европейское физическое общество, сокращённо ЕФО. На учредительное собрание в Геную ездил Лев Андреевич Арцимович. Разумеется, одним из главных вопросов при учреждении новой международной организации является вопрос о рабочем языке или языках. Представители Британского Института физики предложили в качестве официального языка английский — язык Ньютона и Фарадея. Французское Физическое общество, согласившись с этим, предложило добавить французский язык — язык Лавуазье и трёх Кюри. Немецкое общество, согласившись с тем, что Германия более не является великой державой и её язык не признан в ООН, напоминало, что немецкий — это язык Рентгена, Эйнштейна и Генриха Герца и на нём говорят по крайней мере в трёх европейских странах — ФРГ, ГДР и Австрии. Все ждали с нетерпением, что скажет советский представитель. Советский представитель, отдав дань Ньютону, Лавуазье и Рентгену, перешёл к Ломоносову, Менделееву, Попову, но затем неожиданно сделал разворот «все вдруг» и спросил дорогих коллег:

— Какое, собственно, общество мы создаём — профессиональное или политическое? Если профессиональное, то мы должны говорить и писать на языке профессии, которым в настоящее время является английский, English, и пускай мы говорим на broken english, все, кроме британцев, которых никто

не понимает, но это лучше, чем когда кто-то будет говорить на hoch Deutch, а кто-то на magnifique français. Нам эта вавилонская башня не нужна, если мы хотим общаться как представители одной профессии.

Дорогие коллеги обомлели и загалдели. Президент-основатель Бернардини постучал молотком по столу, призвал коллег к порядку и осторожно спросил Льва Андреевича, значит ли это, что уважаемые русские коллеги тоже будут говорить и писать по-английски.

— Значит, — ответил Арцимович с вызовом. — Сегодня язык нашей науки английский, через сто лет может быть китайский. Значит, будут говорить сегодня по-английски, а через сто лет выучат китайский. Я же говорю по-английски, и вы не испытываете проблем с пониманием, — добавил он кокетливо.

Действительно, за прошедшие после Зальцбурга годы Лев Андреевич упорно учил язык, создавал для себя атмосферу глубокого языкового погружения и стал вполне свободно общаться. Иностранные университеты наперебой приглашали читать лекции и выступать на семинарах. Его выступления всегда являлись событием. И он решил: если может он, то могут и все. Ещё в Зальцбурге он спрашивал меня, что надо, чтобы выучить язык. «Надо полюбить язык и возненавидеть себя, не давать себе поблажки, сибариты учить языки не могут», — добавил я, вспомнив его бирюзовый костюм и голубую «Волгу». Однако «быть можно дельным человеком...», как сказал Пушкин. Я недооценил его шестисотлетнее дворянство и генетическое стремление к совершенству.

После эскапады Арцимовича о китайском языке в зале снова поднялся гвалт. Бернардини объявил перерыв, и коллеги стали обсуждать новый поворот событий. Вообще говоря, отказ Арцимовича от родного языка воспринимался всеми как событие невероятное. Все привыкли к тому, что советские представители на любых уровнях требовали признания русского как официального, отстаивали его первородность, значимость, паритетность с упорством, доходящим до фанатизма. «Великий и могучий» был символом великости и могучести державы, и малейшее отступление от этой модели поведения воспринималось чуть ли не как национальное предательство. И вдруг представитель самой термоядерной и суперракетной державы Европы предлагает обществу европейских физиков общаться на чуждом для себя английском языке. Ни о каких французских или немецких притязаниях не могло быть уже и речи. В качестве единственного рабочего языка ЕФО по предложению советского представителя был утверждён английский.

Но решением этим Лев Андреевич обрёл себя на весьма тяжёлую жизнь. Ему стали поступать десятки писем, циркуляров, предложений, на которые надо было отвечать и соответствовать. Его аппарат в Президиуме не в состоянии был переварить весь этот поток абракадабры, и Лев Андреевич вспомнил обо мне. На заседании Бюро Отделения общей физики он поставил вопрос о назначении представителей в различные комитеты ЕФО и предложил назначить меня членом комитета по публикациям. Члены Бюро — академики и члены-корреспонденты заволновались: «Кто такой, почему не знаем, разве

у нас мало академиков, чтобы заседать в Европе? Зачем нам сюда какого-то старшего научного сотрудника, к тому же из Ленинграда!»

— Да, — согласился Лев Андреевич, — у нас много задниц, чтобы заседать в мягких креслах, а мне нужен человек, чтобы он работал ежедневно и непрерывно. Если есть желающие работать в этом комитете ЕФО и отвечать за все наши публикации и их подготовку, — милости просим. Есть желающие?

Желающих работать не нашлось.

Вскоре в институт пришло распоряжение Президиума Академии наук о назначении меня представителем в руководящие органы ЕФО. Отдельным тяжёлым пакетом пришли материалы предстоящей сессии. Началась моя служба на международной арене.

На очередную сессию ЕФО мы приехали вдвоём с нашим членкомом Георгием Анатольевичем. Первым пунктом повестки дня — приём новых членов. Просится Греческое национальное общество физиков. Ну что ж, невелика там наука, но основали-то её греки. Демокрит — вообще первый атомист, об Архимеде и говорить нечего. И тут вдруг встаёт югослав Синдро, потомок княжеского рода, очень приличный учёный из ядерного центра, и говорит:

— Я категорически протестую сам и от имени всех югославских учёных. Мы не можем принять в наше общество представителей «чёрных полковников», и я призываю всех членов Совета от социалистического лагеря проявить солидарность и голосовать против приёма.

Греческий представитель делается белым, как статуя Демокрита, и теряет дар речи. Взгляды всех

членов Совета устремляются на нас — как бы лидеров соцлагеря. Георгий Анатольевич тихо произносит, типа, — влипли и «твою мать». Я шепчу: «Спокойствие, молчим». И мы молчим. Тогда президент, очнувшись от шока, заговорил:

— Коллега Синдро ставит перед нами не один, а целый ряд трудных вопросов. Во-первых, если мы будем решать вопрос о приёме новых членов в зависимости от цвета полковников данной страны, то нам придётся изобрести инструмент для определения их цвета, такой, скажем, колонелиметр, затем мы должны определить, какого цвета полковники допускаются, а какого нет. Скажем, белые, красные и зелёные полковники проходят, а чёрные, фиолетовые и полосатые — нет или наоборот. Но при этом мы вторгаемся в несвойственную нам область политических наук. Появляется субъективизм, могут возникнуть дополнительные критерии, например определение по запаху. Например, полковники, пахнущие «шипром» и «курвуазье» — хорошо, а дёгтем или самогоном — плохо, а может, наоборот. Я помню, немецкие полковники, особенно из СС, очень хорошо пахли в Праге весной 1945 года, а изгнавшие их русские полковники пахли гораздо хуже, но население почему-то кидало гранаты в первых и забрасывало цветами вторых. Не уведёт ли нас такой подход слишком далеко от наших профессиональных целей. Я думаю, прежде чем проводить голосование по этому вопросу «на принципах братской солидарности», коллега Синдро свяжется со своими принципами-товарищами в Белграде и сообщит официально согласованную точку зрения.

На этом был объявлен перерыв. Георгий Анатольевич сказал:

— Какой молодец президент, такую ношу с нас снял.

Подошёл древний грек, обратился к нам:

— Но, господа, «чёрные полковники» не имеют к нашему Физическому Обществу никакого отношения. Они пришли, они ушли, и вообще мы всегда были друзьями.

— И даже родственниками, — добавил Георгий Анатольевич. — Я вообще из Феодосии, и мои предки были греками. «Калимера — Калиспера».

Вернулся Синдро.

— Союз физиков Сербии и Македонии не поддержал моё предложение.

— Ну вот и славно, — обрадовался президент. — Кто за приём, кто против? Единогласно. Поздравляем нашего нового члена — представителя древней Эллады.

Представитель Эллады оживился и предложил перед ланчем всем принять участие в дегустации «Метаксы». Дегустация прошла хорошо. Особенно активное участие в ней принял Синдро, как бы покупая вино за причинённые волнения.

Эпизод этот, сам по себе незначительный, заложил основу для всех последующих дискуссий подобного рода, привил иммунитет против всяческих политических провокаций, откуда бы они ни исходили. И когда через несколько лет возник казус Сахарова, делегация ООФА в Европейском физическом обществе не присоединилась к официальной кампании травли и поношения. И само ЕФО

приложило немало усилий для того, чтобы сохранить жизнь Андрею Дмитриевичу, мобилизовав на его защиту практически всех нобелевских лауреатов планеты.

В 1984 году ЕФО ещё раз прорвало кокон профессиональной стерильности и позволило вовлечь себя в обсуждение проблемы глобального значения. Это была «ядерная зима». Политики здесь было значительно больше, чем науки, но и ставка была выше решения любой научной проблемы.

ТАРАСЮК*

-
- * У модного ныне писателя Михаила Веллера есть рассказ «Оружейник Тарасюк». Кроме фамилии и должности, в этом рассказе нет ни слова правды о данном человеке. На что я и считаю своим долгом указать, чтобы не вводить в заблуждение читателя.

ТАРАСЮК — КАВАЛЕР ОРДЕНА ПОЧЁТНОГО ЛЕГИОНА

Тарасюк ушёл на войну в 1943 году годным, необученным, а вернулся после германской и японской кампаний негодным, с двумя нашивками за ранения, в звании старшего сержанта и со множеством медалей за взятие разных городов. Последним местом службы был Дайренский гарнизон в Корее. Тарасюка могли бы задержать ещё на год, возраст позволял, но начальство опасалось, что его постоянные конфликты с местным населением могут в конце концов закончиться кровопролитием. Тарасюк приходил в ярость, когда местное население прежде чем зажарить собак по-корейски лупило их палками, чтобы мясо отошло от костей и было бы мягким. Иначе по-корейски не получалось. Собаки при этом выли «нечеловеческим» голосом, а Тарасюк хватал первую попавшуюся дубину и бежал лупить поваров. Иногда ему помогали солдаты его разведвзвода. Возникла потасовка. Командование проводило разъяснительную работу среди личного состава и призвало не вмешиваться в исполнение национальных традиций, но при первом же собачьем вое всё повторялось снова. Контуженный Тарасюк со своей природой совладать не мог. Постепенно вокруг него образовалась стая собак-инвалидов национальной кухни, и когда он стоял на посту у комендатуры, с десятком недобитых чау-чау располагались у его ног и с обожанием смотрели на него. Местное население, проходя мимо, облизывалось на несостоявшееся жаркое

и бросало злобные взгляды на бравого сержанта. Любовь к армии-освободительнице подвергалась серьёзному испытанию. Тарасюка досрочно демобилизовали.

Впервые я встретил его на занятиях в университетской секции фехтования. Высокий, стройный, элегантный, с роскошными усами он представлял собой тип идеального фехтовальщика. В отличие от многих ветеранов, он не носил ни медалей, ни колодок, только какую-то маленькую бусинку в петлице пиджака. Однажды, когда уже не одна рапира была сломана на тренировках, я спросил его: «Что это за значок?» Он ответил: «Это не значок, а орден Почётного Легиона». — «Откуда?» — выдохнул я изумлённо. «Оттуда» — сказал он просто. И вот что рассказал.

10 мая 45 года, после официального окончания войны, когда, по словам Верховного Главнокомандующего, «...отдельные части вражеской армии ещё доколачиваются нашими войсками в районе Чехословакии», группа разведчиков с Тарасюком за старшего ехала на двух джипах по лесной дороге в этом самом районе. Цвела весна, чирикали птички, разведчики дремали после вчерашнего. Вдруг за очередным поворотом дорога упёрлась в ворота из колючей проволоки. Над воротами вышка, на вышке эсэсовские пулемётчики. За проволокой какая-то суматоха, крики, кого-то тащат, кого-то бьют, заливаются лаем псы, как будто и не было всей этой безмятежности минуту назад, за поворотом. Вмиг протрезвевшие разведчики тормозят машины, передёргивают затворы, скашивают пулемётный расчёт

на вышке и, протаранив ворота, выкатываются на плац. А там уже лагерники сами расправляются с охраной и овчарками. Через несколько минут всё кончено. Из толпы выходит человек в кителе и командует по-французски. Лагерники выстраиваются, и видно, что это не несчастные доходяги-хефлинги, а привыкшие к строю военные. Старший сержант Тарасюк выстраивает своё отделение лицом к освобождённым, француз командует «смирно» и по лагерной грязи печатает шаг по направлению к нашим. Тарасюк, приложив руку к пилотке, идёт ему навстречу и видит, что у француза на замызганном донельзя кителе генеральские лычки. Генерал останавливается в пяти шагах от Тарасюка и рапортует, что, мол, личный состав штрафлагеря французских военнопленных номер такой-то выстроен для того, чтобы приветствовать своих освободителей, доблестных воинов Красной армии, которые за минуту до расстрела оказались здесь и выполнили свой союзнический долг. Генерал не ожидал никакого ответа на свою торжественную речь и уже готовился повернуться, но не на такого напал. Если Тарасюку выпадал момент, он его не упускал. И, может, такого момента он ждал все три года своей фронтовой жизни. «*Mon general!*» — взревел он. И потом несколько минут на великолепном французском языке рассказывал им, как он и его *les amis combattants* счастливы тем, что принесли *liberte* своим *freres* по оружию. Французы сошли с ума. Генерал бросился к Тарасюку и стал душить его в объятиях. Вскоре и французский генерал, и русский сержант, и все разведчики взлетели в воздух. Откуда у этих французов только силы взялись!

Когда всё немного успокоилось, генерал принёс из барака спрятанный орден, маленький, как капля крови, и прикрепил его на пропотевшей тарасюковской гимнастёрке. Он записал фамилию сержанта, его ленинградский адрес и пообещал, что патент на орден будет выслан, как только он встретится со своим другом генералом Де Голлем.

Прошло два года. Генерал, видать, всё никак не мог встретиться с Де Голлем, и Тарасюк по-прежнему носил в петличке орден, не имеющий законной силы. И вдруг как-то под новый 1948 год, когда наши отношения с Тарасюком уже переросли формальные границы, он рассказал мне, что его вызывали в ректорат и сообщили о том, что его приглашают явиться в Москву во французское посольство и получить документы на французский орден. «Но вы понимаете, — объяснили ему, — сейчас уже не 45 год, сейчас уже идёт «холодная война» и Франция находится в стане наших врагов. И нам не надо награды от наших врагов!» «Не надо, не берите, — согласился Тарасюк, — но их вам никто и не предлагает, а я свою заслужил в бою и от боевых наград отказываться не намерен». — «Ну смотрите! — предупредили его. — Вам же ещё учиться три года, и вы могли бы поступить в аспирантуру как ветеран и отличник. А как политически незрелый студент вы вряд ли долго продержитесь на идеологическом факультете. В конце концов скажитесь больным». — «Тогда они приедут сюда и вручат мне документы у моей постели. Мы напрасно теряем время. Награда наша своего героя, и он её получит».

Бумаги были замечательные. Они были подписаны президентом Французской Республики. Имелось

ещё личное письмо генерала Де Голля Тарасюку, на которое он и ответил. Так началась длительная личная переписка между студентом, впоследствии младшим научным сотрудником Эрмитажа, и президентом Франции генералом Де Голлем. Но это уже совершенно другая история, и пускай её лучше рассказывают историки Франции и отставные советские перлюстраторы.

МАРСЕЛЬЕЗА

Летом 1957 года, одновременно со Всемирным Фестивалем, в Москве проходили III Всемирные Игры молодёжи. Фестиваль был чисто коммунистическим мероприятием, а Игры проводились Олимпийским Комитетом и Международными Федерациями по видам спорта, и их организаторы всячески дистанцировались от фестивальной тусовки. Для Москвы это было тогда самым крупным спортивным событием в её истории, и оно было задумано как генеральная репетиция перед олимпийскими играми, на которые Москва очень рассчитывала в обозримом будущем. Мы с Тарасюком были приглашены на соревнования по фехтованию в качестве судей-информаторов. В отличие от соревнований на больших спортивных аренах — футбола, лёгкой атлетики, судьям-информаторам на фехтовании, боксе и других единоборствах позволялось свободно общаться со зрителями, разъяснять правила, рассказывать об участниках, в общем, не только информировать, но и комментировать. Особенно часто это приходилось делать на фехтовании, где то и дело выходила из строя аппаратура и возникали томительные паузы, которые надо было чем-то заполнять. Фехтовальные судьи-информаторы должны были говорить на двух языках — русском и французском. Это требование сразу ставило нас с Леонидом вне конкуренции.

И вот начинаются соревнования по сабле. Признанными лидерами тогда были русские, венгры и поляки. Однако к середине финала прорисовывается

весьма неожиданно француз, этакий интеллигент в очках, студент Сорбонны Клод Гамо. К полуночи Клод Гамо становится явным фаворитом. Наши спортбоссы начинают нервничать. Ну, понятно, уплывает золотая медаль. Напряжение растёт, бои затягиваются, к двум часам ночи наш Лёва Кузнецов и Клод Гамо набирают одинаковое число побед. Предстоит повторный бой за первое место. Главный судья начинает внятно молиться. Что-то здесь не так! Не стал бы этот заслуженный мастер, чемпион из чемпионов, так переживать из-за уплывающей золотой медали. Даже и хорошо! Пусть бы и французы порадовались! И я спрашиваю у главного тренера:

— А в чём, собственно, дело? Что, никогда французам не проигрывали?!

Он наклонился ко мне и прошептал:

— Гимна не заказали!

— Какого?

— Французского! Все есть, а французского нет. Кто же знал, что этот очкарик может всех зашибить! Его и в национальной сборной-то нет! Вся надежда на Лёву.

И тут до меня дошло, что если выиграет француз, то придётся поднимать флаг и исполнять гимн. А гимна-то нет! Не заказали, не предвидели! И тогда возникнет скандал, потому что большего унижения для страны, чем не поднять флаг или не сыграть гимн в честь её победителя, быть не может. Это позор несмыываемый, на все времена! Между тем Лёва и Клод дерутся. Счёт — 1:1, 2:2, 3:3, 4:4. Руководство в обмороке. Последний пятый удар наносит Клод, и зал взрывается. Удар чистый, оспорить невозможно. Главный судья, в холодном поту, подходит

к нашему столу и обращается к Тарасюку: «Леонид Ильич, подойдите к господину Бонтаму и предложите перенести процедуру награждения на завтра. Уже поздно, третий час». Леонид подходит к Бонтаму, что-то говорит ему, и Бонтам приходит в неистовство: он поднимает руки, потрясает кулаками, потом разворачивается и устремляется к своей команде. Леонид возвращается к главному и отчеканивает:

— Президент Французской Федерации фехтования господин Бонтам требует объявления результатов и проведения церемонии награждения согласно регламенту немедленно! В противном случае команда Франции в полном составе покидает Игры и прерывает любые контакты с Федерацией фехтования Советского Союза!

И Главный вполголоса Леониду:

— Так гимна-то нет, не заказали! И сейчас ночью нигде не достать! Что делать?! Что делать?! Горе-то какое!

И тут Леонид вдруг весь встрепенулся, повернулся ко мне и скомандовал:

— Объявляй результаты!

— Как же без музыки? — застонал Главный.

— Отойди, болван, — рявкнул на него Леонид. Он подошёл к микрофону, включил его и сунул мне под нос:

— Объявляй!

А сам полез во внутренний карман пиджака. Я протокольным голосом на весь дворец возвестил, что первое место по фехтованию на саблях завоевал Клод Гамо, Франция. Потом то же самое по-французски. Леонид вынул из кармана губную гармошку, прошёлся по ней носовым платком, придвинулся

к микрофону, и при первом же движении французского флага вверх из всех динамиков полилась мелодия «Марсельезы». Переводя дыхание, он пнул меня локтем и скомандовал:

— Подпевай!

От неожиданности у меня отвисла челюсть, но тут же каким-то чудом в памяти всплыли давно забытые строки: «*Les enfants de la Patrie...*». Я запел, стараясь не заглушать своим гнусавым голосом дивные звуки его гармоники. И вместе с нами запела вся команда Франции. Бонтам стоял навытяжку и пел, пели тренеры и массажисты. С последними аккордами зал заорал, французы вместе с новым чемпионом бросились к нам, подхватили Леонида на руки и понесли вокруг арены. Его, а не чемпиона! Потому что чемпион, он что! Ну выиграл ещё одну золотую медаль по фехтованию, эка невидаль, Леонид же спас честь Франции, не допустил скандала и позора.

Потом французы увезли нас с собой в гостиницу, и мы все вместе так нарушили спортивный режим, что на следующее утро соревнования комментировали не мы.

ДУЭЛЬ ЛЕРМОНТОВА

115 лет спустя

В 1941 году столетие со дня смерти Лермонтова не отмечалось. Выстрел Мартынова потонул в грохоте канонады великой войны. В 1951 году тоже было не до Лермонтова. Но к некруглой дате 115-летия лермонтоведение оживилось. По-прежнему тайна дуэли и смерти будоражила умы, а поэзия Лермонтова находила всё больше и больше поклонников во всём мире. С далёкого Хоккайдо приезжали в Ленинград японские любители «Мцыри», в Ирландии он вообще становился родным и любимым, как Пушкин в Эфиопии. Оживились и отечественные лермонтоведы. В начале 1955 года появилась публикация белорусских исследователей, в которой прямая ответственность за смерть поэта возлагалась на Николая I. Для царя это было не ново. Его и раньше обвиняли в том, что он сослал Лермонтова на Кавказ, под пули горцев, и в том, что он препятствовал его возвращению в Петербург и даже лечению на водах в Пятигорске. Всё это уже было, но в данной публикации царя обвиняли как непосредственного организатора заказного убийства. Исполнителем же якобы оказался какой-то анонимный казак, спрятанный в кустах и стрелявший в Лермонтова из ружья. Основанием этой версии послужили два обстоятельства. Во-первых, рана Лермонтова, обследованная после дуэли, оказалась просто ужасной. Пуля пробила его снизу вверх и буквально разорвала тело несчастного поэта. Если Дантеса спасла от смерти пуговица или ладанка,

то Лермонтова могла бы спасти только танковая броня. Следовательно, оружием убийства не мог быть дуэльный пистолет. Во-вторых, Мартынов до самой своей смерти и даже на исповеди клялся, что не убивал Лермонтова. Но если не он и не из пистолета, то кто же? И вот появилась версия о заказном политическом убийстве, умело замаскированном под дуэль.

Когда Иракий Андроников прочёл эту статью и ряд других с таким же контекстом, он пришёл в бешенство. Для него — литературоведа, историка, аристократа, знатока николаевской эпохи, дышавшего её воздухом, было совершенно очевидно, что русский император — первый дворянин великой державы, да и всей Европы, никогда в жизни не унизил бы себя организацией убийства какого-то поручика, неврастеника и скандалиста. Раскрытие такого заговора оказалось бы губительным для репутации его и всех его потомков. Николай I, как никто из Романовых ни до, ни после него, был особенно щепетилен в вопросах дворянской чести. Император-джентльмен, рыцарь без страха и упрёка, отец отечества, спавший на простой солдатской койке, — вот образ, имидж, который он себе создавал после восшествия на престол и кровавых событий 14 декабря. А его милости семье погибшего Пушкина! Общество ждало от него этих действий, и он не мог обмануть ожидания общества. И теперь, одним неосторожным поступком превратиться из безупречного монарха в заурядного уголовника? Нет, это было невозможно. Особенно бесило Андроникова то, что эти провинциальные литературоведы перенесли в высший свет прошлого века ухватки и приёмы века нынешнего. И Андроников решил встать на защиту поруганной чести Императора.

Он задумал воспроизвести сцену убийства Лермонтова с максимальной достоверностью или, проще говоря, провести следственный эксперимент 115 лет спустя. Прежде всего оружие. Кто сказал, что стрелялись из дуэльных пистолетов? Откуда в полувоенном Пятигорске дуэльные пистолеты Лепажя? Тем более когда дуэли категорически запрещены? Детальное ознакомление с протоколами дуэли показало, что оружием были штатные седельные кавалерийские пистолеты. И тут Андроников обратился к хранителю отдела оружия ленинградского Эрмитажа — Леониду Ильичу Тарасюку.

В распоряжении Тарасюка находился весь арсенал Эрмитажа, размещающийся в полукруглой башне Зимнего дворца рядом с Зимней канавкой. Уже не один год он занимался разбором и атрибуцией груды оружия, накопившейся за два с половиной столетия, где наряду с драгоценными миланскими доспехами, дамасскими саблями, испанскими аркебузами находились и все образцы русского холодного и огнестрельного оружия, от времён Ивана Грозного до последнего царя.

К просьбе Андроникова — отыскать аутентичные пистолеты и использовать их в следственном эксперименте — Тарасюк отнёсся с энтузиазмом. Через какое-то время несколько пистолетов были найдены. По сравнению с этими «гаубицами» лепажевские дуэльные выглядели как детские игрушки. Тарасюк дал мне их подержать и сказал: «Они должны стрелять на дуэли». Для того, чтобы музейный пистолет выстрелил, он должен иметь исправный механизм и боевой заряд, состоящий из пули и пороха. Ещё было бы хорошо, чтобы в момент выстрела не разорвало

бы дуло. «Наверняка металл подвергся коррозии за сто лет и дуло разнесёт вдребезги при первом же выстреле», — предположил я. «В те времена и слова-то такого не было — коррозия, — возразил Тарасюк. — Разве мы не пробовали фехтовать рапирами эпохи Людовика XVI? И что? Где ты видел хотя бы царапину на них?» Это было правдой. В отличие от современных клинков, которые нещадно ломались на тренировках, старинные толедские, золингеновские и демидовские оставались целыми и невредимыми. Только искры летели, как и столетия назад.

Решив таким образом проблему коррозии, Тарасюк приступил к восстановлению механизмов. Помоему, он приспособил для этого токарный станок Нартова, сделанный для Петра Первого, но от прямого ответа он уклонился, заметив, что действительно использовал некоторые подручные средства, имеющиеся в Эрмитаже.

Я занялся порохом и пулями. Составные части пороха XIX века — селитра, древесный уголь и сера — были выписаны со склада Физико-технического института для исследований в области термоядерных реакций. Свинец для пуль просто валялся повсюду в изобилии и научного обоснования для своего использования не требовал. Свинец расплавлялся в кофейнике и выливался в пулелейку, составленную из двух разъёмных полушарий. После застывания свинца смазанные вазелином полушария размыкались, пуля вынималась, после чего её надо было зачищать от заусениц и шлифовать до нужного калибра.

Работа эта проходила в эрмитажном арсенале по субботам и воскресеньям. Там же мы растирали порох в ступках и набивали его в картузы. Через

несколько недель, к концу мая, у нас был новёхонький пистолет 1840 года, пороховые заряды и дюжина пуль. Сложности с кремнём помогли преодолеть коллеги из геологического музея. При нажатии на курок из-под него вылетал целый сноп искр. Пора было переходить к полевым испытаниям.

В ближайшее воскресенье Тарасюк приехал ко мне в Солнечное, где я снимал на лето сарай, и мы отправились в дюны. По дороге Тарасюк прихватил на стройке обрезки трёх досок. В дюнах мы нашли симпатичный окопчик. Кругом росли сосны, тишина, покой — идеальное место для полевых испытаний. Тарасюк развязал свой фронтальной сидор и достал пистолет, боеприпасы, пиво, бутерброды. Ещё я заметил у него индивидуальный перевязочный пакет и бинты разной ширины. «Однако решил подстраховаться!» — подумал я и слегка заволновался.

Верёвками мы навесили на ближайшей сосне мишень толщиной в три доски — «Лермонтов» готов. Тарасюк снарядил пистолет и встал за другую сосну на расстоянии 10 шагов. Он поприцеливался в «Лермонтова» и сказал:

— Так будет хорошо. Ложись в окоп, спрячь голову и не высывайся!

— Ты же не боишься коррозии! — заметил я.

— Зато ты боишься! Вот и лежи в окопе. Можешь скомандовать: «Готовы? Сходитесь!» И сразу падай.

Я расположился в окопчике и прокричал команду. Он спокойно поднял пистолет, тяжёлый ствол не дрожал в его руке, и медленно нажал на спусковой крючок. Раздался страшный грохот, из дула вырвался столб огня вместе с клубами чёрного дыма. Леонид стоял с закопчённой физиономией и морщился от боли,

внятно ругаясь. Сильная отдача сказалась в его раненой руке. «Как это они тогда стреляли из этих самопалов?» — подумал я. Мы подошли к «Лермонтову». Первая доска была просто разможжена в щепки, вторая и третья пробиты, а пуля застряла в сосне. Там мы её и оставили и, захватив первую доску для Андроникова, отправились домой. По дороге я взглянул на Тарасюка и заметил у него слёзы на глазах: «Ты чего? Так больно?» — «Нет, Лермонтова жалко. Как его изувечило!»

Полевые испытания были проведены, настала очередь следственного эксперимента.

Андроников договорился с генералом паталого-анатомом профессором П. о том, что эксперимент будет проведён в морге Военно-медицинской академии, как только там окажется бесхозный труп. Это сейчас бесхозных трупов сколько угодно, а тогда это был большой дефицит. «Весь мир — анатомический театр, все трупы — актёры, — мрачно пошутил генерал П. — Надо ждать случая». И мы стали ждать.

Через несколько недель Андроникову позвонили в Москву из Академии и попросили срочно приехать. Он приехал. Экспертиза была назначена на поздний вечер.

В морге был сооружён бруствер из мешков с песком, за ним находился стол экспертной комиссии. В неё входили генерал П., Тарасюк, Андроников и судебный эксперт по баллистике Л. «Поручик Лермонтов» был установлен вполоборота к «Мартынову». На нём были помечены входное и выходное отверстия пули согласно медицинскому протоколу о дуэли. Суд-эксперт провёл директрису, и на расстоянии 10 шагов от «поручика» на стойке был укреплён пистолет,

через ствол которого и проходила директриса. Положение пистолета оказалось удивительно низким, где-то на уровне бедра стрелявшего человека, а дуло оказалось задраным вверх. Затем комиссия села за стол, а Леонид в бронежилете и каске встал у стойки. Он потянул за бечёвку, привязанную к курку. Раздался выстрел. «Поручик Лермонтов» был отброшен назад — в боку его зияла кошмарная рана, из которой сочился формалин.

Всего этого я не видел, поскольку меня к проведению экспертизы не допустили, и я ждал поблизости на Пироговской набережной. Тарасюк вышел часа в три ночи, неся в руках хорошо початую бутылку арманьяка, и, подойдя ко мне, торжественно возвестил: «Его Величество Император Николай Павлович в смерти поручика Лермонтова не повинен. Лермонтов скончался от пистолетного выстрела Мартынова, а не от пули подосланного убийцы. Помянем его, а заодно и государя». Мы помянули. Леонид сказал: «Не пей всё. Мы должны помянуть и душу майора Мартынова, который убийства Лермонтова не замышлял. Он убил Лермонтова по роковой неосторожности. Вместо того чтобы поднять пистолет вверх, он только задрал дуло, держа пистолет у бедра, и выстрелил. Этот идиот не сообразил, что на таком расстоянии он всё равно попадает. И попал! Несчастный фанфарон и тупица, но не убийца! Пусть земля ему будет пухом». И мы допили остатки за упокой души майора Мартынова, а потом пошли по Литейному мосту навстречу рассвету.

ПРИНЦ ГАМЛЕТ — ЧЕМПИОН

Отсидев три года от звонка до звонка за критику советской внешней политики и незаконное хранение антикварного холодного оружия, Тарасюк вернулся в Ленинград. Критика советской внешней политики заключалась в том, что он открыто возмущался награждением Гамаль Абдель Насера Золотой Звездой Героя Советского Союза. Журнал «Монд» ехидно заметил, что Насер, очевидно, единственный ээсовский офицер, ставший героем Советского Союза. Тарасюка эта заметка привела в ярость, которую он не считал нужным скрывать.

В качестве холодного оружия фигурировало дреколье XVI века, которое в своё время милиция отказалась регистрировать. Однако в совокупности с Насером и методом поглощения суммарное наказание потянуло на три года.

По возвращении Тарасюк, помаявшись с пропиской и отсидевшись около месяца у меня на даче, был принят в качестве помощника-консультанта профессора Гуковского на кинокартину Козинцева «Гамлет». На этой же картине ему давали подрабатывать в массовках и эпизодах, чтобы он мог прокормиться. Работы хватало. Козинцев хотел, чтобы его картина была исторически достоверна и чтобы её было не стыдно показать на фестивале в Англии. Гамлета играл Смоктуновский. Следует напомнить, что по русской театральной традиции Гамлет изображался таким расслабленным, интеллигентным слюнтяем, находящимся в вечных сомнениях и решающим

вечный вопрос «Быть или не быть». У англичан Гамлет был более решительным молодым человеком. Всё-таки он без малейших сомнений заколол, как крысу, Полония, отправил на тот свет Гильденстерна и Розенкранца и одним ударом рапиры расправился со своим родным дядей — королём. Многовато покойников для рефлектирующего неврастеника, не такой уж он был слабак, этот принц Гамлет.

Козинцев как российский режиссёр тяготел к отечественной традиции, а Смоктуновский, гениальный актёр, ощущал в этой традиции фальшь и внутренне сопротивлялся режиссёрской установке.

Кино снимается не в порядке развития сюжета, а по логике производственного процесса. Сначала павильонные съёмки, потом натура или наоборот. Так что часто смерть героя снимается перед его первым свиданием. Так было и в этот раз. Фехтовальный поединок Гамлета с Лаэртом, которым кончается трагедия, снимался одним из первых. Как-то Тарасюк позвонил мне на работу и попросил срочно зайти к нему домой. «Опять что-нибудь где-нибудь брякнул», — подумал я и с тяжёлым сердцем отправился к нему. Дома у него на диване валялись две рапиры и маски, а на столе громоздились разные издания Шекспира в русских переводах вперемешку с оригиналами.

— Как ты это понимаешь? — спросил он меня, ткнув под нос сценарий с пастернаковским переводом, по которому снимался фильм. — Вот здесь: «Лаэрт ранит Гамлета, затем в схватке они меняются рапирами, Гамлет ранит Лаэрта, Лаэрт умирает». Что значит «меняются рапирами»? Они что, на базаре меняются рапирами? В каком это кодексе о поединках предусматривался обмен оружием? Или Лаэрт

решил сам обменяться? На тебе, Гамлет, мою заострённую и отравленную и дай мне твою тупую! Что за бред! Никогда не любил этого Пастернака. Мало того что из-за него столько людей посадили, включая родную дочь, так он ещё и пишет всякую чушь. Мне велели показать, как это они будут меняться оружием, а я отказался, потому что этого не могло быть никогда! Козинцев заорал, что Пастернак лучше знает, а я сказал, что он ни черта не знает и перевод его — халтура. Вот посмотри, здесь перевод Щепкиной-Куперник или английские издания. Никаких обменов. Бери рапиру, надевай маску, попробуем!

Мы попробовали. Действительно, получилась какая-то чепуха.

— А теперь выбей рапиру у меня из рук!

И после нескольких попыток я выбил её. Рапира вылетела из его руки, ударилась о потолок и упала в углу комнаты. Оттолкнув его, я бросился за ней, схватил её и отшвырнул ему свою.

— Вот именно, — заорал он торжествуя. — Выбил и завладел, по-простому, обезоружил. А могли слабый обезоружить сильного противника случайно? Да никогда! Значит, Гамлет был сильнее этого Лаэрта, сильнее как спортсмен. Пойду звонить Кеше.

И он пошёл звонить Смоктуновскому. Кеша обрадовался. Ему давно надоело, что из него хотят слепить второго князя Мышкина. Непобедимый, решительный Гамлет импонировал ему значительно больше. Всё стало на свои места. Лаэрт первым ранит Гамлета, но сам первым же и умирает. Значит, он умирает не от яда, а от смертельной раны, которую ему наносит Гамлет. Гамлет ещё ничего не знает о яде,

но видит, что рапира Лаэрта предательски заострена, что это не спортивное оружие, а орудие убийства, и он осознанно и безжалостно убивает Лаэрта. Ай да Гамлет! Говорят, что Смоктуновскому не удалось до конца убедить Козинцева, и тот так и остался верен своей «князь-мышкинской» концепции. Борьбу этих двух начал в поведении Гамлета искушённый зритель может заметить в фильме. Самого Тарасюка тоже можно в фильме увидеть. Он снят в форме одного из четырёх капитанов, которые уносят тело Гамлета. От остальных капитанов его отличает чересчур скорбное выражение физиономии, как будто он не воинский долг исполняет, а своего родственника хоронит. Сразу видно, что это не профессиональный артист. В следующий фильм Козинцева «Король Лир» Тарасюка пригласили полноправным консультантом, но в кадр уже не пустили. Да он и не рвался, так как выше головы был занят исторической достоверностью, оружием, костюмами, интерьером и даже музыкой. Со всем этим в фильме был полный порядок. Остальное нас мало интересовало, тем более что Кеша, с которым мы подружились, больше у Козинцева не снимался.

ЖАКЛИН

Получив свои три года по совокупности за критику Хрущёва, наградившего Насера Золотой Звездой Героя, и за хранение антикварного дреколя, которое органы сочли боевым оружием, пригодным для покушения на какого-нибудь члена, Тарасюк отправился по этапу. Особенно достала его Золотая Звезда Насера, который во время войны имел эсэсовский чин и числился по армии Роммеля. «Если уж так хотелось наградить эсэсовца, то лучше бы выбрали Отто Скорцени. Чем не герой! Или самому Генриху Гиммлеру посмертно. А тут заурядный вешатель из зондеркоманды!» — Всё это Тарасюк произносил громко и внятно при каждом удобном случае, в том числе и на суде. В отношении дреколя он сразу признал, что действительно готовил покушение на Ивана Грозного, хотел ткнуть его бердышом на богомолье в Лавре, для чего бердыш надраил чистолем, атрибутировал, навесил бирку и насадил на ручку от швабры. Возможность использования бердыша для покушения на члена Политбюро он категорически отрицал, так как ни одного из них ни в лицо ни по фамилии не знал.

Городской суд приговорил Тарасюка к трём годам, Верховный суд РСФСР постановил освободить за отсутствием состава преступления, но по протесту прокуратуры Верховный суд СССР оставил в силе решение горсуда. Так Тарасюк отправился сначала в Тайшет, а потом в Мордовию, откуда явился

с «заграничным» паспортом на трёх языках: русском, мордовском и эрзя. «Имя-отчество» на мордовском пишется как «тетя-лемезе». С таким паспортом можно было проживать в Саранске, но в Ленинграде граждан, у которых вместо «имя-отчество» стоит «тетя-лемезе», не прописывали. С другой стороны, «тетя» в паспорте означало, что сиделец никаких поблажек от органов не поимел.

Поработав у Козинцева на «Гамлете» и «Короле Лире» в качестве консультанта по эпохе, Тарасюк вернулся в Эрмитаж и был принят на должность такелажника и разнорабочего в отдел оружия. Вскоре он представил к защите диссертацию об атрибуции музейного новгородского пистолета, в которой доказывалось, что новгородский кузнец Первуша Исаев упредил французских мастеров аж на полстолетия в конструкции какой-то запорной собачки спускового механизма. Во время защиты, весьма гладкой и скучной, произошёл лёгкий инцидент. Один из членов учёного совета придрался к тому, что Тарасюк не является научным сотрудником, а числится на рабочей сетке.

— Разве разнорабочим, а тем более такелажникам, разрешено защищать диссертации на соискание учёной степени? — возгласил он.

Председатель совета профессор Артамонов важно ответил:

— Я понимаю природу сомнений, которые возникли у уважаемого коллеги, и хочу их развеять. Во-первых, в нашем рабоче-крестьянском государстве не ставится никаких ограничений в защите диссертаций рабочими и крестьянами. Наоборот, мы

должны приветствовать тягу к науке среди своих подсобников, и я полагаю, что соискатель, вполне в духе времени явившийся первым представителем рабочего класса на нашем совете, будет отнюдь не последним.

Члены учёного совета хмыкнули. Лицо Тарасюка выражало полное согласие с мнением председателя.

— Что же касается научной квалификации, — продолжал профессор Артамонов, — то уже один факт присуждения нашему соискателю звания Действительного Члена Международной Академии Оружия «Сан Марчано» — единственной организации, объединяющей ведущих мировых специалистов в области истории оружия, говорит сам за себя. Как мы знаем, в «Сан Марчано» входят такие признанные специалисты, как герцог Моруцци, принц Бернадотт, лорд Маунтбеттен, не говоря уже о генерале Шарле де Голле — потомке герцогов Лотарингских. Они без всяких колебаний приняли в свои ряды нашего такелажника Леонида Ильича Тарасюка. Наука свободна от сословных предрассудков, и в этом одно из её достоинств, — закончил профессор Артамонов.

Тарасюк получил искомую степень единогласно.

В 1973 году он покинул родину и вскоре обосновался в Нью-Йорке в Метрополитен-музее. Раз в неделю он вылетал в Чикаго, где работал консультантом в Музее изящных искусств. Ни одна выставка, ни один аукцион старинного оружия не проходили без его участия. Он стал одним из самых известных русских за рубежом. Понятно, что Жаклин Кеннеди-

Онассис, работавшая в издательстве «Даблдэй», не могла его не заметить. Она его и заметила. Они совместно выпустили два альбома, один по истории русского костюма, о котором, по моему мнению, Тарасюк имел самое общее представление и не мог, например, отличить охабень от армяка или зипун от тулупа. Второй альбом был тоже о чём-то сугубо русском, до которого им обоим не было никакого дела, но была исключительная радость взаимного общения, ради которой можно было составить ещё дюжину альбомов. Две незаурядные личности встретились и стали друзьями. К сожалению, радость их общения была не очень долгой. Десятого сентября 1990 года Тарасюк вместе со своей женой Ниной погиб в автокатастрофе на горной дороге французской Наварры.

Мой американский партнёр Филипп, предки которого приплыли в Америку следующим рейсом после «Мэй флауэр», имел обширные знакомства в свете. Жаклин узнала от Филиппа, что его русский партнёр был фрэндом Тарасюка, и сказала, что хочет видеть этого фрэнда, что до сих пор скорбит о смерти Леонида и её интересуют любые подробности его прежней жизни в Советском Союзе.

Шестнадцатого октября 1992 года мы встретились в её доме в Нью-Йорке на Парк-авеню. Она жила в старом неприметном трёхэтажном особняке. Из подъезда лифт поднимался прямо в прихожую, которая выглядела как обычная прихожая большой профессорской квартиры в Ленинграде. Скрипучий натёртый паркетный пол, какие-то тусклые портреты предков по стенам в облупившихся рамах, вытертые половички на полу. Из-за неплотно прикрытой

двери туалета доносилось тихое домашнее журчание унитаза. Про половички я уже знал: чем старше, тем дороже. Моя знакомая по Европейскому физическому обществу, хозяйка женевской ювелирной фирмы, купила в Стамбуле помоечный коврик по цене десяти дублёнок и была рада такой сделке. Так что всё это старьё часто бывает символом респектабельности, но неисправный бачок вряд ли нёс какой-то антикварный смысл. Тут-то я и опростоволосился. Когда я позднее пришёл на свидание к нему, то увидел, что он ровесник Великой Французской революции и, может быть, лицом к лицу встречался с другим народом Маратом или неистовым Робеспьером и с тех пор оплакивает их, оставляя рыжие подтёки на белом фаянсе.

Из прихожей через стеклянные двери были видны шкафы с книгами и какая-то антикварная мебель. Встретивший нас дворецкий или домоуправитель, — пожилой человек с бородой и усами, сухощавый и подтянутый, как гвардейский офицер, провёл нас в дальнюю комнату, домашний офис Жаклин. На рабочем высоком столе с громадной мраморной столешницей громоздились рукописи и словари. У стола стояло низкое канапе, или рекамье, — что-то выгнутое и неудобное для сидения, обитое атласом. Жаклин встретила нас стоя, в простом платье в мелкий цветочек, в вырезе платья висел маленький православный крестик. «Ну конечно, — пронеслось в голове, — ведь она венчалась с Ари по православному обряду в деревенской церкви на острове Скорпио». Жаклин протянула руку, я поднёс её к губам и ужаснулся: вместо холёной изнеженной руки я увидел изборождённую

морщинами, иссохшую старушечью лапку и вдруг испытал такую жалость к ней, что чуть не застонал. Потом я посмотрел ей в лицо — она улыбалась, но в её чёрных, широко поставленных глазах застыла какая-то мука. Филипп представил меня:

— Арсений, ленинградский друг Леонида.

Жаклин просто сказала:

— Я любила этого человека, расскажите мне о нём.

— Что именно?

— Всё, что помните. Господа желают что-нибудь выпить?

— Мне апельсинового сока, — попросил Филипп.

— А мне, — сказал я, — виски со льдом, если можно.

У Жаклин поползли вверх брови, а Филипп больно наступил мне на ногу. Хозяйка, однако, быстро справилась с неловкостью и, обратившись к дворецкому, спросила:

— Георгиу, у нас есть что-нибудь для Арсения?

— Конечно, — ответил Георгиу, — взглянул на меня с сочувствием и вышел.

Жаклин, сказав, что сейчас вернётся, тоже вышла. Филипп в ярости громко зашептал:

— Ты с ума сошёл, спрашивать у одинокой женщины, вдовы, виски со льдом, как будто ты в придорожном баре!

Жаклин, услышав из-за дверей эту тираду, вернулась и обратилась к Филиппу:

— Оставьте в покое вашего друга, пусть он чувствует себя как дома. Я прекрасно его понимаю, а вот и Георгиу.

Георгиу появился с бутылкой Джона Уокера и остальными причиндалами. Жаклин протянула бокал с соком Филиппу и дала мне тяжёлый четырёхугольный стакан для виски. Я положил лёд, налил виски, отхлебнул и начал рассказывать с самого начала. Как он ещё школьником, прочитав «Трёх мушкетёров», отправился в Эрмитаж в отдел оружия и больше уже не выходил из него, как самостоятельно выучил французский язык, чтобы говорить на языке своих героев, как получил орден Почётного Легиона, был избран академиком Международной Академии старинного оружия, о его переписке с Де Голлем, за что и схлопотал срок, и как в лагере он встретился с кардиналом Слипым.

Кардинал был главой Униатской церкви на Украине, которая, как известно, подчиняется Святому Престолу и Папе Римскому. Когда на Украине начались гонения на Униатскую церковь, кардинал ни на какие компромиссы с властями и православной церковью не пошёл. Религиозная война на Украине разгоралась. В 1956 году известный украинский писменник Ярослав Галан опубликовал во львовской газете свой знаменитый памфлет «Плюю на Папу». На папу плевать нехорошо и даже опасно, особенно на Западной Украине, где политкорректность никогда не являлась отличительной чертой общественной жизни. Кардинал отлучил Галана от церкви и предал анафеме. Религиозный фанатик заколол Галана на пороге его дома. Начались суды. Кардиналу за подстрекательство дали десять лет и отправили в Мордовию. Вместе с ним, чтобы не расставаться с пастырем и в узилище, поехали и ближайшие прихожане, быстро намотавшие себе разные сроки.

Вот там в Мордовии в одном бараке встретились и подружились два ээка — католический прелат Слипый и научный сотрудник Эрмитажа Тарасюк.

Как-то летним вечером перед отбоем кардинал сказал Тарасюку:

— Мне было видение прошлой ночью, что святой отец призвал меня к престолу и я покинул эту юдоль. А через какое-то время ты, выйдя на свободу, приехал ко мне в Ватикан со своей невестой, и я обвенчал вас в Сикстинской капелле. Вы будете жить счастливо и умрёте в один и тот же день.

И это сбылось. Когда Леонид покинул СССР, он был уже женат. Его женой стала тихая сотрудница реставрационных мастерских с громкой дворянской фамилией. Леонид написал кардиналу, и в один прекрасный день в аэропорту Фиумичино лимузин с номерами Ватикана ждал Леонида с супругой и доставил их к кардиналу. К тому времени Слипый стал одним из самых почитаемых прелатов Ватикана. Мученик за веру в середине двадцатого века — об этом папский престол мог только мечтать. Многие называли его святым, ходили слухи, что кардинал мог творить чудеса и предсказывать будущее. Он сказал Леониду:

— Я обещал вас обвенчать и должен выполнить своё обещание.

— Но мы уже женаты, — робко возразила Нина.

— Ваш безбожный советский брак в глазах церкви не имеет никакого значения.

И он обвенчал их в Сикстинской капелле.

— Как? — вскричала взволнованная Жаклин.
— Ведь они не были католиками!

— Значит, кардинал Слипый совершил ещё одно чудо, и они стали католиками в этот день.

— Как странно, — сказала Жаклин, — я ничего не слышала об этом.

Эта тема взволновала её, ведь и она, будучи католичкой, вышла замуж за Онассиса по православному обряду.

— Какая разница, — сказал я, — перед Богом все равны. И тысячу лет тому назад не было ни православных, ни католиков. Барьер между нами возвели клирики на земле, а не архангелы в небе.

— А могут ли эти барьеры быть преодолены в наше время: например, на основе экуменического движения?

— Вряд ли, — сказал я, — для этого внешняя угроза должна стать сильнее амбиций.

Потом мы снова вернулись к Леониду. Стемнело, на Парк-авеню зажглись фонари. Джонни Уокер постепенно переливался из бутылки ко мне в желудок и заглушал растущее чувство голода.

Жаклин сказала, что жизнь Леонида — это готовый сценарий и она поговорит со своими калифорнийскими родственниками о том, чтобы снять картину. Под калифорнийскими родственниками подразумевались Арнольд Шварценеггер и его жена из клана Кеннеди. Но было видно, что жизненных сил для осуществления своих идей у Жаклин осталось не много.

После почти пятичасовой беседы мы расстались. Филипп проводил меня в аэропорт, и я улетел дальше по своему маршруту.

Примерно через месяц он привёз мне в Петербург подарок от Жаклин — книгу Джона Кеннеди «Profiles in courage» с автографом, подписанным:

«Жаклин Кеннеди». Подпись очень взволновала Филиппа:

— Ты понимаешь, что она подписалась не своим настоящим, а своим прошлым именем. Она же давно Жаклин Онассис, в крайнем случае — Кеннеди-Онассис, но чтобы так — Жаклин Кеннеди — это что-то особенное. Это раритет, которому цены не будет.

Меня цена этого раритета не интересовала. Книга стоит на полке среди других и напоминает о двух дорогих мне людях.

II

САМООРГАНІЗАЦІЯ
МАТЕРІИ

ГТО ВТОРОЙ СТУПЕНИ

В душной атмосфере конца сороковых годов в университете оставалось несколько отдушин. Во-первых, это был университетский хор, который уже набирал свою всесоюзную известность, и, в отличие от самого университета, по звонку или по благу попасть в него было невозможно. Разинул рот, взял верхнее «ля» или нижнее «до» — попал. Не взял — ариведерчи.

Во-вторых, это был знаменитый драмкружок. Самым известным артистом был несравненный Игорь Горбачёв — лучший Хлестаков всех времён и народов и злоупорный хвостист философского факультета. Следующим шёл Коля Шлезингер с филфака, но из него ничего путного не вышло, кроме рядового профессора и завкафедрой. Но когда они выступали на университетских вечерах и играли сцену Хлестакова с Осипом, зал просто валился от хохота и требовал ещё и ещё. Жалко, Николай Васильевич больше ничего хорошего в «Ревизоре» для них не написал. Была ещё Эдита Пьеха, которая хвостов не имела, не считая бесконечного шлейфа поклонников.

Кроме того, была обширная вотчина спортклуба. Скромный студент юрфака, самбист, чемпион университета, Ленинграда, СССР, герой Советского Союза Лёня Голев был неизменным знаменосцем нашей колонны на многочисленных тогда спортивных праздниках. Но истинным кумиром спортклуба был чемпион Европы, спринтер Хейно Поттер. Вот уж у кого была харизма так харизма, у этого светловолосого, белозубого и синеглазого эстонца!

Раздавая таланты направо и налево, природа на нас с Сергеем Саввоном отдохнула, и мы с ним без особых надежд и перспектив аккуратно посещали секцию лёгкой атлетики. Наша любовь к лёгкой атлетике была бескорыстной и безответной, но тренеры знали, что на нас во всём, кроме выступлений на соревнованиях, можно положиться. Мы оба могли присесть на одной ноге по сорок раз и обежать, не торопясь, десять кругов вокруг Двенадцати Коллегий. Но то ли Коллегий было маловато, то ли бегать надо было быстрее, — нас ставили только в запас, на крайний случай.

Как-то раз в спортзал, который при старом режиме назывался же-де-пом (зал для игры в мяч), где мы с Сергеем отрабатывали задание — прыжок стилем Харайн с места, зашёл наш тренер Николай Александрович Зайцев с каким-то незнакомым господином.

Зайцев был классный бегун — миттельштрекер, средневик. Он лично знал братьев Знаменских, не раз бегал вместе с ними и глубоко презирал своих подопечных студентов, кроме одного — Хейно Поттера. Он спрашивал у нас с Саввоном: «Вы видели, какое у Хейно бедро? Бревно! А у вас спички. Делайте ноги, ребята. Каждый по пятьсот приседов на каждой ноге». Мы с Серёгой послушно делали ноги и потом ими толкались различными стилями.

Вот и на этот раз, оставив нас делать ноги, он ушёл в преподавательскую, но вскоре появился с этим господином. В дорогом костюме с жилетом, в золотых очках, в галстукe с зажимом и с аккуратно подстриженными усами он напоминал сэра Антони Идена. Кто не знает, это министр иностранных дел,

а впоследствии премьер-министр Англии — первый джентльмен Соединённого Королевства. Зайцев подошёл к нам, поморщился, взглянув на наши бледные ноги, ткнул пальцем в сторону господина и сказал: «Вот, примите норму ГТО второй ступени лазанья по канату шесть метров и подтягивания десять раз. Только пусть он у вас хорошо разомнётся, чтобы не потянуть мышцы». И ушёл, оставив нам протокол сдачи и господина с его жилеткой, очками и усами. В протоколе было написано: «Преп. Александров А. Д.». Я спросил у Сергея:

— Преп — это что, преподабный?

— Дурак, — сказал Сергей, — какой преподабный? Это — преподаватель, неужели не ясно?

На самом деле было не ясно. У нас на физфаке таких шикарных преподавателей не было. Преп. подошёл к нам и представился:

— Меня зовут Александр Данилович, давайте примем у меня эти нормы, а то без них не оформляют звание.

Вот тебе и на, пронеслось у нас обоих в головах. Без ГТО второй ступени уже и званий не дают, дожили.

Александров А. Д. снял пиджак, аккуратно повесил его на брусья, ослабил галстук, жилетку снимать не стал и спросил:

— Кто-нибудь может показать, как это залезать по канату на ГТО второй ступени?

Мы переглянулись.

— Давай я, — сказал Сергей.

— Давай, — согласился я с облегчением.

Сергей поплевал на руки, подпрыгнул, схватился за канат и зажал его между пяткой одной ноги

и голеностопом другой. Подтянулся, продвинулся вверх по канату на два захвата и соскользнул вниз.

— В таком вот роде, — сказал Сергей.

Преп. Александров озадаченно посмотрел на него и спросил:

— А без ног никак нельзя? Как-то это всё витиевато получается, и обувь снимать не хочется.

Мы посмотрели на обувь. Модная, лакированная, снимать, надевать — одна морока.

— Без опоры на ноги очень трудно переставлять руки наверх, — объяснил этому жилету в очках Сергей, — так и останетесь висеть на одном месте.

— Вы полагаете? — спросил А. Д. — А если у меня получится, вы мне зачтёте?

— Зачтём, зачтём, лишь бы вы оказались на отметке шесть метров, — милостиво разрешил Сергей.

Въедливый А. Д. снова спросил:

— А плевать на руки обязательно? Мне бы не хотелось.

Он вынул белоснежный носовой платок из кармана, тщательно вытер руки, поправил галстук, подошёл к канату, подпрыгнул, ухватился за него и стал довольно быстро подниматься, перебирая руками, левой — правой, левой — правой. Чтобы не смять брюки, он вытянул ноги в положении «угол». То есть он просто пошел по канату вверх без видимых усилий. У нас отвалились челюсти. Повисев некоторое время под потолком, он так же спокойно спустился вниз.

— Вы уж извините, — сказал он, — вот, как умею. Где тут у вас перекладина? Десять раз?

— Не надо перекладину! — закричали мы наперебой. — Какая там перекладина!

— Ну хорошо, — сказал он, — приятно было познакомиться. Приходите к нам на гору ВЦСПС в Кавголово в воскресенье.

И он ушёл, а мы понесли протокол Зайцеву.

— Николай Александрович, зачем ему это ГТО второй ступени? Он сказал — для звания.

— Ну да, — подтвердил Зайцев, — для звания мастера спорта по альпинизму. Он у нас сейчас оформляется, а без ГТО второй ступени нельзя. Ну как он, нормально сдал?

— Не очень, — сказал Сергей, — у него техника хромает. Он ногами канат не фиксирует.

— А как же он забрался?

— На руках. Одной, другой и — до верха.

— Ничего себе, даёт профессор. Я слышал, что он через письменный стол с места перепрыгивает, но чтоб на одних руках по канату! Далеко пойдёт.

И он пошёл далеко, став академиком и нашим любимым ректором. А Саввон через два года получил звание мастера спорта по альпинизму, а затем стал председателем Ленинградской федерации. Я оказался менее впечатлительным и ни на какие вершины так никогда и не залез.

МАЙК — ПЛАНТАТОР

Майк учился в военно-морском инженерно-техническом училище — ВИТУ. Каким ветром его туда занесло — ума не приложу. Мамаша у него была видным деятелем в Ленинградском союзе писателей и как могла проводила партийно-профсоюзную линию на то, чтобы у товарищей писателей, ещё не выгнанных из Союза, было всего вдоволь, в рамках разумного: и публикаций в толстых журналах, и поездок по городам и весям, и путёвок в Дома отдыха. Раз в неделю Майка отпускали из казармы. Он приходил домой, снимал с себя всё синее и полосатое — штаны без пуговиц — клёш, рубашку без воротника — фланелевку, воротник без рубашки — гюйс, фуражку без козырька — бескозырку. Всю эту морскую атрибутику он забрасывал подальше в угол, надевал узкие горчичные «дудочки», клетчатый пиджак, повязывал шею косынкой или накидывал на неё кожаный витой шнурок с серебряными кончиками, водружал на голову широкополую шляпу — стетсон — цвета прелого сена и выходил прошвырнуться на Бродвей. Там уже кучковались друзья и приспешники: Файма по прозвищу Аскарیدا в обмороке, Же-Ба-Ри — Культурист, Боб — Граф парижский, Кира Набоков — дальний родственник никому не известного писателя. Навстречу прогуливались другие узкобрючники — Юра Надсон, он же Дзержинский, Чу-Чу-буги — танцор Владимир Винниченко и Жора Патефон — знаменитый коллекционер джазовых пластинок. Всё это были стилиаги.

Большинство из них уже повыгнали из соответствующих учебных заведений, а некоторые там никогда и не побывали. Я как реальный студент третьего курса университета был среди них белой вороной, пока не довёл свои штаны до 22 нормативных сантиметров и не купил на барахолке солдатские американские ботинки на двухдюймовой подошве. Тогда они, а заодно и комсомольские патрули начали меня замечать.

Первый же разговор с Майком озадачил меня.

— «For whom the bell tolls?» («По ком звонит колокол?») Хэма читал?

— Нет, его же не издавали.

— Ясно, — сказал Майк, — а Дос-Пасоса «42-я параллель»?

Я не знал, кто такой Дос-Пасос и что находится на 42-й параллели. Я знал только про 42-ю улицу, но это не одно и то же. Майк посмотрел на меня с грустью:

— О Селине можно не спрашивать, «Путешествие на край ночи»?

Я обречённо кивнул головой.

— Запишешься в библиотеку Дома учёных, — сказал Майк. — Там дают иногда оригиналы своим людям.

Предстояло попасть в Дом учёных, стать там своим человеком, да ещё заодно научиться читать в подлинниках Хемингуэя, Дос-Пасоса, Скотта Фитцджеральда, Джеймса Джойса и многих других пресловутых и неизведанных. Майк думал, что со своим «For whom the bell tolls?» он отделался от меня раз и навсегда, но когда через пару месяцев я между делом процитировал оттуда эпиграф Джона Донна

целиком, Майк напрягся. Во-первых, он плохо понимал английский и читал всех этих авторов в служебных переводах, которые доставал через мамашу, а во-вторых, ему не понравилось, что я оказался не так прост, как выглядел с первого взгляда. Но это не отразилось на моём отношении к нему — восторженном и почтительном. Майк, сам не ведая того, стал для меня гуру. Его жизнь в училище мало отличалась от моей в университете и была мне неинтересна, но его жизнь в современной литературе, его запанибратские ровные отношения со стариной Хэмом, его чувство стиля и языка вызывали у меня восхищение, и я наслаждался общением с ним, ловил каждое его слово, каждое замечание, стараясь не очень-то выдать своё отношение робкого ученика к любимому учителю. Что бы я был без Майка? Заурядный советский студент с куриным кругозором, уже не оболваненный пропагандой, но ещё не достигший восприятия внешнего мира хотя бы на уровне Джорджа Оруэлла. За Оруэлла тогда давали до пяти лет, в английском оригинале меньше, особенно если притвориться, что ничего по-английски не понимаешь и книжка попала случайно для сдачи в макулатуру. Как писатель Оруэлл на меня большого впечатления не произвёл, о чём я и сказал Майку.

— А он и не писатель, — подтвердил Майк. — Но хоть по башке-то получил?

— Получил, — согласился я.

— Ну и то слава богу.

Иногда после моей стипендии мы отправлялись в ресторан — «Европу» или «Асторию». В «Европе» на гитаре играл Джон Данкер, а на саксофоне Орест Кондат. В «Астории» за фортепьяно сидел Анатолий

Кальварский и от души импровизировал би-боп, закрыв глаза. И там и там где-нибудь за угловым столиком сидели «лимонадники» и посматривали по сторонам. Мы их мало интересовали. Для нас были припасены комсомольские патрули, ОСОДМИЛ и прочие волонтёры органов общественного порядка. Иногда встревала администрация и знакомый мэтр просил нас покинуть заведение за искажение рисунка танца. Это обычно бывало, когда Чу-Чу-бути демонстрировал нам и редким иностранцам что-нибудь из своих домашних заготовок на темы чарльстона или рок-н-ролла. Администрация, в общем, относилась к нам снисходительно, потому что мы не буянили, не скандалили, но привлекали всеобщее внимание своим видом, манерой танцевать и, вообще, повышали рейтинг заведения, как сейчас говорят, потому что многие лохи с деньгами приходили специально по субботам в «Европу», чтобы поглазеть на стилияг, послушать джаз, вкусить, так сказать, запретный плод. Комсомольские патрули обычно ошивались на улице у входа. Но мы с ними были предельно вежливы, переводили Майку, косившему под иностранца, с русского на английский их вопросы, сажали его в такси, прощались с патрулём и дружной стайкой уходили в сторону Невского.

На факультете по одной из наводок патруля меня как-то вызвали на бюро и спросили, правда ли, что я хожу в ресторан. Я сказал, что истинная правда и что хорошо бы нам туда сходить всем бюро как-нибудь после стипендии и от души поплясать.

— Я ведь не в буржуазный вертеп хожу, а в наше советское предприятие общественного питания.

Бюро было озадачено и на всякий случай приговорило меня к общественной работе в подшефном спецдетдоме. Вскоре там чарльстон плясали даже в младшей группе, а музыкально-хореографическая композиция «Мистер Твистер» получила грамоту на конкурсе детских учреждений для умственно отсталых детей.

Тем временем общая атмосфера сгущалась. Выгонять и сажать стали чаще. И когда Жора-Патефон принёс мне на сохранение два чемодана своих пластинок, опасаясь неминуемого обыска, с моей мамашей случилась истерика: у неё ещё не выветрилось из памяти, как в 1938 после обыска забрали моего отца. (Никакого криминала за ним не нашли, кроме того, что он окончил с красным дипломом Киевский Политехнический институт, где сопромат и теорию механизмов преподавали жуткие враги народа, а также хранил подшивки старых «Огоньков» с их фотографиями. Отец оправдывался тем, что ни дачи, ни печи у нас нет, чтобы сжечь эти зловерные журналы, а отдавать неизвестно кому не хотел. Подержав несколько дней с другими инженерами — героями первых пятилеток, его отпустили, но с руководящей должности вышибли, чему он был очень рад.) Теперь сын прячет под диван явный криминал, и, наверное, его нарочно подставили, чтобы потом посадить. Через некоторое время Жора забрал чемоданы и увёз в неизвестном направлении. Спрятал под кустом, как он сам сказал.

Больше других доставалось тогда художникам. Их выгоняли из Академии и из Мухи, и устраивали им драки на улице, когда при первой же оплеухе из-за угла выезжала милицейская «раковая шейка»,

хватала участников, увозила в участок, откуда нападавшие отправлялись дальше по месту службы, а пострадавший художник как злостный хулиган изолировался от общества на срок в зависимости от глубины игнорирования принципов социалистического реализма. Это было золотое время для акул-собирателей. Будущие знаменитые неформалы шемякины и богомолы шли просто даром или за какие-то постыдные гроши. Из глупости или из-за каких-то идиотских принципов я у них картины не покупал и не выпрашивал, кроме одной-единственной акварели Аксёнова. Она мне очень нравилась, и я её назвал «Бенвенуто Челлини и его брат Вася». У Аксёнова она, по-моему, называлась «Старухи под дождём».

Художники были всегда голодными, и я по возможности подкармливал их. Много позднее я также выручал писателей и молодых режиссёров, у которых всегда горела душа после вчерашнего. Почему-то я всегда попадался им именно на следующий день. Но я понимал, что участие в обществе отверженных и непонятых требует от меня жертв, и безропотно вносил свою лепту, подобно Левию Матвею, который вначале примкнул к этим оборванцам в основном из любопытства, а потом проникся всей душой.

Приближалось окончание университета. Экспериментальный диплом физфака требовал всего времени. Я сидел за железной дверью и делал нечто, чем очень интересовалось руководство кафедры и какие-то далёкие чины. Встречаться с единобрючниками стало совершенно некогда. И тут я узнал, что Майк, плавая на парусном ботике по Лемболовскому озеру вместе со своей мамашей и дочерью

известного писателя, утонул. Налетел шквал, ботик перевернуло, Майк пытался спасти женщин, но не спас и утонул вместе с ними. Во мне всё оборвалось. Вот тут-то колокол Джона Донна и зазвонил во всю мощь. Вся наша жизнь — это сплошная череда невосполнимых утрат. И так до самого конца, пока мы сами не станем невосполнимой утратой хотя бы для кого-нибудь.

ИДЕАЛИЗМ В ФИЗИКЕ

В отличие от музыки, живописи, литературы и генетики, в которых хорошо разбирался любой недоучившийся семинарист, чтобы устроить погром в физике, необходимо было найти на роль громил профессиональных физиков или, по крайней мере, философов, занимающихся физикой, этаких диалектических материалистов — продолжателей дела Энгельса. В физике сами собой напрашивались на погром теория относительности и принцип неопределённости. От одних этих терминов уже должно было воротить настоящего материалиста. Что это ещё за относительность, когда истина абсолютна, а неопределённость — вообще буржуазное измышление с корпускулярно-волновым дуализмом в придачу. То этот электрон — частица, то он волна, да ещё непонятно где находится в данный момент. Физиков это почему-то не волновало, они делали свою бомбу, но идеологический отдел ЦК весь исходил злобой. За всем этим была большая политика. Сделает Берия бомбу и пошлёт товарища Жданова куда подальше, а не сделает, так товарищ Жданов, пожалуй, сумеет указать товарищу Берия на его идеологические ошибки. Пока что на всех физических факультетах и в институтах раз в месяц шли обязательные дискуссии по искоренению идеализма. У нас на физфаке за неимением своих громил выступал пришлый — некто Владимир Львов. Откуда он взялся, никто толком не знал, но писал он много, желчно и на постулаты замахивался без зазрения

совести. Как-то после одной из его самых воинственных эскапад против квантовой механики председатель семинара профессор Мясников обратился к высшему авторитету, почти господа богу в мире квантовой механики академику В. А. Фоку с вопросом, что он думает о высказываниях Львова. Владимир Александрович вставил в ухо слуховой аппарат и сказал, что во время выступления товарища Львова у него аппарат был выключен и он ничего по этому поводу сказать не может, а вообще его мнение широко известно по статьям за последние тридцать лет, причём целый ряд работ получил экспериментальное подтверждение.

— Кажется, практика является критерием истины, так ведь у вас говорится? — спросил он, обращаясь к Львову. — Следовательно, основные постулаты квантовой механики истине не противоречат, и ревизия их является в чём-то делом вредным, так как отнимает время, необходимое для научной работы.

Сказав это, Владимир Александрович снова выключил аппарат и погрузился в собственные размышления.

В конце концов несколько физиков побойчее обратились к И. В. Курчатову и поставили вопрос ребром: или мы будем бомбу делать, или нас будут за нервы дёргать.

— Я лично в разных университетах не учился, — кричал, по слухам, Яков Борисович Зельдович в разговоре с Курчатовым, — всё моё образование, как вы знаете, четыре класса хедера в Бердичеве, и мы там ничего, кроме талмуда, не проходили, всем остальным я занимался сам. Вы хотите, чтобы я это всё бросил и снова взялся уже за ваш советский талмуд?

Нет, Игорь Васильевич этого не хотел, и Лаврентий Павлович не хотел, и Иосиф Виссарионович тоже не хотел, и он попросил Андрея Александровича* оставить физиков в покое, пока. Не мешать им выполнять первоочередную задачу. Андрею Александровичу деваться было некуда, и он согласился.

Очень скоро эта новость разнеслась по всему физическому сообществу. Мне опять повезло. В день философского семинара я был чем-то вроде дежурного по факультету. На физфак уже без пропуска не пускали. Пришёл Львов, его остановили:

— Ваш пропуск?

— Какой пропуск? Я Львов, иду на семинар.

— На вас заявка есть?

— На меня должно быть всё, что полагается.

Вахтёр порылся в заявках, ничего не нашёл, попросил:

— Отойдите, гражданин, на вас заявки нет. Львов взорвался:

— А вы можете позвонить или кого-нибудь послать в Большую Физическую к секретарю семинара профессору Волькенштейну?

— Сходи, пожалуйста, — попросил меня вахтёр, — может, на самом деле, какая накладка вышла, вишь, как разоряется!

Я в три прыжка влетел в Большую Физическую, подскочил к Волькенштейну и говорю ему:

— Михаил Владимирович, там внизу Львов в истерике бьётся, что его не пускают. Может, спуститесь, распорядитесь. И Михаил Владимирович радостно зарокотал:

* А. А. Жданов.

— В истерике, на семинар? Сейчас я ему покажу семинаррр!

Мы спустились вниз. Львов рванулся к Волькенштейну, но тот величественным движением руки отстранил его и, обращаясь к вахтёру и проходящим студентам, изрёк:

— Вы правильно сделали, что не пустили этого человека. Кто такой Львов? Это и не физик и не философ, ему не место на наших семинарах по философии в физике. Запомните этого человека и никогда не пускайте его в это здание. И мы пошли с Михаилом Владимировичем на семинар. Обернувшись я увидел, как вахтёр выталкивает Львова в дверь, приговаривая:

— Львов, львов, видали мы таких львов. Нечего тут цепляться за ручки.

Так у нас на физфаке ЛГУ была закончена борьба с идеализмом в физике.

СТАРШИНА ЩЕРБИНА

После окончания четвёртого курса нас, военнo-обязанных студентов физфака, отправили в летние лагеря для прохождения практики перед присвоением офицерских званий. Тогда, в 1950 году, товарищ Сталин был ещё жив и товарищ Берия ещё не знал, что жить ему осталось только три года, и во всём был полный порядок. Студенты в летних лагерях считались призванными в армию на 30 дней, гражданская юрисдикция на них не распространялась, и за разные провинности они могли привлекаться к военному суду, направляться в штрафбат и так далее, вплоть до высшей меры. Но для студентов высшей мерой казалось отчисление из университета и прохождение полного срока службы — в пехоте четыре года и во флоте пять лет. Один из наших приятелей, отчисленный с третьего курса, уже ломал службу в стройбате на севере, и по его письмам мы хорошо представляли, что теоретическая механика в Ленинграде гораздо лучше, чем строительная механика в Анадыре. Кроме того, на военной кафедре нас лишний раз предупредили, что на 30 дней мы не студенты, а солдаты, и наш отец не декан, а старшина роты, который может объявить вплоть до пяти нарядов или накатать такую телегу, что вовек из грязи не вытащишься.

С тем мы и поехали в Лугу, в летние лагеря прославленного Артиллерийского училища. Для меня это было как бы возвращение в детство, в мою спецшколу ВВС. Военная форма, кирзовые сапоги, портянки, построения, строевая подготовка утром

и вечером, бодрые песни на марше, сон в дырявых и продуваемых палатках под комариный звон. Но для многих лагерная жизнь оказалась шоком. Нет, среди нас не было особенных неженков, и все прошли войну с её тяготами и неустроенным бытом, но для тех, кто не знал казармы, испытание оказалось серьезнее, чем они ожидали.

Неприятности начались сразу же на другой день по приезде, после того как мы облачились в выданное обмундирование БУ третьего срока. Старшина роты Щербина построил нас, скомандовал «Смирно!» и стал каждого внимательно разглядывать. На его выразительном лице заправского старшины блуждало выражение нескрываемого презрения. Полроты были в очках, что само по себе вызывало отвращение. У некоторых нечёсанные лохмы торчали из-под пилоток, гимнастёрки нависали над пузом, тонкие и кривые ножки наших главных умников болтались в разношенных кирзовых сапогах. И вот из этих недоносков старшине Щербине предстояло сделать бравых солдат и подготовить их к получению офицерского звания через месяц. Сам старшина готовился стать лейтенантом только на будущий год. Он ткнул пальцем в одного кучерявого и рявкнул:

— Фамилие!

Кучерявый прокричал в ответ:

— Безверхний!

— Без чего? — удивился старшина.

— Не без чего, а студент Безверхний.

— Я тебе покажу, студент, — обозлился ещё больше старшина, — здесь ты не студент, а годный необученный. Без чего ты там, повтори!

И Эмиль Безверхний, чуть не плача от стыда и унижения, повторил:

— Негодно обученный Безверхний!

Я подумал: сейчас начнётся.

— Рядовой Безверхний, выйти из строя!

Эмиль сделал шаг вперёд с правой ноги, забыв, что в армии всё начинается слева.

— Становитесь в строй!

Эмиль попятился назад и встал на прежнее место. А надо было повернуться кругом, сделать шаг вперёд с левой ноги, встать на своё место и снова сделать поворот кругом.

— Так, — сказал старшина, — интересно.

Перевёл глаза на следующего. Следующий был я.

— Фамилие! Выйти из строя, войти в строй! Направо! Налеву! Кругом! Строевым шагом марш!

Прижав руки к бёдрам и высоко поднимая нестигающиеся ноги, я промаршировал несколько шагов.

— Стый! Кругом! Будешь меня приветствовать. Шагом марш!

Я сделал три нормальных шага, затем перешёл на строевой, прижал левую руку к бедру, вскинул правую к пилотке, повернул в его сторону подбородок и начал есть глазами. Он небрежно вскинул руку к виску, отдал приветствие, скомандовал:

— Стый! Становись в строй!

Потом подошёл поближе, спросил:

— Ты где проходил строевую подготовку?

— В Казанской спецшколе ВВС № 9, товарищ старшина!

— А как ты сюда попал? — кивнул он головой на наш строй.

— По недоразумению, товарищ старшина!
В строю захихикали.

— Разговорчики! — рявкнул старшина. — То-то, я смотрю, что вы все здесь по недоразумению, но ничего, я вас быстро вразумлю. На первый-второй рассчитайся!

После третьей попытки мы рассчитались. Первые номера отправились со Щербиной на плац. Вторые номера остались со мной осваивать повороты и команды. Лучше всего у нас получалась команда «вольно», её в основном мы и выполняли до возвращения первых номеров со Щербиной. Гимнастёрки у первых номеров были мокрые от пота, лица красные и измученные. По щекам Эмиля Безверхнего текли слёзы. После этого мы сменились: вторые номера ушли на муку со Щербиной, а мы стали тренировать команды «вольно» и «оправиться».

По возвращении вторых номеров Щербина построил роту, скомандовал «смирно», вызвал меня из строя и объявил два наряда вне очереди за халатное отношение к выполнению задания по строевой подготовке личного состава. Во время выполнения наряда вне очереди на кухне ко мне пришёл Щербина и сказал:

— Ты не обижайся, служба есть служба. Не могу же я потакать тому, что ты разрешаешь им фило-
нить.

— Не расстраивайся, старшина, каждый делает своё дело. Ты своё, а я своё. Не могу же я рычать на своих товарищей, каждый из которых в десять раз умнее меня.

— Да, — сказал он, — ну ты и влип, шёл бы лучше к нам.

— Уже поздно, — ответил я, — знать, не судьба.

На следующий день Щербина, отправив рядового Безверхнего в парикмахерскую, принялся за рядового Корепанова. Витя Корепанов был человек деревенский, приехал в Ленинград из далёкой Удмуртии. Гранит науки давался ему нелегко, но он грыз его с невероятным упорством и догрыз до пятого курса. Все уважали Витю за его трудолюбие, безукоризненную честность и природную доброту. Был он несуетлив и немногословен. Печатать строевой шаг, который в девятнадцатом веке назывался гусиным, есть глазами начальство и лихо щёлкать каблуками было ему чуждо и противно. Повозившись с ним полчаса, Щербина, раскрасневшись от усердия и злости, построил роту и объявил рядовому Корепанову наряд вне очереди. Рядовой Корепанов выслушал и равнодушно молчал.

— Что надо ответить?! — взревел Щербина.

Ответить надо было: «Есть, один наряд вне очереди», но рядовой Корепанов вместо этого сказал с сожалением:

— Мудак ты, Щербина!

Мы все оцепенели. Щербина открыл рот, закрыл, снова открыл и скомандовал:

— Разойдись!

Он вытащил из своего планшета блокнот, посмотрел на часы, что-то записал в блокноте, повернулся и пошёл к штабу. Мы сгрудились вокруг Вити. У каждого была одна и та же мысль: «Что же теперь с ним будет?». Послonyaвшись до конца строевого часа, мы построились как сумели и отправились на стрельбище. Вскоре туда пришёл дежурный по штабу и спросил:

— Члены комсомольского бюро есть среди вас?

Члены нашлись и отправились с дежурным в штаб. К обеду они появились в столовой мрачнее мрачного, сообщили, что после самоподготовки будет комсомольское собрание. На собрании было объявлено, что командование по рапорту старшины приняло решение рядового Корепанова отдать под суд за невыполнение приказа и оскорбление старшего по званию. Вместо диплома физика и звания лейтенанта перед Витей замаячил штрафбат. Сам Витя отнёсся к происходящему индифферентно и сказал:

— Штрафбат так штрафбат, не хуже, чем в колхозе. По крайней мере есть каждый день дают и работа понятная.

На собрании ещё долго галдели, а я отправился на кухню выполнять свой второй наряд. Я чувствовал, что старшина Щербина снова придёт после отбоя. И он пришёл. Совсем не бравый, а ссутулившийся и поникший. Он сел рядом.

— Много тебе ещё осталось?

Я показал на целый котёл нечищенной картошки.

— До подъёма хватит, — успокоил он меня. — А кто этот? Он на вас вроде и непохожий.

— Он и есть непохожий, крестьянин он, колхозник из Удмуртии. На нём земля держится, а ты ему — «подбери задницу, шевели мослами». Он ведь шевельнёт, от тебя мокрого места не останется, хоть ты и ГТО второй ступени.

— Так ведь под трибунал пойдёт!

— Ну не боится он твоего трибунала, не боится!

— А ты боишься?

— А я боюсь, и все боится, а он не боится, потому что мужик. Ты сам-то из каких будешь?

— Я из военных.

— А, из этих, «не умеешь — научим, не хочешь — заставим». Не всех можно заставить. Объяснить — всем, а заставить — не всех. Ещё Суворов говорил: «Каждый солдат должен понимать свой маневр». Потому он и был Суворов, а ты как есть старшина Щербина, так им и останешься, только звёздочек тебе повесят, а в первом же бою и ухлопают.

Он вздрогнул:

— Кто?

— А эти самые, задницы подберут и убьют.

— Ты откуда знаешь?

— Отец рассказывал, он солдатом был.

— Мне тоже отец рассказывал, но про другое.

— Вот видишь, солдатская правда от командирской отличается, а солдат-то больше.

Щербина задумался:

— А у генералов, выходит, совсем своя.

— Какая тебе разница, твоё дело «не хочешь — заставим», а не хочешь заставлять, тогда сам в штрафбат пойдёшь вслед за Витей. Там и встретитесь.

Щербина воткнулся в меня взглядом:

— Ты это, кончай травить меня.

— А я и не травлю, сам напросился.

— Он извиняться будет?

— И не надейся.

— Что же теперь будет?

— Он пойдёт в штрафбат, а ты так и останешься тем, кем он тебя назвал. Так за тобой это и потянет. Тебя ведь тоже никто за руку не тянул рапорты

писать. Назначил бы пять нарядов и спал бы себе спокойно, пока он тут пять ночей картошку чистит.

— Ну тебя к чёрту, — сказал старшина и поплёлся в свою палатку.

Ситуация с Витей осложнялась ещё и тем, что не был он комсомольцем и нельзя было ему строга-ча вклеить. Кто-то посоветовал — срочно принять и тут же вклеить, но это уже был полный бред, и коллективный разум помутился.

Тем временем занятия продолжались, Витю на губу не отволокли, старшина перестал называть задницу задницей и переименовал её в таз. Первый раз, когда он попросил подобрать его, все стали шарить глазами, где он лежит, чтобы исполнить команду. Пришлось старшине вызвать из строя рядового Гусева, похлопать по данному месту и объяснить, что это не ж..., не задница, не курдюк, а таз.

— Так и запомните с трёх раз, — сказал он. — А это, — показал он с другой стороны, — не пузо, не брюхо, не арбуз, а живот. Равняться на него не надо, равняться надо на грудь четвёртого человека, не первого попавшегося, а четвёртого, и нечего тут лыбиться, то есть улыбаться. Всё понятно?

— Так точно, — рявкнули мы.

— Вот и хорошо, что такие понятливые. А теперь на месте шагом марш! Запевай!

Это был удар ниже пояса. Из всех песен, которые мы могли спеть сообща, был только ёксель-моксель, и мы начали:

Ко мне подходит санитарка, звать Тамарка:
Давай те раны первяжу, ёксель-моксель,
И в санитарную повозку-студебекер
С собою рядом положу.

Дальше шло уже коллективное дисциплинарное взыскание, но старшина не испугался, вывел нас за территорию лагеря, и там мы уже грянули во все сто двадцать глоток:

Летят по небу самолёты-бомбовозы,
ёксель-моксель.

И далее по тексту. По окончании песни старшина сказал:

— А теперь чтобы к завтрашнему дню выучить такую, чтобы можно было в лагере спеть, ёксель-моксель, понятно?

— Так точно, — взревели мы.

К концу месяца, к собственному удивлению, мы уже сносно преодолевали полосу препятствий, обозначали прицеливание на «хорошо» и «отлично», кидали боевую гранату в окоп с чучелом и во всю глотку орали строевые песни.

Артиллеристы, Сталин дал приказ...

Витя Корепанов очень громко и уместно свистел разбойничьим свистом на припеве. Только Володя Меркулов заснул на боевых стрельбах. Когда его нашли спящим на капонире, он открыл глаза и сказал:

— А чего такого, они стреляют так однообразно.

Они — это стомиллиметровые пушки-гаубицы. От звука их выстрелов на расстоянии полкилометра вылетают стёкла в домах, но разбудить Володю на расстоянии пятидесяти шагов они не смогли. Володя получил последний наряд вне очереди, но исполнить его уже не успел. Мы уезжали из лагерей, пропылённые ветром, пропахшие пороховой гарью, уже не годные необученные, а офицеры запаса.

Старшина Щербина как младший по званию отдал нам честь на перроне.

Через год мы пришли на выпускной вечер в Артиллерийское училище, как лейтенанты к лейтенантам, и сфотографировались со старшиной на память. С нами был и Витя Корепанов.

ДУХ ФИЗТЕХА

В 1919 году Физтех открыли в бывшей богадельне для психических больных, или, по-простому, в дурдоме. Открыли его без освящения, без молитв. Батюшки стены не кропили, с крестами не ходили, и буйный, мятежный, непокорный дух, накопленный годами, остался в старом здании, в его стенах, чердаках и подвалах. Этот дух передавался живым, заставляя их совершать безрассудные поступки и высказывать бредовые идеи. Ничего общего с благонравными традициями физфака университета. Казалось бы, зачем мэнэсу Ильюше Усыскину был нужен стратостат? Кто его туда запихнул? Дух Физтеха. Кто в землянке под Кавговоло толкал под руку младшего лейтенанта Флёрова писать письма Сталину об атомной бомбе? Дух Физтеха. А когда водолазный старшина на Балтике отказался идти на погружение и отцеплять магнитную мину от днища корабля, младший научный сотрудник Тучкевич напялил на себя всю эту свинцово-резиновую сбрую, подчиняясь Духу Физтеха, пошёл на дно и отцепил. В блокаду Пал Палыч Кобеко и хрупкие физтеховские женщины еженощно под обстрелом устанавливали ледомерные приборы для прокладывания трасс на Ладоге. Дух Физтеха незримо поддерживал и охранял их.

В наше негероическое время Дух Физтеха подталкивал уже к спортивным безумствам и вопиющим нарушениям техники безопасности. То завлаб Дунаев с мэнэсом Миршановым крутят солнце на штанге высокого напряжения в 40 000 вольт, то старший лаборант Степанов хватает в охалку горящий

химический реактор с гремучей смесью и выкидывается через окно на газон. Покрутившись пару секунд среди настурций, он взрывается, разнося вдребезги чугунный забор. Подвиг Степанова вскоре повторили Булыгинский с Вильджюнасом, но у них уже был сорвавшийся с резьбы водородный баллон высокого давления на 140 литров. Если бы они его не вынесли во двор второго павильона, где он ещё несколько минут шипел, как издыхающий удав, то рассказывать об этом ЧП уже было бы некому. Опять Дух Физтеха сподвигнул их и уберёт.

Ни одно рискованное начинание не проходило мимо Физтеха. Здесь начинали клеить первые гидрокостюмы и мастерить первые акваланги, а потом нырять с ними в Охотское море за осьминогами. Здесь образовался первый воднолыжный клуб в Ленинграде, и когда физтеховские лыжники лавировали между речными трамваями и опорами невских мостов или со скоростью 50 узлов тряслись в пене волн от торпедного катера на празднике ВМФ, то это тоже толкал их в спину и свистел вдогонку Дух Физтеха. Правда, после очередного морского парада адмирал, глотая валлидол, сказал: «Чтобы больше я этих психов на Неве не видел!» И нас выгнали с акватории Невской губы.

Далее читатель найдёт несколько заметок о наиболее известных физтеховских экстремалах. Эти рассказы не претендуют на художественность, их главное достоинство — достоверность. Автор включил в эту серию и одну историю из собственной биографии, но отнюдь не для того, чтобы примазаться к настоящим героям, а, наоборот, чтобы показать, что даже самого заурядного и не самого храброго сотрудника Дух Физтеха мог заставить поступать адекватно в довольно критической ситуации.

ВИКТОР ОВСЯННИКОВ

Настоящим экстремалом был и Виктор Овсянников. Как и многие физики, он был альпинист и горнолыжник. Но и лазание в гору и спуск с неё хороши, но чего-то не хватало. Беспокойная душа его жаждала чего-нибудь особенного. И особенное явилось, когда родился дельтапланеризм. Овсянников на своей малогабаритной кухне выкроил из подсобных материалов дельтаплан, сшил для него мешок и отправился на Эльбрус. В отличие от сэра Хиллари и Норгея Тенцинга Овсянников не стал долго ждать, когда на Эльбрусе установится хорошая погода, а с ходу, проскочив приют 11, полез дальше на вершину один, с лыжами, рюкзаком и дельтапланом. Поднявшись на вершину Эльбруса, он не стал расслабляться, а принялся собирать дельтаплан. Собрав его, он с сожалением сложил лишнее снаряжение — пуховик, горные ботинки, верёвки, железо, продукты — в рюкзак, написал записку, что, мол, побывал, оставил, улетел и просил вернуть по возможности. Затем надел лыжи, выпустил с промежутками в 30 секунд три зелёные ракеты, оттолкнулся и помчался вниз с Эльбруса с дельтапланом за спиной. Дельтаплан парусил, но поднимать Овсянникова вверх не желал. Что-то у него не ладилось с подъёмной силой Жуковского. Овсянников проскочил первый бугор, за вторым бугром снежный склон упирался в торчащую скалу. Через неё — либо перелететь, либо о неё разбиться. Овсянников подпрыгнул на бугре, его подхватило и понесло над скалой. До приюта 11 он летел как горный орёл. Сердце у него

разрывалось от счастья. На приюте целая толпа, заинтригованная зелёными ракетами, глазела в сторону вершины на какую-то козявку, болтавшуюся под белой простыней. Через минуту козявка превратилась в лыжника, а простыня — в дельтаплан. Овсянников заложил вираж, сделал круг над изумлённой толпой и приземлился перед приютом. Начальник базы Магомет, обуреваемый разнообразными чувствами, равнулся к Овсянникову и заорал на него:

— Ты откуда взялся?

— С вершины, — скромно ответил Виктор.

— Что, с самой вершины, один? Почему не предупредил?

— Я дал три зелёных ракеты, это сигнал предупреждения, — объяснил Виктор, — там наверху я оставил рюкзак и записку.

До Магомета наконец дошло, что на его глазах был установлен мировой рекорд свободного полёта с высоты 5640 метров и перед ним стоит и оправдывается сам мировой рекордсмен.

— Пошли давать телеграмму в Федерацию, — сказал Магомет. — Может, в это самое время какой-нибудь другой псих летит с Монблана или Маттерхорна.

Мировой рекорд Овсянникова долго не был никем побит. На самом деле он не побит и до настоящего времени. Потому что никому в голову не пришло залезать на 5600 м в одиночку с грузом в 40 кг без страховки и связи. Функционеры из Совкомспорта написали, что свой рекордный полёт Овсянников посвящает очередному съезду партии и т. д. Сам Овсянников к этому посвящению никакого отношения не имел и ничего об этом не знал. Он снова сидел у себя на кухне и, как Дедал и Икар вместе взятые, мастерил себе новые крылья.

БОРИС ПОЛОСКИН

Наверное, одним из самых известных наших экстремалов был Борис Полоскин. Он на Эверест не покушался, с Казбека на простыне не летал. Он был турист и справедливо полагал, что шею себе можно свернуть и на обычном туристском маршруте. Такая возможность ему представилась, когда в горах их с товарищем накрыла лавина. Сломал он не шею, а два ребра. Другой на его месте стал бы ждать, когда откапуют и утащат, но на своём месте он не ждал, а, преодолевая боль, стал откапываться сам. Через несколько часов, на исходе последних сил он откопался. Кругом никого, только из-под снега раздавался едва слышный стон. Борис начал снова копать, понимая, что к вечеру рыхлый снег начнёт подмерзать, доступ воздуха к засыпанному прекратится. Дальше гадать можно было только, что раньше случится: задохнётся он или умрёт от переохлаждения. Борис копал без остановки и докопался до Гоши. Руки и ноги у него были целы. Правда, толку от них было мало, потому что Гоша был не в себе, и Борису пришлось вытаскивать его из рыхлого снега, как утопленника из проруби. Наверху Гоша пришёл в себя, но идти категорически отказался. И битый понёс небитого. Только у лагеря, на твёрдом грунте, Гоша слез с Бориса и пошёл сам. Говорят, довольно быстро пошёл и пришёл в лагерь раньше Бориса, у которого сломанные рёбра разошлись и стали причинять невыносимую боль. Случай этот стал известен в туристском сообществе, и больше с Гошей никто в маршруты не ходил.

Рёбра у Бориса срослись довольно скоро, и на следующий год он отправился по смешанному водно-пешему маршруту на Сихотэ-Алинь. Места эти описаны в книге Арсеньева «Дерсу Узала». Похоже, что после Арсеньева там люди с материка не ходили. Так, отдельные местные тигроловы забредали пополнить собой рацион тигров, но организованных искателей приключений не было. Группа Бориса была первой. Неудачи преследовали её с самого начала. Всё, что могло случиться на маршруте, — случилось, и к реке Иман они спустились, имея продовольствия дня на три. По плану они должны были сплавиться по Иману, приставая к берегу перед порогами, разбирать байдарки, обходить пороги посуху, потом снова собирать и сплавиться до следующих. И так раз пять или шесть. По оценкам, такой путь был рассчитан дней на десять — высшая категория сложности, маршрут-рекорд. Уже на первых порогах стало ясно, что обхода посуху нет. Или надо было идти по сопкам кругом наудачу с голодными истощёнными людьми, бросив половину снаряжения, с пустыми патронташами и разодранными в клочья ботинками, или сплавиться. Борис решил сплавиться через пороги. Принайтовили к байдаркам рюкзаки, закрепили все грузы, подвязались сами, готовые рвануться в кипящий водоворот с торчащими валунами. Первой пошла байдарка с Борисом. Она вздыбилась на валуне, перевернулась и вынырнула на тихом месте. Показались головы туристов. Они яростно заработали руками, подхватили байдарку, завели её в бухточку, поставили на дно. Всё было цело. Борис, оставив товарищей разводять костёр, налегке стал карабкаться берегом по осыпи к началу порогов.

Стал готовить второй экипаж: проверил крепёж, велел набрать дыхание перед валуном и выныривать только на спокойной воде. Вторая байдарка прошла тоже с переворотом, но без потерь. За ней третья. Потом все сушились у костра, поели и поплыли дальше. Шесть порогов с неизбежным купанием были пройдены за три дня. В Центральном совете по туризму в Москве были потрясены.

На следующий год по открытому Полоскиным маршруту пошли москвичи из университета. На первом же пороге утонули первые участники. После второго, оставшихся в живых снимала вертолётная группа ДВВО. Маршрут был закрыт навсегда. Полоскин с товарищами остались его единственными первопроходцами.

Следующей зимой командование Заполярного округа сняло Бориса прямо с лабораторного семинара и отправило на Кольский полуостров, где десантировалась группа ВДВ и бесследно пропала в скалистых сопках. Неделю Борис со спасателями лазали по скалам и собирали трупы. Он вернулся чёрный от копоти факелов и бессонницы. Никаких подробностей мы от него не узнали. Подписку о неразглашении он выдержал стойко. На фоне этих событий открытое первенство Польши по ночному маршруту, на котором он получил золотую медаль, уже было детской забавой.

Конечно же, Полоскин, как каждый нормальный турист, играл на гитаре, сочинял песни и с удовольствием их пел, а мы с удовольствием их слушали.

СНЕЖНЫЙ БАРС

Среди физиков всегда было много рискованных ребят. В альпинизме добрая половина — физики, подводное плавание — они же, физики стали первыми мастерить акваланги, клеить гидрокостюмы и очертя голову кидаться в воду, водные лыжи — физики из Дубны и Ленинграда стали первыми чемпионами Союза.

В сезон 1975 года на Кавказ приехала группа немецких альпинистов во главе с президентом Федерации Хюбеллером. Они решили взобраться на Ужбу. Вершина эта хотя и не очень высокая, но пользуется дурной славой. По сравнению с гладким и гостеприимным Эльбрусом Ужба выглядит как зуб дьявола. Скальная коварная гора с камнепадами, отвесными склонами, неустойчивой погодой, она стала последним приютом многих альпинистов. Туда-то и отправились немцы почти налегке. Тут и случилось всё, что могло случиться. Начался снежный шторм, поехали лавины, упала температура. В результате немцы оказались отрезанными от внешнего мира в палатке без воды и пищи. У двоих началась скоротечная пневмония, они дали сигнал СОС. Спасательная группа работала где-то на другом маршруте, там тоже было своё ЧП. Оставалась надежда на добровольцев. Вызвался один — Юра Устинов. В то время ещё мэнээс в лаборатории газовой электроники в Физтехе, но уже полный Снежный Барс. Коллеги иногда его ласково называли Барсик, отчего Юра злился, потому что свой официальный титул он получил, не мурлыкая на печке, а покоряя все советские семитысячники.

И Юра пошёл. Пошёл один, без страховки, без рации. Так и пошёл наверх, сгинув в пурге. Как ему удалось сразу найти эту палатку — уму непостижимо. Но он её нашёл, и то, что он там увидел, его не обрадовало. Хюбеллер почти умирал, остальные двое были немногим лучше. Немцы обрадовались, увидев Юру, но, осознав, что он один, без группы, без носилок, снова впали в отчаяние. Юра без лишних слов взвалил Хюбеллера себе на плечи и стал с ним спускаться, кое-где волоча его по снегу, но в основном держа на себе. Когда они оказались в базовом лагере, Юра просто рухнул на снег, прошептал: «Спасайте немца», — и потерял сознание. Хюбеллеру быстро оказали помощь, ещё несколько минут — и помощь оказалась бы бесполезной. Но ему не дали умереть. Придя в себя, Юра спросил:

— Спасаловка пришла?

— Нет.

Юра застонал от досады и стал собираться.

— Куда ты?

— Там ещё остались двое.

Спорить с ним никто не стал, но никто и не пошёл с ним. Никому не хотелось стать ещё одним обледенелым трупом на скалах Ужбы.

Когда он добрался до немецкой палатки, те просто не поверили своим глазам: всё тот же одинокий альпинист, с обледеневшей бородой, дикими глазами, мычащий что-то неразборчивое на средне-европейском языке и машущий рукой вниз. Наверное, немцы подумали, что это галлюцинация, а может, что это сама смерть ходит за ними и уносит одного за другим. Юра снова взял одного на плечи, второй из последних сил подвязался и пополз сзади. Когда глубокой ночью

эта тройка появилась в базовом лагере, никто глазам не поверил: такой спасательной операции в истории альпинизма не было нигде и никогда.

В Германии эта невероятная история стала сенсацией. На Олимпиаду 1976 года в Мюнхене Юра получил официальное приглашение от немецкой Федерации альпинизма и Национального олимпийского комитета. В приглашении было написано, что мистер Юрий Устинов, по общему признанию международной альпинистской общественности, является самым выдающимся альпинистом-спасателем всех времён и народов, что его приглашают в качестве почётного гостя — живого символа дружбы немецкого и русского народов, былинного русского богатыря и т. д.

С этим письмом и ходатайством от Физтеха в качестве учёного секретаря по международным делам я отправился в Иностраннный отдел Академии наук. Начальник отдела загранкомандирований Борис Иванович был озадачен нештатной ситуацией. Как сотрудник АН Устинов должен был оформляться этим ведомством, но спорт никакого отношения к АН не имел. Борис Иванович очень хотел послать Юру в Мюнхен. Как старый военный он хорошо понимал, что Юра совершил подвиг, но какой-то несанкционированный. И потом вся эта предстоящая шумиха, чествование героя, имеющее явное политическое значение, могла выйти боком для всех причастных. Как известно, инициатива наказуема, иногда очень больно. Борис Иванович высказал идею отправить Юру в Германию как специалиста-гляциолога по линии научных обменов, а там, находясь в командировке, он может и заехать на Олимпийские игры. Но этот номер не прошёл. Желающих гляциологов

было и без Юры достаточно, и отделение геологии не собиралось отдавать свои квоты отделению общей физики на том основании, что один из его сотрудников в свой отпуск залез на гору и там познакомился с тремя немцами.

Так и не состоялась эта поездка, так и не стал наш Барсик героем и почётным гражданином ФРГ. Он успешно защитил свои диссертации, стал профессором, как и некоторые другие альпинисты, и эта история постепенно покрылась прахом забвения. Но каждый раз, когда я встречаю Юру, я говорю себе: «Вот человек, совершивший невозможное».

САНТА ЛЮЧИЯ

Перед римской конференцией по физике плазмы 1972 г. наша группа научного туризма совершала поездку из Рима до Неаполя и обратно. По дороге к Неаполю решено было остановиться на роскошном песчаном пляже и искупаться в Тирренском море. На пляже почему-то никого больше не оказалось, и мы кинулись в кипящие волны. Слегка побарахтавшись в прибое, мы с Жорой вылезли и ждали, когда выйдут остальные и можно будет ехать дальше. Матвей Самсонович махал рукой и торопил купающихся. Тут подбежал рысцей Иван Романович Геккер из ФИАНа и спросил:

— Гуля, ты хорошо плаваешь?

Вообще-то, я плавал лучше топора, но хуже полена, и Ивану сказал честно:

— Так себе, а в чём дело?

— Ася Франк тонет, — сказал Иван. И тут я заметил, что лицо у него белое, глаза безумные, а губы дрожат.

— Какая разница, как я плаваю! Где она?

Иван показал мне в волнах то появляющуюся, то исчезающую головку. Я побежал по пляжу в её направлении и плюхнулся в воду. Меня довольно быстро утащило от берега, и вскоре я уже подплывал к Асе. Её вид меня испугал. Она еле-еле шевелила руками, глаза были безжизненными. Набежавшая волна накрыла нас обоих. Я вынырнул, показалась и она.

— Ася, ты тонешь? — прокричал я ей.

— Да, — ответила она.

Вот тут-то мне стало страшно по-настоящему. Пронеслись все эти картинки и советы по спасению утопающих: ударить по голове утопающего, чтобы он не схватил спасающего и не утопил его на дно, а потом перевернуть на спину и буксировать к берегу, схватив за волосы. Нет, это мне не подходило. Во-первых, мы недостаточно знакомы, чтобы бить её по голове, а во-вторых, что я буду делать с безжизненным телом? Наверняка утоплю. Тут подошла следующая волна, и я ей крикнул:

— Держись!

И поднырнул под неё, чтобы она не очень погрузилась и нахлебалась. Действие равно противодействию. Ася пошла вверх, я пошёл вниз до самого дна, уцепился руками за грунт и слегка затормозил свой снос в море. Довольно долго выныривал наверх и увидел Асю в нескольких метрах позади. Ага, заработала мысль, с приходящей волной устремляться вперёд, потом нырять на дно и цепляться за грунт, чтобы не сносило, и так понемножку к берегу. В два взмаха доплыл до Аси и прокричал ей в ухо:

— Ныряй со мной и держись за дно!

Она моргнула, давая знать, что поняла. Я поддерживал её слегка до следующей волны. Волна обрушилась на нас и повлекла к берегу. Мы забарахтали руками, удерживаясь на волне, потом ушли вниз и вцепились в дно. Всплывая, я слегка нахлебался — сказывалась усталость. «Интересно, сколько ещё раз так, вниз и вверх». Берег казался далеко. «Хватит ли у нас сил? Обидно потонуть, не сделав доклада», — подумал я и удивился, что в голову лезет такая чепуха, когда жизнь висит на волоске.

Мы ещё ныряли три раза, каждый раз приближаясь к берегу, пока не почувствовали дна под ногами. Несколько отчаянных взмахов, и мы уже стояли. Я держал её за руку, так мы и вышли из воды, качаясь от слабости. Я медленно подошёл к Жоре, он уже стоял одетый и сказал злобно:

— Не можешь не повырочиваться! Нашёл место и время.

Я понял, что вся коллизия прошла мимо его внимания, и ничего не ответил.

В автобусе Матвей Самсонович пересчитал всех и сказал:

— Задержались мы тут с купанием, больше никаких отклонений от графика!

Это он сказал для интуристовской тётки. Купались, мол, задержались, никаких ЧП — никто не тонул, всё в порядке. До Неаполя доехали молча и сразу же на набережной зашли в какой-то плавучий ресторан, где нас ждал обед. На каждый столик поставили по бутылке кьянти. Сладкоголосый тенор под мандолину фальшиво запел «Санта Лючию». Из-за соседнего столика поднялась Ася Франк с бутылкой кьянти. Подошла к нашему столику, поставила на него бутылку и сказала:

— Гуля, это может показаться пошлым, но вы спасли мне жизнь и в благодарность от нашего стола мы дарим вам эту бутылку.

У Жоры глаза вылезли от изумления. Я галантно ответил:

— Ася, это может показаться пошлым, но так поступил бы каждый на моём месте.

— А вот и нет! — ответила Ася серьёзно. — Иван Романович к тебе обратился к последнему, а отклик-

нулся ты первый. Наш толстый теоретик сказал, что он уже плавал и больше «мочиться» не хочет, а он ведь чемпион ФИАНа по плаванию. Вряд ли ты чемпион Физтеха по плаванию.

— Да уж, — согласился я.

Мы с удовольствием разлили дарёную бутылку кьянти, и собутыльники стали обсуждать, как мне повезло, что из Тирренского моря я вытащил не какую-нибудь дохлую золотую рыбку, а саму Асю Франк, единственную дочку одного академика и племянницу другого, да ещё и нобелевского лауреата.

— А при чём тут академики? — спросил я. — Вот бутылка — реальная вещь, давайте её и допьём.

Однако этот случай подтолкнул нас к более близким профессиональным контактам с Асей, и в течение ряда лет сотрудники нашей лаборатории работали в ФИАНе и даже получили совместную Государственную премию.

Автор долго сомневался, включать ли этот случай в свои записки. Природная скромность удерживала, но, с другой стороны, хотелось поделиться приобретённым «ноу-хау» — мало ли кого может занести на берега Тирренского или какого другого моря.

ХОМИ БАБА — БРАМИН И ДИРЕКТОР

Осенью 1960 года нас посетил директор МАГАТЭ — Хоми Баба. Это был могущественный человек, министр, личный друг Неру и прочая, и прочая. Меня попросили как *english speaking person* быть ответственным за его приём. Он приехал знакомиться с нашими достижениями в области термояда: на следующий год намечалась всемирная конференция по мирному термояду, и Хоми Баба решил лично посмотреть, что, где и зачем. Приехал он в сопровождении штатной переводчицы из Главатома, дамы суетливой и назойливой. Видно было, что за время поездки она его сильно достала, хотя на его бронзовом лице брамина, или брахмана, почти ничего не отражалось. После размещения в гостинице и завтрака из листика петрушки мы отправились в институт. Переводчица, чувствуя, что она лишняя, неожиданно проявила такт и здравый смысл, сказала, что останется в городе и, если сможет, купит нам билеты в театр.

В дирекции института мы провели не более десяти протокольных минут и отправились по лабораториям. Я заметил, что люди интересуют его гораздо более, чем приборы и таблицы. Людьюми он остался доволен. К полудню визит был окончен, и он спросил: «Куда теперь?» — «А куда вы хотите?» — «В Эрмитаж, я никогда там не был и мечтал всю жизнь!» Он сказал это торжественно. Как бы предвкушая удовольствие встречи. И мы отправились в Эрмитаж. Слава богу, благодаря знакомству

с Тарасюком я часто бывал в Эрмитаже и легко ориентировался в его многочисленных залах. Мы бегло посмотрели итальянцев, отдали дань уважения Мадонне Литте. Задержались у тичиановской Данаи, поклонились Джорджоне и Тинторетто, потом перешли к голландцам и надолго застряли у Рембрандта. Он остановился у «Старика в красном» и спросил: «Как здесь называется эта картина?» — «Старик в красном», — прочёл я. — «На самом деле она называется “Старый еврей в красном на молитве”», по крайней мере, так в моём каталоге. Почему вы изменили название картины? Вам не нравятся евреи?» — спросил он. «А кому они нравятся?» — подумал я, но сказал: «Какая разница — еврей, русский, разве это важно для портрета?» — «Для Рембрандта было важно», — ответил он. Потом мы надолго запали на Ван Дейка, прошли мимо Рубенса. Он с трудом сдержал гримасу отвращения, взглянув на мясные туши, висящие в этом зале. «Законченный вегетарианец, — подумал я, — брамин, неужели он ещё и непьющий? Весёленький нам предстоит ужин! Шашлык из бамбука и вода из-под крана». В следующем зале были роскошные испанцы во главе со святым Лаврентием и его посохом-раскладушкой. В соседнем закутке скромно притулились «Святые Петр и Павел» Эль Греко. Он остановился как вкопанный. «*This is a crime!* — это преступление», — прошептал он. «Это преступление — так плохо помещать и так скудно освещать такие великие картины! Ваш музей самый богатый по количеству картин и самый бедный по их экспозиции. Для кого этот музей? Для людей? Так почему люди ничего не могут увидеть?» — «Так, — подумал я, — с Эрмитажем, кажется,

расправились, на очереди Кировский театр». Он потянул меня за рукав и спросил: «Где у вас импрессионисты? Я хочу к импрессионистам». Я тоже хотел к импрессионистам. Мне с ними всегда было хорошо и просто. Мы пошли мимо куртуазных французов, пыльных гобеленов к деревянной скрипучей лестнице, ведущей на третий этаж. На лестничной площадке висел громадный Матисс — хоровод красных фигур. Он зашептал благоговеино: «Матисс!!» Мы вошли в первый зал. «Роден!» — чуть не заплакал он и стал нежно гладить бархатный мрамор «Вечной весны». Он входил в эти непарадные, весёленькие залы, зажмуривался на минутку и называл висящие по стенам картины как заклинания: «“Любительница абсента”, “Свадьба в Орли”, “Неаполитанский залив”, “Бульвар Распай”, “Маленький зуав”...» Он знал их все, все до единой. И наконец-то он встретился с ними. Он столько лет мечтал об этой встрече! Я оставил его одного с Ван Гогом и ушёл к яркому Ван Донгену. Когда он появился, на лице у него было выражение счастья и покоя. Вечером мы были на балете, но ничто не могло испортить его настроения. Нирвана его не покидала.

На прощание он сказал мне: «Я приглашаю вас на конференцию МАГАТЭ по термояду. Она состоится в Зальцбурге». — «Большое спасибо, — ответил я, — но в состав нашей делегации меня наверняка не включат, хотя я и представил доклад». «При чём тут ваша делегация? — раздражённо ответил он. — Я приглашаю вас лично как директор МАГАТЭ, и вы должны там быть и выступить с вашим докладом». Я не стал возражать. Каждый имеет право строить свои планы и высказывать предположения.

Мы тепло простились на вокзале, он помахал мне из тамбура: «А риведерчи, а Зальцбург!» А риведерчи не состоялось. Он умер за три месяца до начала конференции. В Зальцбурге мне очень не хватало его, всем очень не хватало его. Он был великий человек — Хоми Баба, директор и брамин.

Когда я облучился в первый раз, меня направили в Институт профзаболеваний. Люди обычно облучаются по собственной глупости, реже по стечению обстоятельств, иногда по незнанию, которое тоже есть разновидность глупости. Я и наша смена облучились именно по этой причине. Мы работали на большой термоядерной установке «Альфа». Установка никакого «термояда» на выдавала, как мы её ни мучили. Обычно перед началом работы, перед тем как бабахать мощными электрическими разрядами, установку прогревали током от сети, напускали водород, он начинал светиться, и по этому слабому свечению мы настраивали оптические приборы. Один из придурочных лаборантов как-то предложил:

— А давайте померяем рентген на этом тренировочном разряде.

На него поначалу все окрысились:

— Думай, что говоришь! Откуда здесь рентген, когда всё напряжение 220 вольт! С экрана телевизора больше прёт, чем с нашей бандуры. Однако наконец согласились:

— Пусть-ка и дозиметристы поупражняются, что они сидят у себя в бункере, как жирные коты и мышей не ловят.

Дозиметристы вылезли из бункера, включили свои приборы, и у нас в пролёте завывла сирена. Рентгеновский фон превышал все мыслимые и немыслимые нормы. Тут же сработало аварийное отключение. Событие заактировали, забегали медики

и на следующий день всю смену повезли в Институт профзаболеваний. Там проверили кровь, и кровь оказалась у всех весьма жидкая, насколько именно, нам не сказали, но физиономии у медперсонала стали озабоченными. Надо сказать, что самочувствие у меня и у коллег уже несколько недель было довольно хреновое, но мы не придавали этому значения. В режиме частых круглосуточных вахт какое ещё у нас могло быть самочувствие?! Мы знали что радиации нет априори, а вот она и оказалась! Короче, смотри кинофильм «Девять дней одного года». В общем, схватили.

Разместили нас по отдельным палатам, выдали фланелевые новые пижамы, тапочки, бельё и назначили постельный режим, пока не спадёт температура. Я подошёл к своей кровати и прочитал на новом шерстяном серо-голубом одеяле «US NAVY», то есть военно-морские силы США. С военного времени эти одеяла, полученные по лендлизу, ждали своей очереди и вот дождались — укрывать советских атомщиков. Я лёг и натянул одеяло. Буквы «US NAVY» красиво расположились по ногам. Я почувствовал себя матросом с линкора «Миссури» или раненым комендором с торпедного катера после атаки на остров Мидуэй. Лежу себе в госпитале в Сан-Диего и отдыхаю, пока товарищи сбивают японских камикадзе. В свободное от боёв время они гоняют на проигрывателе Глена Миллера — «Америкэн пэтрол» и «Чаттанугу чу-чу». Ничего что Глен Миллер был приписан к ВВС, наверно, его играли и у нас в US NAVY. А здесь в госпитале мёртвая тишина. Я встал и пошёл на пост. Там дежурила вполне симпатичная сестричка.

— Мне надо позвонить домой, — сказал я ей без лишних вступлений. Она оценивающе посмотрела на меня и согласилась:

— Только коротко и ничего лишнего о своём состоянии и так далее.

— Yes, ma'm, — ответил я и набрал Лёнькин номер.

Он подошёл сам, что упростило дело.

— Listen, I am in the Institute profzabolevanii, Second Sovetskaya four, ward eight. Bring me asap Spidola and tel'nyashka and no questions.

— Yes, sir. Will be done, as you requested.

Сестричка выпучила глаза:

— Как вы говорили?

— Как вы и приказали, коротко и по делу.

— А почему не по-русски?

— А почему у вас на одеялах написано «US NAVY»?

— Мы можем заменить, если вам не нравится.

— By no means! (Ни в коем случае!) И чувствуя, что меня сейчас понесёт куда-то не туда, повернулся, приложил руку к пустой голове (в американском флоте разрешается) и пошёл к себе в палату. Вскоре пришла встревоженная сестра и попыталась сунуть мне градусник под мышку. Но я, как принято в US NAVY, вставил его себе в рот. Она, наверно, подумала, что я хочу раздавить стекло и отравиться ртутью. Но я его вытащил на секунду и сказал: «Don't worry, miss!» — и снова засунул в рот. Текста она не поняла, но по тону почувствовала, что я самоубийством кончать не собираюсь, и слегка успокоилась. Так она и просидела рядом со мной совсем как Катрин Бакли рядом с лейтенантом Генри из

«Прощай, оружие!». Потом осторожно вытащила градусник изо рта, взглянула на него, ойкнула и вышла из палаты. Краем глаза я заметил, что столбик ртути застыл где-то очень высоко, но мне уже было всё равно. Военно-морской госпиталь в Сан-Диего оказался плавучей шаландой, куда скидывали всех подобранных с тонущих кораблей. В кубрике было душно, сильно качало, и тянуло блевать. Хорошо бы стаканчик джина с тоником или коктейль «Дайкири» со льдом. Что такое «Дайкири», я не знал, но Хемингуэй его пил часто, а уж он-то разбирался. Вместо «Дайкири» она принесла мне валокордин, я его выпил и вскоре заснул. Утром мне принесли передачу от Лёньки: переделанную на 13 метров «Спидолу» и тельняшку. И то и другое было очень кстати. Казённая рубашка была совершенно мокрая, а «Спидола» позволяла прервать гнетущую тишину и выйти в открытый эфир. В короткой записке было только два слова: «What's happened?». Я написал на обороте: «Never mind» и отправил с санитаркой обратно. Теперь в тельняшке, под покровом «US NAVY», с приёмником, пробивающим железный занавес, и Гленом Миллером я знал, что скоро выкарабкаюсь.

Как-то на отделение позвонил Б.П., и меня вызвали к телефону в ординаторскую.

— Как вы там, — спросил он меня.

— Never mind, chief, see you soon.

— Ну не торопитесь, не торопитесь. Говорят, вы там всё время по-английски разговариваете сами с собой.

— За неимением другого общества — приходится. Узнаёшь много нового.

— Хорошо, поправляйтесь, мы ещё поговорим, — сказал шеф. Отбой.

Много лет спустя, когда пришло время оформлять льготные пенсионные документы, я зашёл в свой медпункт получать справку о том, что был госпитализирован по случаю лучевой болезни. Зав. медпунктом с садистской радостью мне сообщила, что все спецмеддокументы хранятся только десять лет и давно уже уничтожены. У нас в стране только доносы хранятся вечно, но это уже другая тема и к моему пребыванию под покровом «US NAVY» отношения не имеет, хотя как сказать: всё в мире как-то связано между собой, просто мы этих связей не замечаем.

ТУНГУССКИЙ МЕТЕОРИТ

30 июня 1908 года в 7 утра в Восточной Сибири что-то ужасное прочертило огнём небо и взорвалось в тайге, в бассейне реки «Подкаменная Тунгуска». На месте падения на многие километры был повален лес, но кратера, как при падении крупных метеоритов, обнаружено не было. Взорвался и никаких следов, кроме поваленной тайги. Тем не менее это явление обозвали Тунгусским метеоритом. После создания атомного оружия некоторые научные фантасты и фантазирующие учёные стали предполагать, что это был вовсе не метеорит, а атомный взрыв. Однако после взрыва должен был бы остаться сильный радиоактивный фон. На месте лесоповала никакого такого фона обнаружено не было, хотя и серьёзных дозиметрических исследований на этом месте так никто и не проводил. До него и добраться по земле было почти невозможно: глушь, бездорожье, бурелом, бездонные болота. Кроме того, летом тучи комаров и мошки, зимой морозы за 50 и ураганный ветер. В таком месте даже лагерей не устраивали. Гиблое место.

Однако загадка явления 1908 года будоражила пытливые умы, и время от времени туда отправлялись искатели приключений на свою голову, которых в России всегда было достаточно. Одним из них стал геолог из Башкирии. Назовём его Алексей Владимирович Болотов. Он ещё, слава богу, жив, и ему написанное может не понравиться. Начнёт обижаться, опровергать. Зачем ему это нужно?

Ну а мне и тем более, я всегда испытывал к нему самые тёплые чувства. Короче говоря, этот самый Алексей Владимирович совершил несколько экспедиций к метеориту и провёл обмер поваленных деревьев вокруг предполагаемого эпицентра, чтобы оценить энергию взрыва. Это была гигантская работа, но Алексей Владимирович её выполнил и с поставленной перед собой задачей успешно справился. Его результаты дошли до Академии наук, и вице-президент, которым в то время был наш Б.П., за них с интересом ухватился.

Это было время, когда Б.П., подарив родине уникальную технологию изготовления термоядерной взрывчатки для водородной бомбы, поднялся на самый верх, на Олимп. Про атомную бомбу до сих пор пишут, что её секрет якобы был выкраден доблестными советскими разведчиками при помощи бедных учёных-антифашистов. Что касается водородной бомбы, то она была наша от начала и до конца. И Б.П. здесь действительно совершил чудо, до сих пор находящееся за семью печатями. Редкий случай в истории науки. Чудо это оценил Никита Сергеевич, который проникся к Б.П. и полюбил его, как только руководитель партии и правительства может полюбить своего в доску учёного из мужиков, с которым можно было говорить о чём угодно и славно выпить на борту самолёта, направляясь в какую-нибудь Мухляндию. В отличие от других академиков, которые никогда не говорили прямо, а вечно крутили вокруг да около, Б.П. всегда резал правду-матку и припечатывал её добротным костромским матерком. В его устах это никогда не воспринималось как ругательство, а было дополнительным и весомым аргументом.

И Никита Сергеевич просто тащился от Б.П. Поэтому, когда Б.П. сказал ему, что надо поискать в ближнем космосе антивещество, приволочить его на землю и заставить служить в народном хозяйстве и обороне, Никита Сергеевич не стал это долго перетирать с другими учёными, а дал Б.П. полный карт-бланш и стал ждать, когда они притащат вместе с Королёвым это антивещество.

Тунгусский метеорит оказался весьма кстати. Очень многое сходилось к тому, что это был кусок антивещества, прилетевший из космоса и аннигилировавший над сибирской тайгой. Так в нашем институте появился Алексей Владимирович. Свои труды по энергетике взрыва он захотел оформить в виде кандидатской диссертации. Намерение весьма похвальное. Сколько из него крови выпили эти кровососущие твари! Хватило бы и на две докторские. Но Алексей Владимирович хотел скромную кандидатскую. И Б.П. пошёл ему навстречу. Он попросил Юрия Павловича, специалиста по динамике взрывов и лауреата Ломоносовской премии, быть консультантом, а впоследствии оппонентом, представил А.В. учёному секретарю Георгию Васильевичу как соискателя, которого необходимо без промедления довести до защиты, и познакомил А.В. со мной.

— Вот это — Арсений Борисович. Он вам во всём поможет. Если у вас будут какие-нибудь трудности, обращайтесь к нему. Не так ли, Арсений Борисович?

Опять я, с какого бодуна? Он вообще не по моей специальности, — пронеслось у меня в голове, и я ответил:

— Конечно, никаких вопросов!

— Ну вот и хорошо, — сказал Б.П. улыбаясь, — надеюсь, вы подружитесь. Не теряйте времени, осенью надеюсь видеть вас на нашем учёном совете, — сказал он А.В.

Алексей Владимирович никому особенных хлопот не доставил, диссертация у него была написана хорошим языком. Редактировать её было одно удовольствие. Данные по вывалу 20 тысяч деревьев Юрий Павлович очень хорошо скомпоновал по зонам. Зоны красиво и убедительно нарисовали в нашем КБ. Полученная энергия взрыва порядка 20 килотонн ТНТ или одна Хиросима ни у кого не вызвала возражений. В назначенный для защиты день актовый зал института был забит до отказа. Алексей Владимирович, загорелый, коренастый, с большой окладистой бородой выглядел вполне импозантно. Оппоненты отметили колоссальную работу по сбору экспериментального материала и его тщательную обработку. Всё шло как по маслу, пока зав. теоротделом, как говорили учёный нобелевского уровня, не влил ложку дёгтя, сказав, что каждая диссертация подразумевает новое слово в науке, а здесь же он не видит ничего, кроме аккуратного сбора данных и решений стандартных уравнений: двадцать тысяч или двадцать миллионов — не играет никакой роли с точки зрения науки. И он не хочет находиться в плену этих больших цифр. Бухгалтеры оперируют ещё большими цифрами и на учёные звания не претендуют. Б.П. очень любил этого молодого зав. теоротделом и охотно приводил его в пример другим по любому случаю. Но сейчас он

явно обиделся. Это было свинство по отношению к нему, нарушение академической этики. Это был вызов, который на самом деле было не так легко принять. И тут из рядов поднялся член-корреспондент Евгений Фёдорович Гросс, лауреат всех премий и как каждый петербургский немец — большой русский патриот. Евгений Фёдорович подошёл к Алексею Владимировичу, взгляделся в его загорелое, доброе, бородатое лицо и на весь зал закричал своим пронзительным картавым голосом:

— Дорогой Алексей Владимирович! Вы пришли к нам из необъятных сибирских лесов, чтобы открыть нам глаза, чтобы наконец-то на языке физики рассказать нам об этом грандиозном явлении. Вы совершили научный подвиг, большое спасибо вам за это. Никогда не оскудеет Россия талантами и самородками. Вы один из них!

Тут Евгений Фёдорович обнял Алексея Владимировича и чмокнул его в бороду. После этого эмоционального пассажа дальнейшие дискуссии уже были неуместны. Б.П. улыбался.

Георгий Васильевич напомнил членам совета, что кандидатская диссертация является квалификационной работой и должна продемонстрировать умение соискателя вести самостоятельные исследования. Результат же данной диссертации имеет принципиальный характер и находится на уровне научного открытия. По крайней мере, никогда до сих пор достоверных сведений об энергетике обсуждаемого явления представлено не было.

Все члены совета, кроме одного, проголосовали за присуждение искомой степени.

Вечером в ресторане гостиницы «Спутник» был скромный банкет, на котором, кроме родственников и коллег диссертанта, присутствовали Георгий Васильевич и я. После того как уже изрядно было выпито и сказаны все тосты, Георгий Васильевич обратился к Алексею Владимировичу и спросил:

— Ну а теперь не для протокола, сугубо между нами. Что же там всё-таки было?

Алексей Владимирович помолчал некоторое время, лицо его помрачнело и даже исказилось от какой-то внутренней муки и сказал:

— Они прилетели, но произошла авария и они все погибли. Все погибли, — повторил он и заплакал.

Мы с Георгием Васильевичем остолбенели. Тут же кто-то из друзей встал из-за стола, подошёл к Алексею Владимировичу, обнял его за плечи и стал уговаривать:

— Не надо здесь, Лёша, ну ты опять за своё! Всё же хорошо, Лёша. — И он увёл Алексея Владимировича из зала.

— Это всё проклятое место, — сказала женщина, наверное его жена или сестра. — Сколько раз мы ему говорили — не ходи туда, пропадёшь. Туда даже звери не ходят. Ему больше всех надо. Меня, говорит, они зовут, я не могу не идти. — И тут уже заплакала она.

Георгий Васильевич не стал дальше развивать эту тему. Он посмотрел на часы, встал и сказал:

— Однако уже поздно, мне пора домой, у меня непечатый край работы. Надеюсь, Арсений Борисович меня проводит. Большое спасибо за чудесный вечер.

По дороге он сказал:

— Надеюсь, всё, что мы услышали в конце вечера, там и останется. Это не имеет никакого отношения к самой диссертации и не входит в защищаемые положения.

— Разумеется, Георгий Васильевич, — ответил я. — По крайней мере, до решения ВАКа и получения корочек.

А может, они и на самом деле прилетали и все погибли?

TOMBE LA NEIGE

В конце ноября 1973 года меня отправили в Женеву исполнять свои обязанности на сессии Европейского Физического Общества (ЕФО). Обязанности были простые: без толку не высовываться, не строить из себя супердержаву, но и не забывать, что за спиной сорок тысяч танков греют моторы на всякий случай. Принц Гамлет подкрался и стал нащёптывать на ухо невопад: «О, Европа, я любил тебя, как сорок тысяч танков любить не могут». Потом эти сорок тысяч основательно портили мне жизнь. Стоишь, например, на Рю Монблан, глазеешь на витрину Картье, за толстым зеркальным стеклом сверкают алмазный не мой венец, гранатовый браслет и другие произведения искусства. Осматриваешься и думаешь, а как здесь будет разворачиваться, например, Т-72, не шарнет ли дулом по витрине. Надо будет сказать, чтобы башню повернул или вышел на Рю Дю Рон. Впереди Женевское озеро, знаменитый фонтан бьёт вверх на 140 метров в лучах прожекторов, будний день, а он на всю катушку разоряется. Но понимаешь, что эти пережитки социализма в себе надо подавлять, зубами не скрипеть, в магазины не ходить, кроме как на распродажу, и всё будет в порядке. В очереди на обмен валюты рассказывали: одна сотрудница Академгородка зашла то ли в Замок сыра, то ли в Палас колбас, так ей стало худо, нервный срыв случился на почве окружающего изобилия. Потом-то уж я понял: никакой не нервный срыв, а просто голодный обморок после нескольких дней

«континентал брекфэста» — чашечки кофе и рогалика. В принципе можно было бы зайти в какое-нибудь быстро, но если порция сосисок стоит как плащ болонья или венский шницель эквивалентен японскому магнитофону, что вы выберете?

Так и в тот раз в конце сессии ЕФО было предложено участникам собраться на товарищеский ужин — швейцарское фондю — в старинном ресторане по 20 франков с носа. Участники сразу же разделились на два лагеря — социалистический и капиталистический. Капиталистический зашуршал банкнотами, а социалистический начал изобретательно отказываться. Я отдал свои последние 20 франков и отправился на фондю.

Для тех кто не знает: фондю — это расплавленный сыр, в который макаешь кусочки хрустящего багета, корочке, плавленый сырок с булкой, но зато дают запивать сухим вином без ограничений. Поскольку я оказался единственным восточноевропейцем, то хозяйка окружили меня вниманием, подливали вино в бокал и, когда по их мнению настало время, перешли к откровенным вопросам. Одна из секретарей ЕФО спросила:

— А когда вы приедете в Женеву на танке, вы вспомните о своих друзьях в Европейском обществе и предложите нам тарелку супа из походной кухни?

Я чуть не подавился фондю: и эти о танке! Ничего себе, как это глубоко засело в подсознании.

— С чего вы взяли, Швейцария ведь всегда была нейтральной?

— Вот поэтому сюда вы в первую очередь и приедете. Ведь всё золото мира собрано здесь. Например, у нас под ногами на глубине 40 метров в скале находится хранилище швейцарского банка.

— Ну тогда конечно, — согласился я, — специально напрошусь в комендатуру в Женеву. А откуда у вас эти бредовые мысли о полевой кухне?

— Мы недавно смотрели сериал о Второй мировой войне. Там симпатичные советские офицеры раздавали суп населению Берлина, мы и подумали, надо бы озаботиться заранее. Если бы вы сами не купили билет на этот ужин, мы бы вас пригласили, а поскольку вы решили прийти к нам, мы очень обрадовались, поэтому позвольте вручить вам на память. — И они вручили большой пакет, перевязанный ленточкой, в котором что-то благородно булькало.

Ночью мне приснилось, как я приехал на танке в Женеву, осторожно развернулся у Картье, выехал на набережную, где уже был разбит пункт быстрого питания. У полевых кухонь стояла небольшая очередь, все с алюминиевыми мисками и ложками, как у нас в спецшколе, и по очереди протягивали их повару в белом халате. Он наливал гороховый суп и давал по большому куску свежевыпеченного серого хлеба. У полевой кухни с плакатиком ЕФО стояла генеральный секретарь мадам Этьен и пропускала членов общества вне очереди. Все были веселы и довольны и говорили: «Силь ву пле» или «мерси боку».

Рано утром я собрался и укатил в аэропорт Куантрэн. За ночь выпал снег и Женева стала похожа на зимнюю Ригу или Таллинн. В общем, на что-то знакомое и родное. В аэропорту на всех табло высвечивалась одна и та же фраза: задержка рейса. Я сел в кресло, закрыл глаза и стал досматривать сон про гороховый суп. С течением времени суп становился всё гуще и вкуснее. В него положили много грудинки, добавили шкварок, насыпали сухариков, потом там

появились золотые колечки жареного лука. Я открыл глаза: за окном снег падал непрерывно и равномерно, уже крупными хлопьями. У подъезда в аэропорт его нехотя сгребали новыми лопатами местные заключённые. Зашевелилась тревожная мысль, и как бы отвечая на невысказанный вопрос, диктор торжественно возгласил: «Aéroport Cointrin est ferme parce que la neige et brouillard dans Geneve» (аэропорт Куантрэн закрыт из-за снега и тумана в Женеве). На всех табло засветилось: aéroport est ferme. Часть пассажиров потянулась на выход, остальные к представителям авиакомпаний, в том числе и я. Нам объявили, что пассажирам предоставляется бесплатный проезд в Париж или Франкфурт на поездах дальнего следования. В Париже и Франкфурте la neige не падал и brouillard не возникал. Были поданы автобусы и пассажиры стали отправляться на вокзал Корнавэн. Я решил, что наступил таки форс-мажор и пора звонить в советское Представительство при европейском отделе ООН. Дежурный сразу же снял трубку, и я стал объяснять ему, что я командировочный из Академии наук, сижу в аэропорту, который закрыт, parce que la neige et brouillard, и не знаю, что мне делать.

— У вас кто перевозчик? — спросил он меня.

— Swissair.

— Вот к нему и обращайтесь.

И он бросил трубку. Я снова подошёл к хорошенькой девушке из Swissair. Она снова сказала мне, что меня могут отправить в Париж или Франкфурт, «решайте сами куда, аэропорт будет через час вообще заперт и всех пассажиров попросят его покинуть». «Всех пассажиров» — был я один. Радист поставил для меня музыку, и на весь аэропорт

полились звуки знакомой мелодии Адамо: ...*tombe la neige, impossible ma neige* (падает снег и т. д.). Послушав Адамо и проникнувшись на всю оставшуюся жизнь этой мелодией, я выскреб последние сантиметры и пошёл снова звонить в Представительство.

— Слушайте, — сказал я дежурному, — подождите вешать трубку. Я тот командировочный Академии наук, который застрял в аэропорту Куантрэн. Я обратился в *Swissair*, и они меня спросили, куда я желаю сейчас ехать поездом, в Париж или Франкфурт. Я хочу спросить вашего совета, куда именно лучше.

Голос звучал у меня вполне невинно, такой обычный советский командировочный идиот. Но я чувствовал, что дежурный начинает прокручивать ситуацию. Одиноким советским придурок из Академии колесит бесконтрольно по Европам, без билета, без денег, без виз, но предварительно обращался за помощью в своё представительство. Не много ему потребовалось времени, чтобы всё это кино просмотреть, и он спросил:

— Вы где находитесь?

— У прилавка *Swissair*, но сейчас аэропорт закроют и меня выгонят на улицу.

— Стойте у главного входа не сходя с места. За вами приедут.

У меня было по крайней мере пятнадцать минут. Адамо ещё понадрывал мне сердце своим *tombe la neige*, я взял чемодан, пакет, в котором булькало, и вышел наружу. Там уже была настоящая пурга. Через минуту я был весь в снегу. Через две подъехал микроавтобус, оттуда выскочил крепкий мужик, спросил:

— Это ты командировочный из Академии?

— Я.

— Садись.

Мы отъехали метров сто, остановились.

— Покажи документы.

Я показал.

— Ну что ж, поехали в миссию.

Там он меня сдал на руки дежурному, дежурный вызвал ещё одного крепкого парня, который проводил меня в общежитие-гостиницу. Он открыл ключом металлическую дверь моей кельи, впрочем, вполне уютной, сказал:

— Завтрак с семи утра. Пройдёшь прямо на кухню, скажешь повару: «Я командировочный из Академии наук СССР». Он тебя покормит, в общий зал не высывайся. Днём можешь сходить в город, вернёшься — обратишься к столбику на воротах при въезде, объяснишь, что и как. Ворота откроют, ты пройдёшь сюда. Ключ будет на вахте, не забудь сдать перед уходом.

Ночью снова снились танки и суп гороховый с грудинкой, но к этому добавились пирожные буше и торт пралине. Попил воды из-под крана — вкусная.

Утром спустился в столовую, прошёл на кухню, потоптался у двери. Ко мне подошёл повар в крахмальном белом колпаке.

— Из Академии наук?

— Да.

— Проходи к столику, садись.

Почему они все здесь обращаются ко мне на «ты»? Академики дома на «вы», а привратники и повара здесь — на «ты». За своего принимают, что ли?

Он посмотрел на меня внимательно и спросил:

— Ты когда последний раз ел?

— Вчера, завтракал в отеле.

— «Континентал»?

Я говорю:

— «Континентал» — кофе и рогалик.

— Супу хочешь?

— Какого?

— Гороховый с грудинкой.

Я вздрогнул:

— Из полевой кухни?

— Нет, зачем же! Со вчера остался, он сегодня ещё лучше. Ты что, гороховый не любишь?

— Наоборот, он сегодня мне во сне приснился.

— А ну-ка, расскажи какой!

— С грудинкой, поджаристыми сухариками, шкварками и кружочками золотого жареного лука.

— Лук обычно кружками не кладут, разве что отдельно. А с чем ты его ел, хлеб какой?

— Хлеб серый, свежий, с плавленным сыром.

Повар вздохнул, сказал:

— Ну подожди немного, попей морса.

И пошёл к плите. Потом он вернулся с подносом, на нём была тарелка с гороховым супом, на поверхности плавали шкварки, а изнутри торчал кусок грудинки. На маленькой сковородке скворчали золотистые кружочки лука, в плоске высилась горка сухариков, рядом лежал толстый ноздреватый кусок свежего пеклеванного хлеба. Я уставился на всё это, не зная, с чего начать. Повар присел рядом, спросил:

— Похоже? Ну давай, начинай. Лук лучше ешь отдельно, в суп не кидай, не торопись, время есть.

Сейчас ещё дипкурьеры придут, они будут сосиски с гречневой кашей, как в армии привыкли. Ты хоть раз за всё время здесь обедал?

— Один раз ужинал.

— А что, семья большая, всем нужно?

— Ну не то чтобы нужно, а все ждут.

— Понятно, Швейцария всё-таки. Я ведь тоже из Академии наук.

— Из Президиума?

— Нет, из института Кристаллографии. Как получил диплом за холодные закуски, так и подал документы в МИД по объявлению. Меня и взяли. Уже три года здесь. Скоро контракт кончится, не знаю, продлят ли.

— Продлят! — сказал я убеждённо, доедая последнюю ложку супа. — Куда они денутся.

— Я тоже так думаю. Здесь ведь никто не тащит, всё и так у всех есть. Потому и получается вкусно и полезно. Ещё хочешь?

— Не знаю, — говорю я.

— Посиди немножко, сейчас курьеры придут, им — сосиски, а тебе — омлет с сыром и джемом.

И он ушёл, в белом колпаке, серьёзный, солидный, мой добрый гений.

На дорогу он завернул мне хот-дог. Сказал:

— Днём всё равно есть захочешь. Из кармана вынешь — как нашёл.

Всё-то он знал. И хот-дог у него был не сухой и бездушный, как в ларьках, а домашний и сочный. Я сидел на набережной, вернее мы вдвоём сидели на набережной — я и Жан Жак Руссо, потому что остальные бежали мимо, зябко кутаясь в свои шарфики. У них — дела, заботы, а у нас одна забота —

сидеть и предаваться размышлениям. Я подошёл к великому философу и слегка почистил его: сидишь тут один, и никому до тебя дела нет, покрываешься снегом и патиной забвения. Подошёл полицейский, подозрительно посмотрел, что я делаю, и одобрил, брякнув: *Tres bien, monsieur*. Весьма похвально, мол, что решили освежить нашего философа, но на всякий случай отошёл недалеко и встал в сторонке. Отдых под надзором полиции в своей стране, ещё куда ни шло. Но в чужой! Зачем я сюда приехал? И я пошёл в своё Представительство, предвкушая, как разважусь в кресле со стаканом вкусной воды.

По дороге попался какой-то маленький дворец, *Petit Palais*, разукрашенный флагами. У входа толпились молодые люди и пожилые девушки. Меня схватили под руки и втокнули внутрь. Внутри быстро стащили дублёнку, шапку, сунули в руку бумажный номерок и подтолкнули к двери. За дверью находилась картинная галерея. В углу небольшой камерный оркестр настраивал инструменты. Я заметил, что у всех присутствующих были на груди приколоты значки с их именами и какими-то буквами. Я пошарил в кармане, нашёл свой значок с прошедшей сессии и нацепил на себя: *Dr. Arseny Berezin, European Physical Society*. В зале было тепло, стояли мягкие кресла, музыка обещала быть классической. В общем, не хуже, чем дома одному за железной дверью. И в самом деле, скоро раздались знакомые звуки менуэта Боккерини, концерта Вивальди и прочие опусы из репертуара нашей детской музыкальной школы. Поиграв с полчаса, музыканты стали складывать инструменты, а публика устремила в соседнее помещение. Там были накрыты столы всякой

всячиной, не важно, что там было, важно, что нигде не было официантов и прейскурантов. Я взял прибор, стал вполоборота к столу, как нас с Жорой учил когда-то мистер Хлебников из ООН, и стал постепенно перемещаться вдоль стола.

Он говорил: «Никогда не стойте на фуршете на одном месте, склонившись над столом и растопырив локти. Во-первых, тогда к вам никто не сможет подойти, вы можете потерять интересный шанс, а во-вторых, вы неизбежно опустошаете обширное пространство перед собой, что несовместимо с правилами хорошего тона. Передвигайтесь, господа! Фуршет — это средство общения, а не столовая самообслуживания, как часто думают русские компатриоты у нас в ООН». И я непринуждённо продрейфовал от солёного до сладкого. Тут-то ко мне подошёл элегантный пожилой господин в очень скромном и очень дорогом костюме. Галстук, сшитый вручную, с неровным стежком, ненавязчиво сообщал, что его изготовили в «Гермесе» или в «Диоре», в одном из тех заведений, где белешвейки из благородных, но обедневших фамилий вручную подрубают носовые платки из батиста или криво сшивают шёлковые галстуки, как я видел на одной из литографий в витрине «Диора». Идеально может сидеть только готовое платье с фабрики массового пошива «*prête à porter*» для мизераблей, а настоящее платье «*haute couture*» — это как дорогая картина художника импрессиониста: всё сикось-накось, невпопад, в одном экземпляре, страшно дорого и только для избранных.

Подошедший господин был явно не мизерабль, на что указывал его золотой Ролекс, но и не совсем

избранный, слишком хорошо на нём сидели брюки. На значке фамилия кончалась на *off*. Явный признак чего-то русского или прусского. Он посмотрел на мой значок и обрадовался:

— Как приятно видеть у нас представителя Европейского физического общества. Оно тоже размещается у нас в Женеве?

Всё это он сказал по-французски. Я ответил:

— *Bien sur!*

И дальше попросил перейти на английский.

— *As you wish*, хоть на русский!

Это он хотел показать, какой он полиглот.

Я сказал по-английски:

— Как приятно, давно уже не говорил по-русски.

Тогда он представился:

— Николас Горюнофф, банк *Union Swiss*. Я есть секретарь экзекьютифф нашего клуба «Международной культуры».

А я сказал ему в тон:

— Репрезентатив дэ юнион физисьен советик в Европейском физическом обществе. Он ещё раз уткнулся в мой значок.

— Я думал, вы немецкий, а вы русский?

— Русский, русский, — успокоил я его.

Неужели сейчас тоже заговорит о танках?

— И вы здесь живёте?

— Нет, я живу в Санкт-Петербурге.

Должен покаяться, что за границей Ленинград я и тогда называл Санкт-Петербургом, задолго до Собчака.

— Но ведь сейчас это Ленинград! — взволнованно возразил он.

— Всё равно, Санкт-Петербург, — упрямо повторил я, разгорячённый бокалом мадам Клико.

Он обернулся, ища кого-то глазами, и закричал на всю гостиную:

— Поль, Жан, подойдите сюда!

Подошли два молодых человека приятной наружности, и господин Горюнофф, обратившись к ним по-русски, сказал:

— Познакомьтесь, это господин Березэн из Санкт-Петербурга. Вы можете с ним поговорить по-русски.

На чистых личиках молодых людей отразилось подлинное страдание.

— Arpes, rара, — сказал один, в смысле — опосля.

И я понял, что их насильно в семье учили, и что «великий и могучий» давался им нелегко. Тогда я им сказал, что это совершенно необязательно, мы можем продолжать разговор по-английски. И молодые Поль и Жан Горюнофф с удовольствием зарокотали на хорошем американском. Оба по стопам папа собирались стать банкирами. Николас сообщил, что хорошая русская фамилия в Париже открывает путь в балет, в Вашингтоне в Госдепартамент, а в Женеве в банк. В каждом уважающем себя банке здесь обязательно должен быть экзекютив из хорошей русской семьи.

— Но почему? — удивился я.

— А потому что они оказались неподкупными и их невозможно коррумтировать, и при астрономических суммах транзакций и кредитов это необычайно важно для сохранения статута банка. А сейчас не согласитесь ли вы, мистер Березэн, составить нам компанию и посетить нашу церковь. Это совсем недалеко, в самом центре Женевы.

И мы отправились в церковь.

Действительно, над всей протестантской Женевой, центром мирового кальвинизма, возвышается на холме золотой купол маленькой православной церкви, рядом с которой в задумчивости стоит генерал-адмирал Франс Лефорт, друг Петра Первого, может быть, единственный его настоящий друг.

Мы вошли в церковь. Вечерняя служба ещё не начиналась. Прихожане подходили и радостно приветствовали друг друга на милом подобии русского языка. Господин Горюнофф тут же меня стал всем представлять, и я понял, что советские командировочные посещают воскресную вечернюю службу нечасто. В этой маленькой деревне — Женеве — в церковь ходят семьями, и каждая семья тут же принималась приглашать меня на обед. Для них это было бы таким удовольствием! Для меня бы тоже, но утром я снова собирался в аэропорт, и удовольствие откладывалось до будущих времён. Они сообщили мне, что каждую весну совершают поездку к перевалу Сен-Готард и приносят цветы к памятнику суворовским солдатам, что туда собирается вся русская диаспора Швейцарии и Лихтенштейна, а граф Тиссен фон Борнемиссен даёт обед на открытом воздухе на том месте, где когда-то был бивуак суворовских гренадёров. И опять, как восемь лет назад в Белграде, я столкнулся с тоской наших белых изгнанников по своей покинутой родине, с их интересом к каждому, приехавшему «оттуда», и с завистью к уезжающему «туда». Батюшка вёл службу на церковно-славянском, как и везде по всему миру, где стоят православные храмы. После службы он тоже подошёл ко мне и рассказал, что приход хотя

и небольшой, но прихожане очень добрые и хорошие христиане. К сожалению, его срок в Женеве скоро кончается, и его направляют в Абиссинию.

Вечерело. Горюнофф довезли меня до парка Лиги Наций, и я отправился к своим воротам. Как мне повезло, думал я, с этим *tombe la neige*, с нашими деловыми дежурными из миссии, с поваром и, наконец, с господином Горюнофф.

Я подошёл к воротам, обратился к левому столбику и рассказал ему свою историю. Столбик всё внимательно выслушал, но ничего не сказал. Я подождал минут пять, мало ли что, и повторил свой рассказ с тем же результатом. Подмораживало. Вчерашнее *tombe la neige* было прелюдией к зиме. Я спохватился — какой же я дурак. Почему решил, что обращаться надо к левому столбику? Только потому, что он оказался ближе? А чем правый хуже? Я подошёл к нему. Но и правый оказался не более разговорчивым. Вдали в парке приветливо светились огоньки общежития, играла какая-то музыка, а два неприветливых столба молчали, как надолбы, и медленно покрывались инеем. Как бы я сам скоро инеем не покрылся. И я начал ходить от столбика к столбику, соображая, что же мне дальше делать, куда идти: на вокзал Корнавэн или в аэропорт Куантрэн. Звучит одинаково красиво, но одинаково далеко. Оставалось надеяться на чудо. Чудо подошло в виде двух вальяжных мужиков в дублёнках. Они остановились, понаблюдали за моими эволюциями. Один из них спросил:

— И давно ты с ними разговариваешь?

— Да уже около часа!

— Попробуй подойди к следующим воротам, может те окажутся сговорчивее.

Я почти побежал к ним, остановился у первого столбика и, не успев сказать «я командировочный Академии на...» услышал, как в столбике что-то щёлкнуло, калитка приоткрылась, и я вошёл внутрь парка. Расчищенная аллея привела меня к родному дому, ключ был на вахте, в комнате было прибрано, на столике лежала свежая женевская газета. Зелёным фломастером в ней была отмечена короткая заметка, в которой сообщалось, что вчера окончилась сессия Европейского физического общества, на которой были приняты важные решения о создании совместных европейских журналов и проведении европейских конференций по физике. Упоминался ряд фамилий, в том числе и моя. Ну и слава богу, подумал я, будут знать, что хоть не зря кормили супом.

Утром без приключений тот же микробус доставил меня в аэропорт. Первым, кого я там увидел, был молодой Поль, или Жан, Горюнофф. Он сказал, что вчера было неудобно, но сегодня у нас plenty of time — куча времени — до отлёта, и он хотел бы поговорить, если я, конечно, не возражаю. Конечно, я не возражал. Мы сели в кафе за пустой столик, он принёс две чашки кофе и начал, слегка волнуясь, говорить.

— Мой grandpapa был монархист, офицер гвардии Его Величества. Мой rара тоже монархист и мы с Жаном (значит, он Поль) члены клуба молодых русских монархистов. Я могу не говорить дальше, если вам неприятно.

— Наоборот, мне очень приятно. Я тоже монархист.

— И у вас есть клуб?

— Есть, наверное, только очень далеко, в Магадане.

- Что такое Магадан?
- Это столица Колымского края на краю Сибири. Туда ссылают монархистов.
- Кто ссылает, коммунисты?
- Нет, коммунистов туда тоже ссылают ещё больше, чем монархистов.
- Не понимаю, — сказал Поль.
- И я тоже. Это трудно понять, не надо ломать голову, продолжайте.
- Но Поль не на шутку разволновался.
- Значит, вас тоже могут сослать?
- Могут, но я об этом на каждом перекрёстке не кричу, вообще-то вам первому, потому что вы сами сказали.
- А почему вы монархист?
- Потому же почему и вы, семейная традиция.
- Что у вас говорят о смерти царской семьи?
- Ничего у нас не говорят. Известно только, что они были расстреляны.
- За что?
- За то же, за что были убиты Людовик XVI и Мария Антуанетта. В революцию толпа любит убивать своих монархов.
- Но дети! У нас дома портреты принца Алексиса и всех дочерей. За что вы их убили?
- И глаза его наполнились слезами. О, господи, — подумал я, — у меня и мать и её сёстры плакали над портретом цесаревича каждый год 17 июля. Никуда мне от этого не деться.
- Слушайте, Поль, если есть справедливость в мире, то должно быть покаяние и перед этими невинно убиенными, и перед сотнями тысяч других.
- А в мире есть справедливость? — спросил он.

— Я не знаю, на этом вопросе многие свихнулись. Но если бог есть, то есть и справедливость. А если бога нет, то его надо выдумать, как сказал Вольтер.

— Вольтер так сказал? Удивительно, я никогда не слышал. Я привёз вам книгу Пьера Жильяра, швейцарца, он был воспитателем принца Алексиса и всё описал, как было. Grandpapa говорил, что всех можно было спасти и что русская гвардия изменила своему долгу и прощения ей никогда не будет. Он и умер в Харбине от этого чувства вины.

Поль протянул мне маленькую книжечку, напечатанную небольшим тиражом на плохой бумаге: П. Жильяр «Император Николай II и его семья».

Много лет спустя, когда все, кому не лень, стали писать о последних днях царской семьи, я снова перечитал книжку Жильяра, сравнил с недавно написанным и больше никогда не открывал эти запоздавшие скороспелые разоблачения и домыслы.

Мы простились с Полем, и я пошёл к выходу.

В Москве на таможне меня заставили понервничать. Они пытались сравнить стоимость моих женеvских приобретений с количеством выданных командировочных. Я боялся только, что они найдут Жильяра и окончится моя служба в ЕФО. Но злоvредные печатные материалы их волновали меньше всего, а наибольший интерес вызвали туфли на толстой подошве.

— Сейчас мы отрежем подошву и посмотрим, что там внутри.

— Как отрежете, так и приклеите или купите мне новые ботинки.

— Но, но, потише! Мы имеем право проводить досмотр.

— Но вам никто не давал прав портить вещи пассажиров. Лучше скажите, что вы ищете. Заранее могу сказать, что наркотиков, порнографии и оружия у меня нет. Я этими вещами не интересуюсь.

Порывшись ещё немного в моём белье, они меня отпустили, как раз вовремя, чтобы я успел на последний поезд в Ленинград. Всю ночь в поезде я спорил с братьями матери и спрашивал их: «Ну какого чёрта! Вы же давали присягу, вас и учили-то в юнкерском училище на казённые, и офицерский чин получили на фронте, а не в гостиной! Что же вы, боевые офицеры, не вывезли их из Царского, а потом из Тобольска!» Ничего они мне не ответили.

Старая наполеоновская гвардия освободила императора из заключения на острове Эльба, Отто Скорцени с немецкими егерями вырвали из горной тюрьмы Бенито Муссолини. Только русская гвардия бросила императора с семьёй на произвол судьбы в Царском Селе, а потом на явную гибель в Тобольске.

По приезде домой я распаковал чемодан, вынул захваченные таможенниками скромные дары из Бон Марше и подошёл к буфету. Там стояли подаренные цесаревичу бокалы. Отец с трудом отстоял их на знаменитом аукционе 1926 года в Зимнем дворце. Он попросил меня отдать их наследнику престола, когда придёт время, а если я до этого не доживу, то передать моему сыну с тем же наказом. Так они и ждут своего часа, тонкие, хрупкие бокалы зелёного хрусталя, с короной цесаревича и буквой «А». Если провести ладонью по кромке, то бокалы начинают петь. Наследника называли «солнечный лучик», и звук каждого бокала был тоже как солнечный лучик, пронзительный и светлый.

ЛЮДА И ОЛЕГ

Люда и Олег каждый год в конце лета приезжали в Геленджик. Они приезжали, чтобы погреться на солнышке и набраться сил к новому спортивному сезону. Оба любили плавать под водой в масках по уединённым фьордам, называемым в этих местах щелями. Олег, как азартный охотник и добытчик, плавал с подводным ружьём, и время от времени на его гарпун насаживались то зазевавшаяся пелагида, то упитанная кефаль, то дремлющая на дне камбала.

Как у всех великих спортсменов, у Олега и Люды было множество болезней. Наибольшие неприятности им доставляли последствия отравления во время одного из чемпионатов за границей. С тех пор они регулярно принимали кучу лекарств. Лучшим лекарством был рыбий жир, вытапливаемый из печени черноморской акулы катрана. Местные рыбаки, выловив акулу, извлекали печень и несли её к ним, а некоторые сами вытапливали жир, разливали в бутылочки и на самодельных этикетках писали разные рецепты, советы, а иногда и целые большие поэмы строчек на восемь. Среди прочего Олег и Люда страдали от травматического радикулита, который Олег тоже лечил по-своему, пчелиным ядом, но не из баночки, а из пчелы. Укладывал Люду в саду на топчан лицом вниз, собирал в ловушку с мёдом пару десятков пчёл и сажал их одну за другой Люде на спину. Как он договаривался с ними, чтобы они жалили её равномерно, по всей линии позвоночника,

я не знаю. Это было его ноу-хау. Пчелы ни с того, ни с сего человека жалить не станут, особенно такого ласкового и нежного, как Люда. Да и Олег большим умением договариваться не отличался. С Жуком он так никогда и не сумел договориться, и тот жалил Олега и Люду при каждом удобном случае. Иногда очень больно, как на Олимпийских играх в Гренобле, когда Жук во время награждения, оставив Олега и Люду на пьедестале, увёз всю команду домой, и Олег с Людой шли под дождём через весь Гренобль со своими баулами и тяжёлой, никому не нужной ношей золотых олимпийских медалей на шее. Но в Геленджике Жука не было. Кругом были друзья, и трудолюбивые пчёлки старательно работали по точкам, облегчая нешуточные страдания наших чемпионов.

В начале сентября в Геленджик приезжала и наша водно-лыжная секция. Местком Физтеха заранее переводил на водно-моторную станцию пансионата «Кавказ» аванс, и катера «Кавказа» таскали нас по всей бухте. Сначала увозили туда, где в этот день была «вода», а потом одного за другим тянули на лыжах по большому кругу. В нашей секции катались и рядовые сотрудники, и корифеи отечественной науки. Все были на «ты» и время от времени устраивали совместные посиделки, когда задувал норд-ост, бухта закипала, и вместо катания на лыжах мы отправлялись на ловлю ставриды. Ставрида ловилась на самодур, то есть на голый, блестящий крючок. Таких крючков привязывалось к леске от 10 до 14, внизу вешалось свинцовое грузило в форме веретена. Спиннинг наклонялся к воде, катушка разматывалась, и стайка ставриды набрасывалась на блестящие

крючки, принимая их за мальков. Если леска переставала уходить вниз и ложилась петлями на воде, это означало, что ставрида ухватилась за все крючки и удерживала грузило. Тут счастливый рыболов начинал осторожно наматывать леску, спиннинг выгибался, и скоро над поверхностью воды показывалась гирлянда трепещущих серебряных рыбок. Дальше было самое трудное — держа леску внатяг, одной рукой сощёлкивать с крючка рыбку за рыбкой и как можно скорее закидывать снова. И так, пока не наполнялось ведро. На берегу ведро с рыбой опорожнялось на большие сковороды, подливалось подсолнечное масло, сковороды ставились на плиту. Кто-нибудь бежал на угол к бочке за «Солнечным даром» № 2 или № 3, все рассаживались со своими тарелками, и начиналось... Оканчивалось обычно за полночь. Норд-ост, как правило, задувал три дня, и назавтра катания не было.

В этих развлечениях Олег и Люда не участвовали. Они считали такой лов не спортивным и, несмотря на ветер, просили выделить им катер для водных лыж. Олегу нравилось бороться со стихией, скакать по корявым волнам и вообще закалывать характер. Приходилось и кое-кому из нас лезть в кипящую воду, чтобы дать ему время отдохнуть между заездами. Одним из добровольцев был и я. Слаломные трассы мне не удавались, но на волне я был устойчив, и когда Олега, выловив из воды, привозили в катере, а я лихо выскакивал на пирс, он жутко обижался. Как это? Он, олимпийский чемпион, упал, а тут какой-то «чайник» устоял! Я его утешал как мог, но гордому Олегу эти утешения не помогали. Он всюду хотел быть лучшим: на льду,

на воде, под водой. Такое вот врождённое стремление к совершенству. Наверное, оно и помогло ему превратиться из блокадного дистрофика в спортсмена, а из обычного спортсмена в легенду мирового спорта. Половину его багажа занимали свинцовые пояса утяжеления. Он их надевал на себя и на Люду во время тренировок, чтобы потом всё стало легко и непринуждённо.

К концу сентября погода обычно портилась, «вода» уходила, и мы уезжали, чтобы собраться там же на следующий год. Один из следующих оказался предолимпийским. Олег и Люда всю зиму упорно тренировались. Сейчас уже не все помнят, а многие не знают, что они выступали за «Локомотив». Общество это было бедное и содержало своих олимпийских чемпионов из последних средств, поэтому лёд для Олега и Люды арендовало на стадионе «Юбилейный» по ночам. Там по ночам они и катались при закрытых дверях. Тренера у них не было. Тренером был сам Олег — жёсткий, бескомпромиссный и беспощадный. Отсутствие тренера и полная независимость фигуристов приводили в бешенство спортивных функционеров. Делалось ясно, что они не нужны.

Олег первым понял, что фигурное катание — не просто спорт, а искусство на основе спорта и музыки в нём играет важнейшую роль. Их квартира походила на студию звукозаписи: проигрыватели всех видов, монтажные столы, микшерский пульт, колонки, рекордеры. Олег целыми днями слушал музыку, соединяя её в своём воображении с движениями, придумывал новые элементы и связки, отбирал по мелодии, по теме, по такту, склеивал, создавая музыкальную партитуру спектакля на льду.

Я перетаскал ему множество джазовых пластинок, но ни одного такта из них так и не услышал в фонограммах. Олег был воспитан на классике, знал её и любил, а классика любила его.

Однажды вечером наш общий друг Лолик Цой позвонил и сказал, что завтра ночью Олег и Людя устраивают прогон своей олимпийской программы. Олег передал, что им нужны глаза друзей, чтобы увидеть в них, правильно ли они всё делают. Поэтому они ждут нас у себя к 12 ночи, а потом двумя машинами мы поедem на стадион.

Мы собрались у них к назначенному часу. Все были очень разными. Лолик был кораблестроителем по образованию и воднолыжником по жизни. Жора Арутюнов был известный на всём Чёрном море капитан маломерного флота, но истинным его призванием были катера. От Херсона до Батуми не было катеров быстрее и мощнее, чем у него. Его вызывали возить и катать советских начальников. Нефтяники, золотодобытчики, алмазники и другие фартовые люди заранее посылали ему метровые телеграммы и арендовали его на весь свой отпуск или до нового срока. Спецслужбы вызывали его на таинственные ночные операции, и он ловил в море парашютистов, своих и чужих, даже иногда нырял за ними сам и загружал на борт. Он, как и все в Геленджике, любил Олега и Людю и жалел только, что не может их прокатить на лыжах за своим катером на всём газу. На такой скорости вода становилась твёрдой, как асфальт, и упавший воднолыжник бился об неё ещё метров пятьдесят, пока скорость не гасла и он погружался в воду. Когда его вытаскивали, тело представляло сплошной синяк или, как

говорили в местном травмпункте, гематому третьей степени. Ни себе, ни Люде Олег этого позволить не мог. Всё-таки их тела им не принадлежали, а были всенародным достоянием.

Лолик позвонил Жоре в Геленджик, и Жора, лёгкий на подъём, не мешкая, приехал. Ещё были два корифея звукозаписи и пара преданных фанатов. При входе на каток охрана нас предупредила: «Никаких фотосъёмок, никакой звукозаписи». Олимпийская программа чемпионов охранялась как государственная тайна. Такой она, в сущности, и была.

Олег, перед тем как уйти в раздевалку, сказал нам: «Мы постараемся показать вам одно ультра-си, которого ещё никто не видел, но просим никому не рассказывать о нём, даже если у нас ничего не получится». Ультра-си — это термин, впервые введённый японскими гимнастами, и обозначает элемент высшей сложности, ранее не исполнявшийся. Такими ультра-си были, например, крест с углом на кольцах Альберта Азаряна или соскок с брусьев двойным сальто Ольги Корбут. То есть нам предстояло увидеть что-то в этом роде, и сердце защемило в тревоге.

Люда и Олег скоро вышли на лёд и стали разминаться. Ничего интересного в разминке не было. Люда несколько раз упала и, наверно, больно ушиблась, потому что, когда Олег растирал ей ногу, она утирала слёзы. Он ей тихо что-то говорил, и до нас донеслось только: «Не расстраивайся, девочка моя!» Сам он тоже споткнулся пару раз и с досады выругался, что, мол, хоть самому лёд заливай! Становилось холодно и скучно. Потом музыка стала играть громче, полилась знакомая мелодия, движения фигуристов

замедлилась, а скорость скольжения, наоборот, резко возросла. Они «попали в лёд» и стремительно пронеслись мимо нас, как по воздуху, а мы смотрели на них заворожённые, словно во сне. Чуть присев, они взмывали в воздух и кружились там, соединённые невидимой нитью. Опустившись на лёд, Олег протянул руку к Люде и поднял её вверх на одной руке, оборачиваясь на 180, 360, 720 градусов, потом плавно опустил её на лёд, и они перешли в долгий, бесконечный тодес под звуки финала «Лебединого озера», потом выпрямились и понеслись вокруг стадиона куда-то в четвёртое измерение.

Я думал, сейчас все закричат, зааплодируют, открыл рот, но звука не было. Посмотрел вокруг себя: все стояли с платками в руках и вытирали слёзы. Олег с Людой подъехали к бортику.

— Вы чего раскисли, неужели так плохо? — спросил Олег.

Лолик, пришедший в себя раньше других, ответил:

— Наоборот, просто гениально!

— Что именно? — решил уточнить Олег, которому общие слова были неинтересны. — Ультра-си 720?

— Нет, не только. Всё вместе было гениально!

— А ты что молчишь? — спросил меня Олег.

— «Фауст» Гёте помнишь? «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!». Так вот, оно остановилось.

— Понятно, — сказал Олег, — значит, художественное впечатление не нарушилось. Надо ещё что-нибудь добавить?

— Пожалей зрителей, — ответил Жора, — на ещё что-нибудь нервов не хватит.

— Ну тогда поехали.

— Вы езжайте, а мы, пожалуй, пойдём, — сказал за всех Жора.

И мы пошли вдоль Невки, через Неву, рассуждая о том, что видели чудо и видели его все вместе, и как нам всем повезло и как это редко бывает в жизни. На самом деле, очень редко.

В следующий раз я видел чудо в прошлом году, когда неожиданно попал на исполнение Восьмой симфонии Шостаковича филармоническим оркестром Копенгагена под управлением Валерия Гергиева. Мы с Филиппом поднимались в лифте в гостинице и столкнулись с Гергиевым.

— Добрый вечер, Валерий Авессаломович! — сказал я ему.

— Добрый вечер, вы что здесь делаете?

— Мы по делам.

— А вечером что?

— Да ничего.

— Приходите на концерт, — сказал он, — Восьмая симфония Шостаковича, здесь же, в концертном зале.

И он вышел из лифта.

Вечером мы пришли на концерт. Уже при первых звуках оркестра мы почувствовали: что-то случится, и оно случилось, это чудо, с началом третьей части и продолжалось, и продолжалось до самого конца. Чудо было в магическом соединении музыки Шостаковича, исполнительского мастерства оркестра и гения дирижёра. Копенгагенский оркестр. Кто о нём слышал? Откуда он взялся? Надо было, чтобы из Петербурга приехал Гергиев, стал за пульт, взмахнул палочкой и поднял бы этот провинциальный

европейский оркестр на самую вершину, вознёс бы его на музыкальный олимп.

Двадцать минут потрясённые зрители не отпустили музыкантов и всё вызывали и вызывали дирижёра. Потом, когда все начали расходиться, я подошёл к пожилому виолончелисту и спросил его, часто ли у них бывает такой успех. Он ответил: «Я уже 30 лет играю в этом оркестре, такое было в первый раз. Это было чудо». Так что чудеса на свете бывают, господа. Они происходят то на глазах нескольких свидетелей, то становятся достоянием тысяч людей. Будем благодарны тем, кто творит эти чудеса. Для меня же первыми чудотворцами, кого я видел собственными глазами, были Олег и Люда. Людмила Белоусова и Олег Протопопов.

«СУЛИКО»

В конце семидесятых годов мировая научная общественность решила собраться в Тбилиси на конференцию по физике лазеров а может, и не лазеров. Нам с Жорой было всё равно, что переводить. Мы давно состояли в обойме советских синхронных переводчиков и регулярно получали приглашения на конференции. На этот раз приглашение было на троих: на нас с Жорой персонально, а на третьего — по нашему усмотрению.

Мы обратились к Стасу Павлову и предложили прокатиться в Тбилиси за казённый счёт, поболтать на конференции, понежиться в знаменитых серных банях и, вообще, оттянуться по полной. Единственное, что мы ему не могли позволить, так это на самом деле залезть в синхронную будку и открыть рот. Чем кончаются такие эксперименты, мы уже знали и не хотели подвергать себя и его неизбежным неприятностям, тем более что ревнивые москвичи всегда нас слушали и не упускали случая прокомментировать то, что в нашем переводе казалось им сомнительным или неверным. Например, им казалось, что «*lifting force*» это сила, поднимающая дух, тогда как на самом деле это была подъёмная сила Жуковского. Они хлопали глазами и говорили, что ведь в докладе никакого Жуковского не упоминалось. «Откуда вы его взяли?» Жора лапидарно отвечал: «Из "Курса общей физики" Фалеева и Пёрышкина для восьмого класса».

Вообще, эта «*lifting force*» была весьма коварным термином. В случае катера на подводных крыльях

подъёмная сила состоит из двух частей: подъёмной силы в воде (water force) и подъёмной силы в воздухе (air force). Но обычно термином «air force» обозначают ВВС США. Так президент США летает на самолёте «air force» № 1. И однажды один наш бедный волонтер на семинаре по гидродинамике при переводе американского доклада про корабли на подводных крыльях огорошил всех сообщением, что они скользят по поверхности благодаря содействию американских ВВС. Возник лёгкий переполох. У кого-то создалось впечатление, что американские самолёты на тросе буксируют крылатые катера или, не дай бог, десантные суда. Возникла дискуссия, автора научно-технической революции под шумок изъяли из будки, бомбардировщики отцепились от катеров и полетели на другую конференцию, а десантные суда, притормозив, спокойно ткнулись в песок, опустив на берег аппарели. Но это уже никого напугать не могло. Видали мы таких десантников на Плайя-Хирон на Кубе. Бедный волонтер даже не явился на банкет, и мы принесли ему оттуда сухим пайком бутылку «Арарата», которую он с нами благородно и распил.

Стас Павлов был человек замечательный во многих отношениях. Он был настоящий барин. Его мягкий, глубокий, завораживающий бас имел большую убеждающую силу, чем любая ксива. Когда надо было заказать такси, которые были все в разъезде, приобрести в кассе билеты, которых не было, Стас мягко говорил нам с Жорой:

— Дайте лучше я попробую.

В результате среди ночи приезжало такси из невидимого резерва, появлялись билеты, возникало

всё, чего и в природе-то не было. Причём он никогда ни за кого другого себя не выдавал. Просто спокойно и ласково рокотал: «С вами говорит профессор Павлов». И далее по тексту. Этим же голосом он прекрасно пел под гитару. Аспирантки смахивали скупую научную слезу, а коллеги разливали по новой и просили спеть ещё.

В Тбилиси мы поселились в номере люкс на улице Руставели. В номере было три спальни и общая гостиная. Стас вышел на балкон своей спальни и от избытка чувств запел «Сулико». Запел на грузинском. Проходящие внизу граждане останавливались, приветственно махали и просили ещё. Стас пел дальше. Это было неожиданностью для Жоры. В каждом новом месте, где мы с ним бывали, он предпочитал говорить на туземном языке, в Италии — по-итальянски, в Литве — по-литовски, в Австрии — по-немецки. Но тут, в Грузии, компаньон и сосед говорит и поёт по-грузински, а он, Жора, только улыбается и машет рукой. Жора утащил Стаса с балкона в гостиную и сказал:

— Пиши слова.

— Какие? — удивился Стас.

— Ну, эти самые, «Сулико».

— На каком же языке тебе писать? Русскими буквами или грузинскими?

— Пиши клером, — попросил Жора, — латиницей.

И Стас, мурлыкая под нос мелодию, стал записывать слова. Потом Жора прочёл их нараспев. Стас поправил несколько горловых звуков и предложил:

— Давайте попробуем спеть на три голоса.

— Давайте! — загорелся Жора.

Глядя в бумажку с текстом, мы стали подвывать Стасу, импровизируя трёхголосие.

— Для Ленинградской областной филармонии или для Дома учёных, пожалуй, сойдёт, — сказал Стас, — но здесь, в Тбилиси, выкинут из первого же духана, если мы откроем там рот.

И он пропел нам мелодию каждого голоса, а я записал их нотами. Потом мы с Жорой учили свои партии, поражаясь, насколько причудлива и богата гармония грузинской песни. Вообще, в Грузии два грузина — это вокальный дуэт, три — трио, четыре — квартет, пять — ансамбль «Ореро». Музыкальные способности этого народа совершенно непостижимы для европейцев, которые дальше тривиального трезвучия никуда не ушли.

Поупражнявшись с Жорой по отдельности и вместе, мы попробовали петь втроём. Стас сказал, что, пожалуй, завтра можно будет попробовать на публике. Потом он сам освежил в памяти «Тбилисо», «Цицинателлу», а мы аккомпанировали ему, постукивая по стаканам с разным количеством «Хванчкары». Можно, конечно, наливать и воду, но не в Тбилиси же!

На следующий вечер мы отправились на экскурсию в старый Тбилиси, в район улицы Леселидзе, где уже не было русских надписей на лавочках и духанах, а картинки последователей гениального Пиросмани указывали, что внутри. Впрочем, чтобы ориентироваться на этом празднике жизни, необязательно даже кажется было быть зрячим. Всё определялось по запаху. Обувная мастерская сообщала о себе острым запахом кожи и сапожного клея, хачапури по-абхазски или по-аджарски безошибочно

вели знатоков прямо к глиняной печи, но надо всем царствовал окружённый свитой подобающих ароматов его величество шашлык. К нему-то нас и вывели носы и уставшие ноги.

В самом духане оказалось уютно и чисто. Мощные столы, под стать им дубовые стулья, из-за полукрытой двери доносился этот самый умопомрачительный аромат вместе с лёгким дымком. Хозяин, или, скорее, кинто, в длинном фартуке сказал:

— Меня зовут Нодари, будем читать-писать или сразу кушать?

— Нодари, — обратился к нему Стас на нижней октаве и добавил несколько грузинских слов с упором на непронизносимый звук «чгкх». Нодари почему-то вскрикнул по-английски «Вау!» и убежал во двор к мангалу, отдавая по дороге распоряжения юным Нане и Манане. Те тут же появились с лавашем, зеленью, сулгуни и кувшином вина. Стас попросил у них вместо гранёных чайные стаканы тонкого стекла. Я стал наливать в них трезвучие. Где не хватало — мы долили, где было лишнее — отпили, и у нас получился вполне сносный грузинский аккорд. Вино оказалось тоже нормальное, с тбилисского винзавода № 1, но не для продажи, а в бочках, для друзей.

Вскоре появился Нодари с шампурами. Тут уже Стас сказал «Вах!», а Жора — «Вау!». Я ничего не сказал, потому что был казначеем нашей группы и понимал, что моё соло «Ой-ё-ёй!» ещё впереди. Наконец наступил момент, ради которого мы, собственно, и пришли. В духан уже набилось довольно много народа. Кое-где за столами захорошевшие посетители уже пробовали первые ноты. Мы чокнулись, и Стас тихо пророкотал первый звук. Мы с Жорой подхватили,

аккорд удался, мы его подержали сколько могли, сами упиваясь его чистотой. Из-за занавески вскочили Нана с Мананой, в зале воцарилась тишина, и мы повели грустный рассказ о джигите, который могилу милой искал, но её найти он не мог. В последнем куплете могучий бас Стаса задрожал и, всё слабая и слабая, удалился от нас в своих вечных поисках. Друзья мои! Что там Карузо в Ла Скала или Монсеррат Кабалье в Октябрьском зале! Им и не снился такой приём, какой нам оказали в духане на улице Леселидзе в старом Тбилиси. Все подбежали к нам, что-то быстро-быстро говорили, хлопали по плечам, несли от своего стола кто бутылку, кто кувшин, но Нодари царским жестом остановил приносящих дары и сказал:

— Генацвале, не надо беспокоиться, они мои гости. У них всё есть и всё будет.

И Нана с Мананой понесли нам пахлаву, чурчелу и поставили жаровню с противнем, в котором на чёрном крутом песке пузырился кофе в тяжёлых медных джезвах.

В старые времена настоящий кофе по-восточному, как известно, готовили в трёх местах Советского Союза — у Кукури на веранде гостиницы «Абхазия» в Сухуми, в ресторане «Арагви» в Москве и на каждом углу в Батуми. Наш духан оказался четвёртым местом, зато первым по качеству напитка.

Нодари подошёл и сказал:

— Приходите обязательно завтра, будут большие люди и большой шашлык, настоящий, по-карски.

Он величественным жестом отверг мои попытки расплатиться за ужин. В сопровождении нескольких посетителей, которые выглядели как национальная

сборная по метанию долменов, а на самом деле оказались заготовителями дубовой клёпки для винзавода № 1, мы отправились в свою гостиницу.

Днём на конференции, проходя мимо нашей будки, иностранные участники принимались. Купаж из ароматов завода № 1, который доносился оттуда, подстёгивал воображение, рисовал разные картины в духе позднего Пиросмани и раннего Гудиашвили. В перерыве один из знакомых американских учёных, Дин Митчелл, не выдержал, подошёл и прямо спросил:

— Где?

— В старом Тбилиси, мы не знаем адреса, нашли по запаху, киш-кебаб.

Так весьма неточно переводится на скудный американский язык необъятное понятие — шашлык.

— Одному опасно?

— Трудно сказать. Иногда в компании ещё хуже, надо знать местные обычаи.

— Да, — согласился Дин. — Вот капитан Кук не знал местных обычаев, его и съели.

Видно было, что он хотел, чтобы мы пригласили его, но мы были сами гостями и не хотели создавать экспромтов в Протоколе кавказского гостеприимства.

Вечером было всё как задумано, но прелести импровизации уже не было.

На следующий день мы расстались с Тбилиси, и возвращаемся к нему уже в наших снах и воспоминаниях. До сих пор сладкой музыкой звучат и манят гора Мтацминда, театр Марджанишвили, улица Леселидзе, воды Логидзе. Встретимся ли снова когда-нибудь?

Как-то, в конце семинара нашей лаборатории, завлаб профессор З. сообщил, что иностранный отдел института предложил рассмотреть возможность принять в лаборатории на срок до 9 месяцев американского учёного с семьёй. Для этого нужно выделить одного или двух человек в качестве ответственных. Фамилия американского учёного Хеммерлинг никому ничего не говорила. Но в его заявке указывалась наша лаборатория и фамилия заведующего. Если есть желающие взять на себя такую обузу, сказал профессор, он возражать не будет, а если нет — откажется. Я взглянул на Лену и увидел, что она смотрит на меня. Я кивнул головой, а Лена сказала:

— Смешно отказывать человеку в научной работе, если дело в том, чтобы помочь ему обустроить быт. Мы с А.Б. согласны.

— Вот и хорошо, — сказал профессор. Мы почувствовали, что ему тоже хотелось для разнообразия жизни занять американца в своей лаборатории.

Через пару месяцев, в начале зимы, меня вызвали в иностранный отдел и сообщили, что Хеммерлинг прибывает на следующей неделе, и я должен быть готов: встреча, размещение, оформление и т. д.

В означенный день мы стояли в международном закутке ленинградского аэропорта и ждали выхода пассажиров. Мы готовились встретить своего американского учёного — большого, упитанного, с сияющей улыбкой на все 32 зуба и кучей чемоданов. Предусмотрительно мы заказали с автобазы

Академии микроавтобус. В руках мы держали плакат с фамилией — профессор Хеммерлинг, Академия наук, чтобы он нас мог распознать. И вот появился подходящий субъект — большой, загорелый, с улыбкой во весь рот. Мы сунули ему под нос наш плакат, он равнодушно скользнул по нему взглядом, прошёл мимо и упал в объятия ярко напояженной дублёнки. Облом. В проходе показалась тележка с одиноким обшарпанным чемоданом, за ней маленький тощий иностранец в белом плаще, очках и с непокрытой головой. Он подкатил к нам свою тележку и остановился. Физиономии у нас вытянулись. Иностранец смахнул рукавом каплю с носа и сказал:

— Пожалуйста, здравствуйте, я есть профессор Хеммерлинг из научный обмен.

Мы что-то замычали, замахали руками и сделали «cheeze». Лена тихо сказала:

— Скажи ему, пусть достанет пальто и шапку наденет. Замёрзнет ведь!

И действительно, на улице было хорошо за 30, и в микробусе мы чуть не окоченели, пока ехали с Васильевского острова в аэропорт.

— У меня есть нет пальто в чемодан, и зимой я хожу без шапка.

И глядя в наши остекленевшие глаза, он добавил по-английски:

— Но у меня очень тёплое бельё.

Бельё у него тёплое! Кого это нижнее бельё спасло от мороза с ветром! Без шапки, без перчаток, в летнем белом плаще с открытым воротом!

— Отдай ему свою шапку и повяжись шарфом, — сказала Лена.

Я надвинул ему на голову свою ушанку, и он скрылся в ней до кончика носа. Повязал себе голову шарфом, чтобы не застудить остатки мозгов, и мы двинулись в пургу к своему рафику.

Академическая трёхкомнатная квартира ему понравилась. А когда он узнал, что дом называется «Пентагон», то радости его не было предела.

— Сейчас же позвоню Инелде и скажу, что в Ленинграде мы будем жить в «Пентагоне». Вы со мной не шутите? — спросил он подозрительно. — Я знаю — русские люди очень любят шутить.

— Какие тут шутки, все так и называют — «Пентагон», а по адресу никто и не знает.

Мы показали ему продукты в холодильнике, запасённые с утра, научили пользоваться газовой плитой и ушли домой, пообещав прийти на другой день.

В лифте Лена спросила:

— Ну и что ты думаешь?

— То же, что и ты, — ответил я.

— Представляю, какая у него семья, — сказала она.

Я промолчал. У женщин такое богатое воображение.

Утром мы затолкали в сумки мой старый зипун и кроличью ушанку, оставленную на меховые стельки, Ленины лыжные варежки, шерстяной свитер, обойный клей и ленту для заклеивания окон. Когда мы пришли, у американца зуб на зуб не попал от холода; казалось, ещё немножко, и он заскулит. В комнатах было градусов 10, и из окон отчётливо сквозило: за ночь ещё подморозило.

Лена позвала его на кухню, зажгла для тепла все четыре конфорки, стала варить клей. Я нарезал ленту,

потом мы все вместе заклеивали окна. Ветер перестал гулять по квартире — стало немного теплее. Мы надели на него свитер, рукавицы и ушанку, напоили чаем и пригласили к себе на обед. Мы понимали так: раз американец, тем более из ковбойского штата Теннесси, то кормить его надо бифштексом с салатом, а на десерт подать кофе с коньяком и шоколадный торт. Бюджет затрещал, но отступить было поздно.

За обедом, к ужасу тещи, выяснилось, что он вегетарианец, сжевал несколько листиков салата, отказался от торта и сообщил, что кофе он вечером не пьёт, а крепкие напитки его церковь запрещает. Немного помявшись, он сообщил, что его церковь — Адвентисты Седьмого Дня.

У нас в печати адвентистов никогда не называли церковью, а только сектой, притом оголтелой. И вот «оголтелый адвентист» сидел у нас за столом, ничего не ел, ничего не пил, и как не дать ему умереть в эти кошмарные русские морозы, было неясно. Единственную надежду подавало то, что Рэю понравился чёрный хлеб и до приезда семьи он мог бы на хлебе и воде продержаться.

Наверно, мы с Леной ждали приезда его семьи с не меньшим нетерпением, чем он сам. И наконец этот день наступил.

Вновь в академическом рафике мы отправились вместе с Рэем в аэропорт. Сквозь полуоткрытые двери я видел пассажиров, проходящих таможенный досмотр, и всё выглядело какую-нибудь группу худосочных сектантов. Но как назло, на переднем плане мельтешила высокая роскошная женщина в мехах с двумя прелестными девочками. И всё это на фоне разноцветных кофров, обитых сверкающей

медью. Таможенники суетились, щёлкали замками кофров, наконец один из них закричал:

— Есть среди встречающих кто-нибудь из Академии наук?

«Не может быть», — пронеслось у меня в голове, — но я выбежал в зону, а вслед за мной устремился Рэй с криком: «Инелда!». Роскошная женщина выпустила из рук какую-то коробку и схватила в охапку нашего Рэя как он был — в зипуне, валенках и ушанке. Таможенники в ужасе схватили его за полы:

— Кто это?

— Гость Академии наук профессор Хеммерлинг, — сказал я гордо.

— Так это все ваши? — спросили они у меня.

Я, не веря глазам своим, закричал:

— Все мои!

— Ну и забирайте их всех, а то они у нас всё застопорили.

Тут же прибежали носильщики и стали вытаскивать сундуки в предбанник. Я подвёл Инелду к Лене и представил их:

— Инелда — Елена.

Инелда взвизгнула:

— Хелена! — обняла её и чмокнула в щёку.

Видать, Рэй успел уже много чего наговорить про нас по телефону. От высокой, элегантной, ошеломляюще красивой Инелды невозможно было отвести взгляд. Вместе со своими двумя голливудскими дочерьми она как с неба на землю свалилась. И таки свалилась. И началась наша нескудная жизнь с семейством Хеммерлингов.

Девочек отправили учиться в ближайшую школу. У младшей Дженнифер пошли сплошные двойки

по английскому языку. Оказалось, что она не умеет правильно писать и «тянет класс назад». Инелде пришлось с ней серьёзно заниматься. Когда Инелда притащила в американский консулат её табель с двойкой по английскому, там хохотали до упаду. Вскоре в школу пришла жена консула, принесла шоколадный торт и долго сидела за чаем с учителями английского языка. Посмотрела тетради и книжки из школьной библиотеки и робко спросила, можно ли ей своих детей сюда перевести. Ей твёрдо ответили: нет, только по микрорайону. Пусть у себя на Чайковского попробует, у нас все школы одинаковые. Консулыша не поверила и правильно сделала.

Субботу и воскресенье наши семьи обычно проводили вместе. Но в воскресенье с утра Хеммерлинги ходили в свою адвентистскую церковь, где-то в Коломьягах, в частном доме за забором: отогнуть доску и постучать три раза. Мне это не слишком нравилось, но я и не возникал, пока не возник сам Рэй. Он возник у меня дома сильно взволнованный и, немножко помявшись, попросил совета как у друга.

— Конечно, Рэй, мы же друзья.

И он сказал, что его тяготят визиты к своим единоверцам, пролезание через доску, какие-то брошюрки, которые они передают друг другу, просьбы о содействии в эмиграции, постоянные вымогательства, и вообще ему не нравится сама атмосфера этих «конгрегэйшнс».

— Так, не нравится — и не суйся, ты же можешь как христианин и в другой христианский храм ходить и молиться раз в неделю, и бог не осудит тебя. Давай пойдём в воскресенье в Никольский собор вместе.

И мы пошли. Потом они ходили туда с Инелдой и детьми сами, но недолго.

Как-то, уже после рабочего дня, мне позвонили из парткома Физтеха и попросили срочно прийти на заседание, которое ещё продолжалось. Заинтригованный и слегка взволнованный я побежал туда, благо бежать было недалеко. Запыхавшись, я вошёл в душный партком, секретарь сказал:

— Вот и хорошо, в самый раз. Нам позвонили из обкома с жалобой на тебя.

— ???

Я ожидал чего угодно, но не этого. Между мной и обкомом было громадное, космическое расстояние. Несколько парсеков. Они и фамилию-то мою никогда не слышали!

Секретарь продолжал:

— В обком поступило официальное заявление от Комитета по религиозным организациям Исполкома Ленсовета о том, что ты препятствуешь свободному религиозному волеизъявлению иностранных граждан, а это серьёзная политическая ошибка и даже нарушение Конституции.

Меня охватила жгучая, недостойная уважающего себя человека, злоба: «Ах, ты... пришёл ко мне как к другу, а потом всё на меня свалил, испугался своих сектантов».

Я вдохнул, выдохнул и сказал:

— Я являюсь ответственным за приём иностранного учёного, отвечаю за его научную и культурную программу и помогаю в решении некоторых бытовых вопросов. У нас церковь отделена от государства, и каждый волен высказывать своё отношение к ней по своему усмотрению. Он спросил моё мнение, и я

его высказал. А чтобы впредь не было никаких раз-
нотолков и обвинений, я снимаю с себя обязанности
ответственного. Пусть ходит куда хочет и не жалуется,
что его кто-то куда-то не пускает. Так и передайте
в обком вашим поборникам свободы религии.

На этом я партийных товарищей покинул. Не
успел я, вернувшись домой, отдышаться, как при-
шёл Рэй.

— Не знаю, простишь ли ты меня, Арсений, —
начал он, и заплакал.

— О'кей. Слушай, Рэй, ты пришёл ко мне и спро-
сил как друга, что тебе делать. Я бы мог умыть руки,
как Понтий Пилат, и сказать: «Делай что хочешь,
при чём тут я. Но я отнёсся к тебе как к другу и
сказал, не ходи туда, там нехорошие люди, молись
богу во Храме, а не за забором. (Это по-английски
звучит более высокопарно.) Ты же меня предал, как
Иуда, и свалил на меня ответственность за выбор,
который сделал сам.

Он заплакал ещё горше и спросил:

— А что теперь будет с тобой?

— Да ничего не будет, а вот наши с тобой от-
ношения на этом кончаются.

Он ушёл, а я почувствовал вместе с освобожде-
нием какую-то саднящую боль. Когда я рассказал об
этом Лене, она совсем не обрадовалась. Женщины
всегда всё видят дальше, и вопросы мелкого тще-
славия их волнуют меньше.

— Откуда ты знаешь, чем они его там запугали.
И куда он теперь денется, к кому приткнётся? Они
же не могут одни! О детях ты подумал? А если кто
заболеет, что-нибудь случится? Ты об этом подумал?
Я сейчас иду к Инелде...

Но она не успела — Инелда пришла сама. О чём они там говорили на кухне, я не знаю, но в ближайшую субботу мы отправились к ним на день рождения бабушки, которая проживала безвыездно в Швейцарии в своём шале. Нас угощали стейком из посольского магазина, шоколадным тортом и кофе с коньяком — истинно американское меню.

Когда они уезжали, мы прощались как люди, которые никогда больше не увидят друг друга. Как же мы ошибались!

Будучи очень религиозным, Рэй искал и в своей науке проявлений божественной мудрости. По его представлениям, не косный хаос, а божественный порядок управлял миром, и одним из постижений этого порядка он видел Периодическую систему элементов Менделеева. Свою научную жизнь он посвятил созданию периодической системы молекулярных соединений. Поэтому-то его и тянуло в Россию, на родину Менделеева. Здесь он и хотел найти своих научных единомышленников. Но у нас исследования по нахождению божественного порядка финансировались плохо, как не дающие немедленных практических результатов.

Вообще-то эта точка зрения весьма спорная, и практических результатов на этом пути можно найти не больше, чем при изучении чёрных дыр и белых карликов. Пользуясь периодической таблицей химических соединений, можно было бы создавать новые материалы с заданными свойствами гораздо быстрее и эффективнее, чем методом тыка и ляпа, как, например, случайно были найдены сверхпроводящие керамические соединения.

В Советском Союзе Рэй таки нашёл в университете нескольких молодых теоретиков, которые

существенно помогли ему в создании необходимой математики. Работы Рэя стали приобретать известность, его начали приглашать на различные научные конференции. В родном университете в Теннесси к нему стали относиться как к достопримечательности: а может, он будущий Нобелевский лауреат. Из их деревень выходило много генералов и политиков, даже пара миллиардеров, но великого учёного за всё время существования штата Теннесси не вышло ни одного. Почему бы не Рэй? Со всеми своими причудами, внешним видом, образом жизни в уединённой лесной хижине с красавицей женой он вполне тянул на великого учёного.

А Рэя опять потянуло в Россию, и через два года они снова оказались в «Пентагоне». Младшая дочь была принята в ту же школу, а со средней возникли проблемы. За эти годы она выросла и расцвела, превратившись в настоящую секс-бомбу, или мину замедленного действия. В школе сказали: «Ни в коем случае! Она взорвёт весь учебный процесс». Скрипку она забросила и увлеклась живописью. А где лучшая в мире школа ваiania и живописи? Правильно, ленинградская Академия художеств. В Средние века — Академия во Флоренции, а сейчас в Ленинграде, простите, в Петербурге. Мелисса устраивается вольнослушательницей в Академию и записывается в сестрорецкую конно-спортивную школу. Друзья покупают ей сбрую, кирзовые сапоги, галифе, мундир. Хлыст, шляпу и шпоры она привезла из дома. И она начинает мотаться между Сестрорецком и Васильевским островом в галифе, кирзовых сапогах и с мольбертом на плече. Когда она мчалась на своём вороном, влитая в седле, в тexasской шляпе, с серебряными звенящими шпорами на солдатских сапогах,

она была похожа на невесту ковбоя из американского вестерна. Ясное дело — за ковбоем дело не стало. Ковбоем стал настоящий джигит из далёкого аула в Ингушетии — дипломник Академии и восходящая звезда Востока Дауд. Инелда говорила Лене:

— Ты только подумай, Хелена, за ней ухаживали люди из лучших домов Чаттануги. В Лос-Анджелесе от неё не отставал ни на шаг сам Блюмингдейл-младший, а теперь она привезёт в Теннесси этого дикого горца с Кавказа.

— Ну и что, будут скакать вместе по холмам, а кроме того, он ведь талантливый художник — прославится.

— Нам нужны художники в Чаттануге, — сказала Инелда, — церковь давно решила алтарь расписать, и деньги собраны.

— Но ведь Дауд мусульманин, — заметила Лена.

— Это не важно, — сказала Инелда, — лишь бы нарисовано было хорошо.

Через год Дауд действительно расписал алтарь в церкви в Чаттануге, выбрав библейский сюжет «Свадьба в Галилее». Картина сделана мастерски, без всяких там модернистских штучек. Её приезжали смотреть адвентисты со всей Америки, и она разошлась пасхальными открытками в тысячах экземпляров. Инелда оказалась права: религия мастерству не помеха. Следующая картина Дауда «Скажи, кто твой сосед?» имела ещё больший успех. Картина, на самом деле, проникновенно и виртуозно написана. Американские церкви выстроились в очередь за следующими шедеврами. Мелисса же начала лепить, рисовать и писать коров и лошадей в духе соцреализма. Одна из её картин «Собрание в стаде коров» —

почти свифтовская по своему настроению — получила какую-то премию и была признана национальным достоянием штата.

И вот зимой 1991 года, возвращаясь из Стэнфорда в Ленинград, мы заехали на неделю к Хеммерлингам в Чаттанугу. Произошло то, о чём мы даже не мечтали. Впрочем, много чего произошло такого в эти годы.

Хеммерлинги, встретив нас в Атланте и загрузив в музейный автомобиль тридцатых годов, привезли нас в свой дом, похожий на длинный зелёный барак, но со всеми удобствами, расположенный на краю дикого леса. Под ногами бегали какие-то домашние и не очень животные. Усталые, мы повалились спать, чтобы с утра начать знакомство с американским Югом.

Америка не была бы Америкой, если бы в ней не было Юга — этих когда-то мятежных штатов, не признававших равноправия негров и предпочитавших вековой патриархальный уклад разнузданной индустриализации и финансовому разбою. На Юге до сих пор говорят о жёнах лидеров — «первая леди», «вторая леди» — и все знают, о ком идёт речь. На Юге никто никуда не бежит и не торопится. Вечно суетятся только эти такие-то янки, какие именно, зависит от того, кто и о ком говорит. Янки могут быть «damn yankee» — проклятые, «thief» — воры, «burglars» — грабители, «mob» — шпана, «slum» — трущобные, «...ing» — это уже только в сугубо мужской компании. Но янки никогда не бывают «smart» — умные, «kind» — добрые и вообще «good». Им на роду написано быть неотёсанными болванами и хамами. И вообще американский менталитет лучше воспринимает

на высших государственных постах потомков южных джентльменов, чем северных скорохватав. Не без исключений, конечно. Южный джентльмен обязательно должен послужить в американской армии и являться офицером резерва. Служба в армии — это как сертификат добропорядочности. Меня тоже спрашивали: «А какой у вас чин?». И я с гордостью отвечал: «Старший инженер-лейтенант запаса ВВС». На Юге в идеальном порядке содержатся памятники воинской славы, где на мраморных досках выбиты имена всех ветеранов. На Юге уважают свой национальный флаг и флаги своих городов и штатов. На Юге в каждом колледже свой симфонический оркестр и свой джаз-бэнд. Часто студенты играют в обоих. На Юге любят хоровое пение и хорошо поют. Российские хормейстеры там без работы не сидят. На Юге всей общественной жизнью руководит церковь. Церкви — разные. Хорошая дюжина разных деноминаций. Они все терпимы друг к другу и соревнуются, у кого лучше орган, больше хор, красивее алтарь. Многие госпитали тоже принадлежат церкви. Лучший госпиталь Америки — адвентистский, он находится в Лома Линде под Лос-Анджелесом. Именно там проходили стажировку многие наши врачи из онкологических центров.

Первым местом, куда меня повёз Рэй, был железнодорожный музей в Чаттануге. Там и стоит на пути № 29 под крышей знаменитый Чаттануга-Чу-Чу — экспресс Нью-Йорк — Чаттануга. У вагона-ресторана негр-проводник в белых перчатках предлагает дневное меню. Вечера в вагоне ресторане зарезервированы на месяц вперёд. Думал ли я в 40–50-х годах, что я так запросто подойду к знаменитому экспрессу

и спрошу у проводника: «Pardon me, Sir, is that the Chattanooga-chu-chu?». И он мне ответит следующей строчкой: «O'yes, Sir, get in the coach!». Рэй радовался, как ребёнок. Сбылась его мечта. Теперь он как американский «host» (хозяин) отдавал дань русскому «host'у».

Вечером он устроил моё выступление перед всей faculty (преподавателями) университета. Все хотели послушать, а главное, поглазеть на русского гостя их знаменитого профессора Хеммерлинга. Появившаяся на другой день местная газета с отчётом об этом событии настроение нам не испортила, даже наоборот, то и дело к хижине Рэя подъезжали кадиллаки и линкольны, выходили южные джентльмены и нумерованные леди, чтобы пожать руку русскому гостю и вручить ему какой-нибудь сувенир. Поскольку в то время о России писали, что там голодают, то сувениры были в основном съедобные. Мы их все вместе и съели.

С годами периодическая система молекул Рэя всё больше обрастала новыми молекулами и всё большее число их соответствовали предсказанным свойствам. В американском химическом обществе заволновались насчёт того, что пора бы подсуетиться с Нобелевской премией, а то можно и опоздать. Теперь главная задача Рэя — дожить до этого дня. Для нас тоже, как для вероятных гостей церемонии. Поскольку Нобелевский комитет никогда не торопится, то нам всем предстоит ещё долгая жизнь.

АТЛАНТИК-СИТИ

Несколько лет назад мне позвонил Александр Сергеевич NN — человек разнообразных интересов и увлечений. От него можно было ожидать чего угодно, поэтому я несколько не удивился, услышав:

— Арсений, ты ведь бывший спортсмен, говорят, выступал по мастерам в фехтовании?

— Выступал, отступал, а что случилось?

— Но ты ведь интереса к спорту не потерял, — продолжал напирать он, — наверняка не откажешься помочь.

— Что, ещё раз выступить по мастерам за Ленинградский округ? Округ тогда занял последнее место.

— Нет, нет! Кто же тебя будет тревожить на старости лет для этого. У них есть кто и помоложе. Это по твоей другой ипостаси. Ты же классный переводчик.

Так-так, подумал я, наверняка, какую-нибудь бесплатную работёнку хотят всучить, с такими-то интродукциями. Сейчас последует само «Рондо-каприччиозо». И оно последовало.

— Ты знаешь Николая Валуева?

Я порылся в памяти, ничего не нашёл, ответил:

— Нет, не знаю.

— Ну как же! Он боксёр, абсолютный чемпион России в супертяжёлом весе среди профессионалов.

— Всё равно не знаю. Я никого среди боксёров не знаю, только Геннадия Шаткова из университета. Он там проректором был после того, как получил нокаут от Кассиуса Клея.

— Вот-вот, — обрадовался Александр Сергеевич, — видишь, как много ты знаешь. А Валуй ещё ни от кого нокаута не получал, сам надавал кому надо.

— Значит, у него всё хорошо. Чем же я могу ему помочь?

— У него не всё хорошо, вот тут-то ты ему и нужен, подожди, не перебивай. Не мог ли бы ты поговорить по его поводу с американским промоутером Кушнером послезавтра из моего офиса? Я за тобой машину пришлю.

— Спасибо, не надо, своя есть.

— Значит, договорились, спасибо большое. Послезавтра в шесть часов вечера в моём офисе на Фонтанке.

Послезавтра в офисе Александра Сергеевича вместе с ним уже сидел коренастый невысокий человек с волевым лицом.

— Знакомьтесь, — сказал Александр Сергеевич, — Олег Шалаев, мастер спорта, тренер Николая Валуйева. Объясни, Олег, Арсению Борисовичу, в чём суть дела.

И Олег объяснил, что ни один российский боксёр-профессионал не имеет никаких шансов на звание чемпиона в своей версии и в своём весе, пока не за светится на американском ринге и не наберёт там необходимый рейтинг. Коля является реальным претендентом на звание чемпиона мира, и они послали знаменитому американскому промоутеру Седрику Кушнеру письмо с предложением устроить серию матчей с участием Коли. Но этот Седрик, вместо того чтобы внятно ответить, молчит, как партизан, и надо у него спросить напрямую, возьмётся ли он

за это дело, или пошёл на ...! Разговор уже заказан, подождём минут пятнадцать.

Я стал рассматривать Олега и гадать: что могло связать этого битого жизнью и коллегами боксёра с лощёным, аристократичным Александром Сергеевичем.

Зазвонил телефон.

— Мистер Седрик Кушнер на проводе.

Из-за океана донёлся раздражённый голос бруклинского промоутера, которого оторвали от утреннего кофе неизвестные ему «шлимазлы» из Петербурга. Выслушав меня, мистер Кушнер сообщил, что письмо он получил, *respond* не собирается, на каждое письмо не «наRESPONДИШЬСЯ», и если его наше предложение заинтересует, то он впоследствии «законтактится».

— Ну и ... с ним, — сказал Олег Шалаев. По крайней мере всё ясно. На нём свет клином не сошёлся. К нам ещё сам Дон Кинг постучится.

Я не знал, кто такой Дон Кинг, и перепутал его с Кинг Конгом. Подумал: как это киношная обезьяна будет с нами связываться и, главное, для чего. Потом Олег слегка успокоился, стал меня благодарить, потряс руку, и я увидел, что правая кисть у него сломана. Тоже, наверное, профессиональное.

Александр Сергеевич заметил:

— А ты пригласи Арсения Борисовича на тренировку, а то — Валуев, Валуев, а он его и в глаза не видел.

— В самом деле? — удивился Шалаев. — Обязательно приходите.

И он записал мой телефон, сказал, что позвонит и заедет.

Понял, наверное, что я ему ещё пригожусь.

И действительно, скоро я уже входил в боксёрский зал какого-то общества за Елагиным островом и увидел у ринга Самого. Он обрабатывал кожаный мешок короткими ударами. Шкодливого воображения тут же вместо мешка подставило спарринг-партнёра или противника. Картина была ужасная. Мешок кряхтел, скрипел, качался, но не падал, оставаясь крепко привязанным к потолочной балке. Разогревшись, Николай Валувев вошёл в ринг, перешагнув через канаты.

— Работаем двойку, — сказал Олег, — раз-два, и уход или нырок. Начинайте!

Спарринг-партнёр был нормальный супертяж, но в том-то и дело, что нормальный. Я просмотрел спарринг со смешанным чувством. Судя по силе удара по мешку, от партнёра должно было остаться мокрое место через минуту, и я уже ожидал, что с ринга сейчас хлынут потоки крови и бездыханное тело потащат через канаты. Но ничего этого не произошло. Николай слегка касался своей перчаткой подбородка партнёра, нежно поглаживал его по спине в клинче и даже позволил ему несколько раз сильно стукнуть себя по корпусу. Остальные смотрели на спарринг и вежливо молчали, иногда улыбались. Во всём этом была какая-то загадка. Потом тренировка кончилась. Олег познакомил меня с Колей, сказал, что я теперь буду помогать им в международных контактах.

Так это произошло само собой — абсолютно естественно, хотя и абсолютно неожиданно. Вскоре я стал кое-что понимать. Коля не был прирождённым боксёром, он не мог бить маленького, а маленькими были все. Поэтому он всех и не мог бить, ему было

их жалко, и он с этим ничего поделать не мог. Не было у него ярости. И он страдал, что гладиатора из него не вышло. Да и какой гладиатор из человека, который вместо того, чтобы сворачивать скулы и крушить черепа, пишет стихи, бродит по лесу или сидит с удочкой на заре.

Шалаев всё это знал и носил в себе как тяжкий груз. Тем не менее он совершал энергичные попытки вывести Колю на большой американский ринг. Время от времени Коля выступал в «Юбилейном» и неубедительно побеждал противников, набирая очки в рейтинге WBA — Всемирной Боксёрской Ассоциации — по общему признанию, главной версии мирового профессионального бокса. Сначала он был двадцатый, потом после нескольких боёв перешёл в первую десятку, и у нас начались рабочие контакты с второстепенными американскими промоутерами. Мы получали письма, писали письма, говорили по телефону. Коля пару раз появлялся у нас на фирме, когда надо было срочно связаться с иностранными партнёрами. Его визиты произвели сильное впечатление на сотрудников, особенно на секретаршу, которую потом отпаивали валерьянкой.

Проницательный Шалаев говорил:

— Пусть посмотрят, им полезно, пригодится в случае чего.

Плакат с портретом Коли висел в офисе на видном месте. Чтобы облегчить мои разговоры с ино-партнёрами, меня назначили вице-президентом Федерации профессионального бокса Санкт-Петербурга и выдали соответствующую ксиву. Дома хихикали. Однако весной 1999 года из Америки пришло приглашение Николаю Валугеву с командой приехать

на тренировочный сбор в Атлантик-Сити и пройти предматчевую подготовку с американскими тренерами. Мы отправились в консульство США за визами. Консульские работники повыскакивали из своих нор, чтобы посмотреть на самого большого профессионального боксёра в мире. А консул поинтересовался, не убьёт ли Коля там какую-нибудь «национальную гордость». На что мы дружно с чистой совестью ответили, что Коля на это не способен. «К сожалению», — добавил Олег.

И мы вылетели в Атлантик-Сити. В самолёте Коля сразу же поставили на довольствие первого класса, из которого Олег тут же исключил крепкие напитки. Стюардессы подбегали, поправляли подушку, подтыкали плед и кидали недвусмысленные взгляды. Определённо, Коля пользовался успехом у женщин. Уже позднее, в Атлантик-Сити, я видел, как женщин просто тащило к Коле какой-то могучей первобытной силой, но Коля был нежный лирик, любил свою жену всем сердцем и на встречающихся по дороге женщин не обращал никакого внимания.

По прибытии в Нью-Йорк нас встретили американские партнёры и отвезли в Атлантик-Сити — курортный городок в полутора часах езды. Атлантик-Сити — это такой филиал Лас-Вегаса, только поживее и попроще. Вдоль пляжа стоят казино-отели с претенциозными названиями — «Юлиус Цезарь», «Тадж Махал», «Эль Греко». Для посетителей попроще там и сям торчат всевозможные «инны» и мотели. Пляж — песчаный, широкий, необозримый, не то что хваленый Вайкики на Гавайях. Но публика сюда приезжает не купаться, а проматывать деньги в казино и предаваться порокам. На несколько километров

вдоль пляжа простирается деревянный настил набережной, по которому взад-вперёд гуляет праздная толпа.

Показав нам весь этот китч, партнёры повезли нас дальше и в самом конце городка высадили у какого-то малоприметного мотеля в стиле «позднего баракко». Там нам были приготовлены два номера. Кроме нас, в мотеле постояльцев не было: весна, не сезон, ещё рано. В каждом из номеров была своя кухня, холодильник, набор посуды, в общем, «селф-сервис». Не понравилось — можешь сам на себя написать жалобу. Олег тут же назначил оставленного нам в помощники партнёра поваром, и мы начали наш тренировочный сбор с прогулки по окрестностям. Все окрестности состояли из того же пляжа, но уже без «тадж махалов» и «юлиусов цезарей». К вечеру появился американский тренер. До того он тренировал чемпиона мира Хасима Рахмана и ещё кой-кого из первой десятки. После разговора с ним Олег стал мрачнее тучи.

— Ни хрена себе тренер, физкультурного образования не имеет, что такое антропометрические показатели — не знает, артериальное давление мерить не умеет и не знает, зачем это нужно. Да у нас любой дворник в клубе грамотнее, чем этот тренер.

Поначалу я подумал: Олегу просто обидно, что такие деньжищи платят этому недоумку, когда он, Олег, дипломированный тренер, выпускник прославленного института Лесгафта, болтается здесь без дела на жалкие суточные. Но потом я понял, что Олег прав. В профессиональном боксе никакой заботы о состоянии здоровья спортсмена, никакой профилактики не существует. Можешь драться — дерись, не

можешь — другого найдём, вон их сколько ошивается на нелегальных потасовках в барах и на свалках.

Утром тренер заставил Колю бегать по пляжу до седьмого пота. У Коли разболелось колено. Олег ещё больше накалился.

— Они что, кретины? Не понимают, что супертяж не может бегать, как цирковая лошадь? У него же связочный аппарат на это не рассчитан и вся физиология совершенно другая. Нет, я эти рысистые испытания быстро прикрою!

Этим же вечером Олег переговорил с тренером при помощи русскоязычного повара-партнёра. Ассистент пришёл после разговора ко мне в комнату бледный, как Пьеро, и спросил:

— А что у вас Олег всегда такой?

— Какой такой?

— Ну, как припадочный. У него с психикой всё в порядке?

— А у кого с психикой всё в порядке после дюжины нокаутов? Если ты ищешь здесь психически уравновешенных и невозмутимых, то ты ошибся спортом. Тогда тебе в стрельбу из лука или бильярд. А Олег у нас известный педагог, любимец молодёжи и без веской причины ещё никому по шее не накостылял. А в чём дело?

На самом деле я боялся, что Олег треснул американского тренера, но до этого дело не дошло. Тренер тоже не захотел терять свой заработок, в бутылку не полез, и они договорились, что на этом забеги кончатся.

С утра пошли снаряды в тренажёрном зале. Американский тренер заявил, что перед матчем надо накачать фигуру. Тяжеловес должен иметь могучий,

впечатляющий торс. Публика за это платит, и её разочаровывать нельзя.

— Так, — сказал Коля. — Вчера я был марафонцем, сегодня культуристом, а когда же я буду боксёром?

Весь день он чего-то тянул, отжимал, прижимал и в конце дня сказал:

— Все эти упражнения только приводят к тому, что я теряю скорость и силу удара. Я же противника должен стукнуть, а не ноги у него из ж... выдрать. Скажи ему, чтобы достал кувалду и покрывку от трактора «Кировец», тогда поработаем над силой удара.

Кувалду нашли в музее первопоселенцев, а покрывку раздобыли на свалке, но не от трактора «Кировец», а от какого-то худосочного самосвала. Коля успокоился и старательно лупил по покрывке, пока из неё не полез корд. В промежутках между тренировками нас возили в разные офисы, фотографировали, снимали для телевидения, вообще, делали свой пиар. Через двадцать дней мы отправились обратно, с тем чтобы через месяц вернуться на бой.

И вот мы летим уже на дело. Кроме Коли Олег захватил ещё одного тяжеловеса из Армении, местного чемпиона. Чемпион был круглый, весёлый, компанейский. Олег сказал, что он из школы Енгибаряна и классный панчер, то есть нокаутёр.

На этот раз мы разместились уже в «Тадж Махале», самом главном вертепе с сотнями игровых автоматов, столов для рулетки, закрытых кабинетов для избранных, батальоном секьюрити и миллионом красоток, налетевших со всего северо-востока. Но у нас перед боем был твёрдый режим: подъём, зарядка, завтрак, тренировка, прогулка, купание и так далее.

Всюду висела реклама предстоящего матча и Колины портреты. Коля проходил мимо этой рекламы в огнях вспышек фотоаппаратов, окружённый своей командой, одетой в одинаковые футболки с эмблемой «Top glove promotion». Такие прогулки были частью рекламной акции пригласившей нас компании.

В один из дней мы выехали в Нью-Йорк на встречу со своими болельщиками с Брайтон Бич.

Я бывал до этого в Нью-Йорке и раньше, но никогда на Брайтон Бич. Описывать его безнадёжно. Его надо видеть, быть там, вдыхать его аромат, читать его вывески, слышать его речь. Всё, что написано и снято у нас о Брайтон Бич, — сушая правда, но всегда можно увидеть и что-нибудь своё.

Наша команда переходила из одного заведения в другое, раздавала афишки матча, Колины фото, на которых он подмахивал автографы. Прогулялись по пляжу, вдоль которого тоже шла длинная деревянная набережная. В открытых кафе демонстрировались разные чудеса. В одном — все официантки были из женской сборной Украины по баскетболу. Девушек ниже 180 см туда не брали. Посетители выглядели хомячками, зачарованными бесконечно длинными, неторопливыми ногами в миниюбках.

В следующем заведении звёзды Кавказа танцевали хоруми. Между хоруми и лезгинкой такая же разница, как между эклером и школьной ватрушкой.

В весьма скромном баре, увешанном фотографиями боксёров, местной достопримечательностью был наш соотечественник, экс-чемпион мира в лёгком весе, ставший на ринге инвалидом. Он давал автографы любителям и служил живым предупреждением чемпионам нынешним. Коля с ним сфотографировался,

расчувствовался, и они расцеловались на прощание. На этом Олег нашу экскурсию по Брайтон Бич закончил. Мы уезжали полные впечатлений. Самый впечатлительный — Ашот, супертяж из Еревана, сказал:

— Всё равно как побывали в Советском Союзе на ВДНХ. Как хорошо было! — И было непонятно, где ему так хорошо было — в Советском Союзе тогда или на Брайтон Бич сегодня.

Но завтра были бои, и мы стали думать о них.

Олег, наверное, плохо выспался и начал психовать с самого утра. И весы-то ему были не весы, а от записи веса в фунтах он просто пришёл в ярость. Потом долго не привозили контракт на бой, и ему стали мерещиться разные козни. Перед самым матчем ему не понравились перчатки — то ли лёгкие, то ли маленькие, и вообще, какие-то левые. От принесённой в раздевалку питьевой воды он отказался и послал секунданта Вадима за водой в ларёк.

— Знаю я их воду, так однажды Костю Дзю напоили, до сих пор мается.

Олег был подозрительным не без оснований. Перед одним из боёв в Германии он доверил бинтовать свои руки чужому ассистенту, и тот забинтовал так, что во время боя Олег, нанося удар противнику, сломал руку. Профессиональная карьера для него была окончена.

Наконец объявили начало матча. Зрителей было не слишком много, но вполне достаточно, чтобы создавать шум в зале и оглашать его криками одобрения или негодования.

В первом бою участвовали какие-то молодые американские профессионалы. Они раундов шесть

тузили друг друга. Мы иногда выскакивали из раздевалки посмотреть на них. Так, крепкие, накачанные ребята с тяжёлыми ударами. Наконец один рассёк бровь другому и выиграл техническим нокаутом. Олег сказал Ашоту:

— Держи дистанцию, не давай притираться, рассечение-то было намеренное, от удара головой.

Следующий бой был наш. По сравнению с противником, вылепленным из чёрных мускулов, круглый и гладкий Ашот выглядел аппетитно, но не угрожающе. Такой колобок — «я от бабушки ушёл, я от дедушки ушёл». Удастся ли от этого амбала уйти?

Гонг. Противники пошли навстречу друг другу, не торопясь обменялись джебами, покружились вокруг центра. Вдруг американец вразрез с ритмом движения, чуть-чуть приблизившись, нанёс молниеносный прямой удар по челюсти Ашота. Ашот рухнул. Олег схватился за сердце. Судья начал отсчитывать — один, два, три... десять. Под канаты залез доктор, поднял веки Ашота, пощупал пульс на шее и что-то сказал судье. Прибежали санитары с носилками, уложили Ашота и унесли с ринга. Он зашевелился на носилках. Слава богу, жив, глубокий нокаут. Судья вяло поднял руку победителя. Публика кричит и свистит, то ли приветствуя своего, то ли выражая неодобрение нашему.

Следующий бой двух американских боксёров мы не смотрели, а провели в раздевалке рядом с Колей. Вадим тщательно забинтовал Колины руки, надел перчатки, зашнуровал. Олег, с трудом сдерживая нахлынувшие эмоции после этого ужасного нокаута, наставлял Колю:

— Не тяни резину, бей сразу, пока есть силы, куда попадёшь. Никаких пяти раундов. Как они нас, так и мы их.

Коля ничего не отвечал, но было видно, что и он потрясён случившимся. Черты лица у него обострились, обычная добродушная улыбка исчезла. Он был введён до предела.

И вот мы сопровождаем его на ринг. Противник вполне серьёзный, ростом выше двух метров и весом хорошо за сто. Бывший профессиональный игрок в американский футбол, перешедший в профессиональный бокс. Бой с Колей в случае успеха открывает для него дорогу в верхний эшелон. Для нас он — абсолютно тёмная лошадка, хотя и совершенно светлый. Судя по фамилии, скандинав или немец. Девушки в купальниках выходят с национальными флагами. Мы замечаем, что «наша» красивее и грациознее американки. Уже приятно.

Гонг. Коля сразу же пошёл вперёд, с левой рукой, нацеленной на голову противника. Обмен ударами, оба — в защиту. Лёгкий танец в углу. Противник хочет выйти из угла, Коля не пускает, делает «двойку» сверху, но мимо. Американец инстинктивно поднимает руки, и Коля наносит страшный удар по корпусу. Как тогда, в спортклубе за Елагиным островом, когда он бил по мешку. Но там мешок был привязан за потолочную балку цепью, а здесь никакой цепи не было, и Либергер, так его звали, рухнул вдоль канатов и остался лежать. Судья подскочил к нему и начал считать — один, два... десять. Можно было бы считать и до ста. Это был глубокий нокаут по корпусу, крайне редкий в боксе. Чаще нокауты бывают от неожиданных ударов по голове, необязательно

сильных, но точных и быстрых. Этот нокаут был похож на автокатастрофу. Человека сбил грузовик или бронетранспортёр. К нему подошли, подняли и унесли. За сорок секунд всё было кончено.

На следующий день американская спортивная пресса писала, что нокаут по корпусу Николая Валуева открывает новую страницу в профессиональном боксе, и ещё вопрос, следует ли её вообще открывать. Потому что от такого нокаута до клинической смерти всего ничего, и боксёры такого веса и габаритов главное внимание должны уделять тому, чтобы не выйти за рамки бокса и не совершать убийства.

Всё это Николай давно и хорошо понимал, и это давалось ему труднее всего, поэтому, когда пишут, что Николай Валуев опять утомил публику бессмысленным топтанием и вознёй на ринге, вместо того чтобы нанести решающий удар, мне хочется сказать:

— Господа, не дай бог вам увидеть решающий удар Николая Валуева, подобный тому, что мы увидели в Атлантик-Сити. Успокойтесь, господа, мы не в Древнем Риме.

Хотя многие и хотели бы ощутить себя патрициями на трибунах Колизея и пощекотать себе нервы, глядя на умирающего гладиатора.

CHECK POINT CHARLIE

В центре Берлина на Фридрихштрассе находилась контрольно-пропускной пункт — Check Point Charlie. С той стороны пункта была земля обетованная — Западный Берлин, с этой — Берлин, столица Германской Демократической Республики. Почему КПП носил имя Чарли — существует ряд версий. По одной из них, американской охраной на Чек-пойнте командовал весёлый негр — сержант Чарли, которого знали все проходящие туда-сюда через Чек-пойнт ещё до постройки Стены. По другой версии, Чарли — это просто обозначение третьей буквы английского алфавита — А, В, С. Были ещё КПП «А» и «В». Но история не присвоила им имён, и самый главный пункт перехода через зональную границу «С» так и остался в памяти как Чек-пойнт Чарли.

Каждый раз, когда я приезжал в Берлин в командировку — а приезжал я туда сравнительно регулярно, — я вечерами ходил на встречу с «Чарли». Проходил от Оперы по Унтер ден Линден мимо советского посольства до Бранденбургских ворот и останавливался там. Вся площадь перед воротами была запретной зоной, засеянной травой. В траве резвились десятки, а может, и сотни кроликов. Их никто не беспокоил, не пугал, не охотился за ними. Эта ничья земля была их землёй. За ней чернели Бранденбургские ворота, слева стоял остов гостиницы «Адлон», описанной в многочисленных шпионских романах, справа вдали маячили развалины Рейхстага с многочисленными надписями на стенах и колоннах. Каждый солдат

и офицер Первого Белорусского считал своим долгом побывать у Рейхстага, расписаться на стене или на колонне и сфотографироваться на память.

Сфотографировался там и brave артиллерист капитан Иван Новак, впоследствии научный сотрудник нашего Физтеха. Когда году в 70-м его оформляли на поездку в ГДР для совместной работы, иностранный отдел Академии его дело завернул: что-то у него там оказалось не так. Ивана попросили приехать для разъяснений и уточнений. Он надел все свои ордена и медали и, громя их, отправился в Академию на набережную. Там ему сказали, что в анкете он не указал, что его отец, завбазой, в 1939 году привлекался к суду за недостачу стройматериалов и был осуждён на два года. И в связи с этим командировка в Берлин Ивану не светит. Обычно спокойный и рассудительный Иван взорвался и заорал:

— А в сороковом, когда меня призвали и направили в училище, это никого не волновало, и в сорок пятом, когда я свою батарею выволок на Бранденбург-плац, меня никто за полы шинели не удерживал — а наоборот, вопили все, от полковника до маршала: «Капитан Новак, пробивайся к Рейхстагу, бей прямой наводкой по логову. Тогда никто моим папашей не интересовался — как это у него спёрли ящик гвоздей. И когда я на этом грёбаном Рейхстаге расписался, мою подпись тоже никто не стирал. Это я сейчас у вас оказался недостойным. Мало от вас, тыловых крыс, на фронте житья не было, так и сейчас ещё зубами лязгаете. Подавитесь своей ГДР и больше мне своих идиотских вопросов не задавайте. На все вопросы я уже сполна ответил с сорок первого по сорок пятый.

И Иван, разорвав в клочья свою выездную анкету, покинул здание Академии, плюнув на прощание в сторону мозаики Ломоносова «Полтавская баталия».

А я думаю, хорошо, что Ивана тогда не пустили в ГДР. Стоял бы он тогда, так же, как и я, перед воротами, и на него глазели бы сотни кроликов, которым он оставил свою огневую позицию, а перед ним каждые пятнадцать минут проезжал бы панцерваген со снятыми дверцами, чтобы патрулю было легче выскакивать и удобнее стрелять. Не дали бы Ивану подойти к Рейхстагу и посмотреть, сохранилась ли на его колонне через четверть века капитанская роспись, а скомандовали бы: «Штиль гештанден. Хенде Хох. Шиссен, мол, без предупреждения, геноссе ветеран, дайне муттер».

Насмотревшись на кроликов и полюбовавшись рейдами патруля, я поворачивал налево и шёл вдоль Стены мимо развалин Имперской канцелярии по направлению к Фридрихштрассе. Где-то здесь перелезал через Стену герой романа Ле Карре Джордж Смайли. Тут его и подстрелили. Меня никто не подстреливал, но ответственный за моё пребывание в Институте физики посоветовал экскурсии вдоль Стены прекратить. В Берлине, мол, есть и другие достопримечательности, например, Трептов-парк с мемориалом Вучетича. Но Трептов-парк меня не манил, и я по-прежнему ходил на свидания с Чек-пойнтом. Где-то здесь на мостовой весной сорок пятого лежал в воронке мой отец и под миномётным обстрелом орал в мегафон: «Дойчен зольдатен унд официрен! Бросайте оружие, война окончена, ваши семьи ждут вас. Гитлер капут — и всё такое прочее».

Это было время, когда военные переводчики со многих фронтов были переброшены в Берлин, вооружены мегафонами и направлены на передний край, в перерывах между ожесточённой стрельбой призывать солдат обречённого гарнизона прекратить сопротивление. Иногда это помогало, и из-за развалин появлялась группа фрицев с белой тряпкой и поднятыми руками, но чаще по мегафону палили изо всех видов оружия, пока он не замолкал. Там, на Фридрихштрассе, отец и получил свою последнюю контузию, которая его, в конце концов, и доконала.

Вот сюда-то меня и несли ноги каждый раз, когда я попадал в Берлин. Тут на Фридрихштрассе у Чек-пойнта каждый день и каждую ночь разыгрывалась одна и та же пьеса, конец которой никогда не был известен заранее.

Вот с той стороны подъезжает машина. Американский сержант-негр (уж не сам ли Чарли) быстро проверяет документы и поднимает шлагбаум. Машина метров двадцать едет прямо и останавливается перед надписью «Halt — Stop — Стой!» У надписи уже ждут «грепо» (так по аналогии с гестапо западноберлинцы окрестили гренцполицай — восточногерманскую пограничную полицию). В ГДР слово «грепо» воспринималось как жуткий выпад против народного режима и за него можно было и схлопотать. Что именно, зависело от обстоятельств. По крайней мере мои академические собеседники делали ужасные глаза, подносили палец к губам, показывали пальцами решётку и делали вид, что этого слова и не слышали.

«Грепо» подходят к машине, забирают у водителя документы и долго изучают их, потом командуют пассажирам выйти из машины и открыть капот

и багажник. Другие «грепо» в комбинезонах и с ручными фонарями принимаются осматривать и ощупывать всё авто, иногда даже спускают шины — наверное, чтобы воздух свободы не проник через границу. После обыска машины её переставляют к таможенным столам, на которые выкладывается багаж. Таможенники под бдительными взглядами «грепо» внимательно роются в пожитках, задают иногда вопросы безучастным пассажирам, иногда уносят что-нибудь в свою будку, но большей частью пропускают беспрепятственно. Население уже хорошо научено, что можно ввозить, а что нет. Наконец досмотр закончен. Старший «грепо» неохотно отдаёт документы, поднимается второй шлагбаум, и в проезжающей машине видны бледные, напряжённые лица.

Проезд в другую сторону, с Востока на Запад, занимал обычно больше времени и не всегда проходил благополучно. Иногда самих выезжающих проводили в будку, а потом за ними приезжали «штази» в чёрных «волгах» и увозили. На той стороне кто-то вскрикивает, а провожающие на этой стороне с каменными лицами отступают в тень и уходят подальше от опасной черты.

И вот Берлинская стена рухнула. Проволоку сматывали, а саму Стену, «маурер», разобрали по кусочкам на сувениры.

Как-то приехав из Бонна в Берлин, я первым делом отправился к старине Чарли. От Чек-пойнта осталась только сторожевая будка с восточной стороны, зато появились большие портреты солдат: американского — с запада и советского — с востока. Меня это удивило. Никогда раньше советских солдат на границе, кроме как в карауле у Бранденбургских ворот,

я не видел. Не стояли советские солдаты лицом к лицу с американскими. Напротив американцев за Стеной стояли, ходили, ездили, сидели в сторожевых будках «грепо», «вопо» (фолькполицай — народная полиция), «штази», но не советские солдаты. Произошла подмена стереотипов. Зато в Берлине исчезли другие советские солдаты, которые при ГДР появлялись на громадных плакатах накануне Дня Победы и других праздников. Ко Дню Победы наиболее популярным был плакат «Die grosse Gedanke dem Russische Soldaten!» — «Громадное спасибо русскому солдату!». На плакате, сделанном по мотивам старой фронтовой фотографии, явно инсценированной, бравый усатый русский старшина вытаскивает за шиворот из люка на фоне берлинских развалин немецкого солдата, жалкого замухрышку из фолькштурма. Возникает недоумение: и такие вот заморыши сумели угробить на подступах к Берлину и в самом городе почти миллион наших солдат — половину наступающей армии.

Вообще в Берлине того времени у неподвзятото советского гражданина много вопросов могло возникнуть. Например, если мы признаём суверенность и независимость ГДР, то почему выше государственного немецкого флага реет в ночном небе советский флаг на флагштоке советского посольства? Чтобы знали, кто здесь хозяин? Не поэтому ли и на все торжественные собрания вслед за местными руководителями последним приезжал советский посол Абрасимов, и только с его приездом начиналась официальная часть. Не скажу, что у меня сердце наполнялось национальной гордостью при виде всего этого — скорее наоборот, было стыдно за нас. Порылся в памяти:

может, это наша национальная традиция — так выпендриваться за границей. Ничего такого в памяти не обнаружил. Пётр I вообще прикидывался учеником плотника в Голландии и бомбардиром в Англии. Павел I, следуя примеру пращура, скромно путешествовал по Европам под именем какого-то мифического князя Северного, скупая бесценные коллекции для Эрмитажа и экономя на каждом постоялом дворе прогонные, полученные от матушки. Великолепный Александр I въехал в Париж на своей боевой лошади как боевой командир, а не на колеснице, которую бы тащили побеждённые полководцы, по примеру римских триумфаторов. Безмерный восторг французов и их восхищение русским императором от этого нисколько не уменьшились. Да и в советское время, после поражения Антанты, нарком Чичерин не позволял ни себе, ни своим коллегам топтаться на вчерашних противниках. Откуда же взялось это позднее советское чванство? От хамства?

Но и с другой стороны: почему армия ГДР унаследовала форму гитлеровского вермахта? Те же мундиры, те же погоны, те же парады — всё оставили как есть, только изменили название — фольксвер вместо рейхсвера. В берлинском Музее истории Германии вы ничего не могли бы найти ни про лагеря смерти, ни про Холокост и массовые казни, ни про уничтожение и кражу культурных ценностей на захваченных территориях. Только немного о борьбе гитлеровского режима с немецкими антифашистами — будущими создателями немецкого государства рабочих и крестьян. Мне объяснили мои коллеги: все эти нацистские ужасы являются наследием Западной Германии, а мы здесь, в ГДР, не должны создавать

комплекс национальной вины за преступления, которые не совершали. Вот так-то.

Но вернёмся на Чек-пойнт Чарли. В угловом здании напротив блокпоста теперь устроен музей памяти Берлинской стены и жертв, убитых при попытке побега через неё, а также памяти героев и жертв борьбы с тоталитаризмом в разных странах, включая и СССР. Особенно подробно представлена экспозиция о побегах через Стену. На неё-то и запал мой сын, девятиклассник. Его мало интересовал вопрос, почему бежали. Для него главным было: а как они это делали. Для меня же как раз наоборот: почему и кто. Простой ответ: потому что в Западном Берлине и ФРГ уровень жизни был выше — некорректен. Смотря как считать и для кого. Мой хороший знакомый — молодой физик из института Макса Планка — как-то рассказал мне:

— Как ты знаешь, мы все учили в ГДР русский язык. Некоторые учили плохо и терпеть его не могли, а некоторые хорошо — и много читали по-русски. Я был одним из лучших учеников и, наверное, знаю русскую литературу и люблю её больше, чем немецкую. Но когда мы начали учиться — одна из первых фраз в нашем русском учебнике была: «Мама моет трактор». Я ещё школьником удивился, ну почему мама моет трактор. Даже у вас «мама мыла раму» — а не трактор, как у нас. Не должна мама мыть трактор, не её это дело, особенно в Германии, где мы все находились под влиянием трёх «К»: Kuche, Kinder, Kirche (кухня, дети, церковь). При чём здесь трактор! И нигде в русской литературе этого не было, это вы для нас изобрели.

— А может, не мы, а это вы сами для себя изобрели вместе с гроссе геданке и советским флагом над всем Берлином?

— Ещё хуже, — сказал Ханс Питер, — это уже не оставляло никакой надежды, и я бежал в последнюю ночь, когда через Стену ещё можно было перепрыгнуть со складным шестом. После побега мне в ФРГ жилось гораздо хуже, чем в ГДР, и американские солдаты относились к нам, немцам, с гораздо большим высокомерием, чем русские офицеры. Но маме не нужно было мыть трактор.

Ханс Питер приезжал в СССР при каждой возможности — пока не женился на русской фрау, после чего визу в СССР ему закрыли. Поначалу я опасался, что русская жена захочет сразу белый «мерседес», который ей Ханс Питер купить не сможет, так как и сам ездил на работу на велосипеде, и брак распадётся, но в этот раз привычный стереотип с русскими жёнами не сработал. Это была любовь, которая на самом деле существует и которая счастливо продолжается уже тридцать лет, не давая никакой поживы «жёлтым» журналистам ни там, ни тут.

Вместо предполагавшегося часа мы с сыном провели в музее Чек-пойнт Чарли более двух, пока он не изучил все знаменитые побег и не посмотрел все хроникальные фильмы о них. По приезде домой он, выполняя задание по истории, написал реферат «Берлинский кризис и Берлинская стена», который школой был выдвинут на районную олимпиаду и за который ему вручили диплом третьей степени. В рецензии отмечалась односторонность автора, использовавшего только иностранную литературу. Справедливости ради можно возразить,

что если про берлинский кризис по-русски написаны сотни страниц, то про Стену совсем чуть-чуть, а про изуверские греповские самострелы, ловушки и капканы — всего ничего.

И здесь мы снова приходим к извечному утверждению «Вначале было Слово». Именно лицемерные, лживые слова школьных учебников, лозунгов и воззваний сорвали с мест и кинули на колючую проволоку тысячи людей, которые не могли вынести заданную, директивную форму существования в придуманном для них государстве.

Будете в Берлине, зайдите на Чек-пойнт Чарли. Там много чего проясняется из прошлого и будущего.

ЯДЕРНАЯ ЗИМА

Недавно смотрел по ТВ какой-то диспут насчёт возможного вступления Украины в НАТО. Генерал Ивашёв сказал: «...тогда на Украине разместятся американские ракеты, нацеленные на нас». Никто не спросил: «А почему обязательно на нас?» Раз ракеты американские, то и нацелены на нас, на кого же ещё. Такой уж утвердился стереотип. То есть образ врага никуда не делся. Раньше враг был классовый — американский империализм. Первая капиталистическая держава мира, а теперь мы сами капиталисты पहले других. Дворцы строим, хижины рушим, крестьян с земель сгоняем, лечим за деньги, калечим бесплатно — всё, как и у них. О чём спор, при чём здесь ракеты? Значит, Америка уже не классовый враг, а национальный или государственный? Чего им, вообще говоря, надо? Я понимаю — китайцам нужны Сибирь и Дальний Восток. Эти полтора миллиарда друг друга локтями толкают, а тут такая неосвоенная территория. Ломоносов сказал: «Могущество России Сибирью прирастать будет». А Мао Цзедун усомнился: «При чём здесь Россия? Сибирью и могущество Китая может прирасти ничуть не хуже». Входи и владей, пока местные алкаши все кедры не порубили, всех тигров не извели и всю нефть не пропили. Ну нужна им Сибирь! «Силь ву пле». «Русский с китайцем братья навек». Мы же их врагами не объявляем, и куда они свои ракеты нацеливают — не спрашиваем. На Сингапур или на Иркутск. У нас же всё равно другой альтернативы нет, как дружить

по-братски. Но когда они нас начнут душить в братских объятиях, хозяева в Америку смоются, туда, где денежки лежат, в ихних банках. Так что они на нас ракеты нацеливают, а мы им в ответ халявные денежки переводим. Помогаем дальше строить капитализм и заодно новые ракеты. Какой-то дурдом получается, театр абсурда. Появляются сомнения: а может, нас начальники нарочно опять на Америку направляют, лепят, так сказать, образ врага. Для себя там счета открывают, дома на пляжах скупают, детей в университеты посылают, а нас гормональной курятиной травят и «сексом в большом городе» пропевают. То есть как и раньше. Нет, раньше было проще и понятнее. И я хочу рассказать о том, как раньше учёные по обе стороны «железного занавеса» сумели-таки внести элементы логики в международную политику, в этот театр абсурда.

К 1973 году запасов ядерного оружия с обеих сторон было накоплено на полное уничтожение жизни на Земле. В случае войны вся планета стала бы Суперхирисимой и Меганагасакой. Но возникли ещё более мрачные перспективы — климатическая катастрофа, ядерная зима. И ядерная зима уже не зависела от места, где будут взорваны бомбы, хоть в России, хоть в Америке. Глобальное похолодание охватило бы всю Землю. Наступил бы новый ледниковый период в обстановке запредельной радиоактивности и полного вымирания.

Первыми этот «весёлый» сценарий увидели русские и немецкие учёные. Русские — понятно, они всегда всё видят первыми, а немцы помнили о бомбардировке Гамбурга, когда на двое суток над городом простёрлась ночь и резко упала температура.

У нас первыми были ленинградец Михаил Иванович Будыко и москвич Никита Моисеев. Один — метеоролог, а другой — математик.

Наиболее убедительные расчёты были сделаны молодым математиком из отдела Моисеева Владимиром Александровым. Аналогичные расчёты были сделаны и американскими физиками. Нельзя сказать, чтобы в военных кругах СССР и США эти исследования приветствовались. Когда мы пытались пригласить М. И. Будыко выступить на семинаре у нас в институте, Выборгский райком КПСС сообщил, что партийными органами академику Будыко запрещено выступать с лекциями на эту тему. И в самом деле, советская военная доктрина в лице её генералов и маршалов допускала победу в ядерной войне, нашу победу. А тут какой-то годный необученный синоптик заявляет, что никакой победы не будет, потому что побеждать будет некого и некому. Понятие войны, существовавшее в течение всей истории человечества, вдруг стало бессмысленным. Ядерная зима уравнила победителей и побеждённых, создала какую-то патовую, идиотскую ситуацию. Отдельным зловредным учёным там и тут это всё очень нравилось. Они так и норовили ткнуть собственных военных в эту кучу абсурда.

Со смертью Леонида Ильича наши военные стали задумчивее. Им так и приказали сверху — задуматься и отнестись серьёзно. Появилось ощущение, что в случае войны, даже если отсидеться в подземном городе под Воробьёвыми горами, потом, когда они вылезут на поверхность, на развалины МГУ, руководить уже будет некем. То есть нас не будет и над кем им тогда властвовать — непонятно.

В 1983 году это недоумение уже прочно утвердилось в головах властителей, и появилось большое желание в целях самосохранения сделать из этого недоумения новое мышление.

И вот уже маршал Ахромеев на форуме «В защиту мира» говорит о том, что военные доктрины великих держав должны быть пересмотрены, а академик Б. Б. Пиотровский заявляет, что и ленинское положение «о войнах справедливых и несправедливых» потеряло свой смысл. «В послевоенной геологической жизни планеты будут действовать уже другие императивы», — сказал Борис Борисович. Я сидел и лихорадочно конспектировал высказывания наших новых мыслителей. Подошёл один из организаторов, спросил, корреспондентом какой газеты я являюсь. Я сказал, что корреспондентом газеты «За Советскую физику». Он вежливо поблагодарил, но через доклад снова подошёл и спросил уже недовольным тоном: «А что это такая за газета “За Советскую физику”?». Я гордо ответил, что это стенная газета Физико-технического института АН СССР. С трудом сдерживая бешенство, он заметил, что все доклады будут опубликованы в газете «Правда» и конспектировать необязательно. «Для того чтобы читать газету “Правда”, необязательно было приезжать из Ленинграда в Москву, меня интересуют слова речёные, а не печатные. После того как газета “Правда” в 1953 году написала, что водородная бомба является американским пугалом, а кибернетика лженаукой, я потерял доверие к научным публикациям газеты “Правда”». Он отскочил от меня, как ошпаренный. Во время перерыва в фойе меня кто-то сфотографировал со вспышкой.

В 1984 году на Генеральной Ассамблее Европейского физического общества в Праге при обсуждении программы конференций на следующий период я предложил организовать европейскую конференцию или семинар по научным аспектам ядерной зимы. Предложение поддержали итальянцы и французы. Они мне порекомендовали больше с этой идеей не высываться, а предоставить всю подготовку им. Их рекомендация была очень толковой, так как любая инициатива с востока тогда была обречена. Конференцию организовали на следующий год.

В ночь на 2 апреля 1985 года наш главный докладчик и признанный мировой лидер Володя Александров исчез в Мадриде. Вышел из отеля вечером после своего доклада на местной конференции и не вернулся. Никогда. Прошло двадцать лет, тайна исчезновения Володи до сих пор не раскрыта. Сначала преобладало мнение, что он стал перебежчиком, потом что его похитили и вывезли в Америку. Обратились к сенатору Эдварду Кеннеди, попросили неформально поговорить с ЦРУ и спросить, не их ли это работа. Сенатор отнёсся к просьбе серьезно и поговорил. Через некоторое время от него пришло известие, что ЦРУ никакого отношения к этому делу не имеет и рекомендует поискать в другом месте.

Через три года Академия официально признала Александра погибшим при исполнении служебных обязанностей и назначила пенсию семье. Академик Моисеев был сильно расстроен потерей одного из своих лучших и любимых учеников. Он не пустил на европейскую конференцию ни одного из своих сотрудников. Во время конференции неформально спросили меня, согласятся ли советские учёные

принять участие в передаче Би-би-си по ядерной зиме. Я неформально ответил: «С удовольствием!» — «Но ведь вам потребуется какое-то время на получение разрешения из Москвы?» — «Не потребуется», сказал я, — пусть приезжают и снимают хоть завтра». — «Но ведь вы рискуете». — «Риски, которые мы обсуждаем, несопоставимы с любыми другими. Пусть Би-би-си само получит своё разрешение и приезжает», — сказал я. Мы все рвались в бой. Боя не состоялось. Би-би-си не получила свой английский о`кей и отступила на свой остров.

Однако на европейской конференции 1986 года по ядерной зиме был достигнут общеевропейский консенсус. И неизбежность наступления ядерной зимы в случае крупномасштабной ядерной войны была признана непреложным фактом. Результаты были доведены до сведения соответствующих научных сообществ и правительств.

Тезис Клаузевица о том, что «война является продолжением политики другими средствами», окончательно затрещал и рухнул. Все прежние войны были выиграны военными и политиками. «Холодная война» конца XX века была выиграна интеллигентами — учёными, писателями, деятелями культуры. Она была выиграна всеми, в ней не было побеждённых, но в ней были свои жертвы, и одной из них стал молодой российский учёный Владимир Александров. Жалко, что сейчас интеллигентов больше не осталось. Их не смогла сломить железная диктатура, их подавили и унизили свободный рынок и особенности национальной демократии.

KEEP SMILING ATTITUDE

В Центр Международной Безопасности Стэнфордского университета я попал случайно. Замдиректора Центра профессор Дэвид Х. посетил Физтех и выступил с лекцией о чём-то антивоенном. К тому времени я уже был исполнительным секретарём Комитета ленинградских учёных по борьбе за мир и сцепился с профессором Дэвидом Х. по вопросу о СОИ. Дэвид считал СОИ бесполезной программой, которую надо немедленно закрыть. Я тоже полагал, что от неё никакой практической пользы нет, как и от полётов на Луну, но что её надо обязательно развивать. СОИ мне безумно нравилась как фантастический проект, стимулирующий развитие науки. Дэвид Х. сказал, что хорошо бы эту дискуссию продолжить у них в Стэнфорде, где имеются как ярые сторонники, так и активные противники СОИ. Дирекция Центра регулярно в течение двух лет присылала мне приглашения, а мне в течение двух лет регулярно отказывали в выезде. Наконец во второй половине 1989 года советский режим ослабел настолько, что меня отпустили, и в сентябре я приехал в Стэнфорд.

Мне выделили небольшой офис, компьютер, пишмашинку, два кресла, научили пользоваться кофейным автоматом, СВЧ-печью, помогли устроиться в недорогом отеле и предоставили самому себе. Я выписал кучу журналов из библиотеки Центра и стал вживаться в материал. Через неделю меня вызвал директор Центра профессор Льюис. Он посадил меня в кресло, предложил чашечку кофе, сделал озабоченное лицо и спросил:

— Плохие вести из дома?

— Нет, ничего плохого.

— Тогда джэт-лэг?

Это такая болезнь, вызванная изменением привычных биоритмов. Нет у меня никакого джет-лэга. Пара бутылок калифорнийского вина за два вечера, и биоритмы наладились.

— Какое именно вино, — поинтересовался Джон Льюис.

— Шардоне из Сонома Вэлли.

— Нормально, вино хорошее. Тогда, наверное, климат — жарко, эвкалиптами пахнет, всё непривычно.

— Да нет, в самый раз. А запах эвкалиптов — вообще целебный. Я специально в рощу хожу подышать.

— Значит, всё хорошо? — спросил Джон мрачно.

— Всё просто отлично!

— Тогда, если дома все здоровы, джэт-лэг прошёл, климат подходит и вообще всё замечательно, почему же ты такой мрачный, *such gloomy*? Посмотри на себя — сотрудники работать не могут: почему у нас Арсений такой печальный? Что с ним случилось, как ему помочь? Если у тебя ничего плохого не произошло, не травмируй людей, улыбайся — *smile*, у нас даже в правилах дорожного движения написано: будь приветлив — *keep smiling attitude!* Тебя первый же полицейский в участок отправит за нарушение этого правила. Посмотри за окно — небо синее, солнце сияет, колибри летают, офис удобный, кофе вкусный, зарплата хорошая — улыбайся, чёрт побери, вот прямо сейчас, как я.

И он растянул свою челюсть в необъятной улыбке. Я тоже со скрипом натянул щеки на уши и так и вышел от него, держа улыбку по всей длине коридора до своих дверей. С тех пор каждое утро, уходя на работу, я смотрел на себя в зеркало, растягивал рот, скалил зубы и несколько минут выдерживал это мимическое упражнение. Для меня это было так же непривычно, как держать фехтовальную стойку враскоряку, когда я начинал заниматься фехтованием. Но привык же в конце концов и даже в чём-то преуспел. Неужели я здесь спасую! Через две недели я уже ходил как рядовой калифорниец, держал свой идиотский *smiling attitude* и ни у кого не вызывал желания оказать срочную гуманитарную помощь. Только один раз за всё время пребывания я таки нарвался на неё.

Это было 17 октября, на другой день после знаменитого сан-францисского землетрясения. Накануне в библиотеке, когда затрясло, мне на голову свалился с верхней полки громадный словарь Вебстера в твёрдом, ну очень твёрдом переплёте и слегка деформировал выступающие детали. Голову пришлось перевязать, и на следующее утро пешком, потому что автобусы ещё не ходили, с замотанной головой я отправился на работу. Вдоль всей улицы Эль Камино Реал хозяева продуктовых лавок выставили свой товар на тротуар для бесплатной раздачи пострадавшим от землетрясения. Пострадавших в нашем районе было кот наплакал, и при виде меня они выскакивали из своих лавок и торжествующе кричали:

— *Earthquake victim!* Жертва землетрясения!

И набивали бумажные мешки продуктами. У последней лавки выдали тележку с обязательством

вернуть назад и доложили доверху апельсинами и бананами. Так я и приехал на работу. Весь центр два дня усиленно питался, включая льюисовского дога, потому что в тележке оказалась коробка Педигри. Вместе с ним мы отправились сдавать тележку и получили ещё одну коробку.

Говорят, соседний институт Восточно-Европейских проблем хотел меня взять напрокат у Центра, чтобы получить свою порцию гуманитарных бананов, но Центр меня не отдал, сказал — своих жертв надо иметь.

Вообще это землетрясение основательно перетряхнуло мне мозги. Через несколько минут, когда освещение повсеместно вырубилось и светофоры погасли, на перекрёстки выскочили из проезжающих машин волонтеры, из числа тех, у кого были красные или зелёные рубашки, сорвали их с себя и начали регулировать движение. Поток машин им беспрекословно подчинялся. У больших разломов на проезжей части добровольцы выстраивали свои авто, чтобы оградить опасные участки до приезда полицейских. Ни один разрушенный дом не был ограблен, ни один. Ни одному взломщику, бандиту, вору и в голову не пришло стать мародёром и, воспользовавшись несчастьем людей, растаскивать их скарб. Я вспомнил, как во время землетрясения в Спитаке туда были направлены спецназ и ОМОН для борьбы с мародёрами. Стало обидно за державу, в которой одни советские люди выдирали золотые коронки у других советских людей, погибших под завалами. А эти посчитали для себя неприемлемым тронуть даже оказавшиеся на целые часы без охраны и сигнализации банки. Поэтому, когда где-нибудь

кто-нибудь рассказывает о том, какие американцы жадные, бездуховные, жестокие, я вспоминаю сан-францисское землетрясение, голых по пояс волонтеров на перекрестках, хозяев маленьких лавок, которые, не дожидаясь никаких призывов и распоряжений, выкатили свои товары для бесплатной раздачи пострадавшим. У меня до сих пор стоит в ушах: «Are you a victim of the earthquake? Take this, whatever you wish!» (Вы жертва землетрясения? Берите, что хотите!) Говорят и пишут, что в Новом Орлеане было всё наоборот. Не знаю, я в Новом Орлеане не был, я был в районе Сан-Франциско в 1989 г. и вспоминаю с удивлением то, чему я был свидетелем. Самое удивительное, что, несмотря на ужасное стихийное бедствие, они все держали *smiling attitude*, как и написано в правилах дорожного движения штата Калифорния.

ПРОГРАММА «ВЕСТИ»

Программа «Вести» выходила в эфир в Москве в 21 час, то есть в Калифорнии мы смотрели её в 10 утра. К этому времени почти все сотрудники Центра собирались в общей комнате, где стояли стулья, журнальные столики и кофейные автоматы. Меня сажали напротив телевизора, проскакивала со ржанием тройка лошадей, после лошадей шли титры и начиналась моя пытка — перевод текста с русского на английский. В кадре город Ленинград: очереди в продуктовые магазины, интеллигенты роются в мусорных ящиках, на станцию «Ленинград-сортировочная» прибывают десятки вагонов с овощами нового урожая. Разгружать вагоны некому, они стоят на запасных путях, капуста чернеет, загнивает. Следующие кадры: в больницах закрывают отделения, больных кормить нечем. Вешают замки на детские садики. Секретарь Обкома Гидаспов собирает экстренный пленум. Все сотрудники Центра смотрят на меня с интересом. «Как это некому разгружать вагоны, когда нечем кормить детей в киндergartenах и больных в “хоспитале”? Почему, например, ваше “парти комитти” вместо того, чтобы заседать без толку, не обратится к народу? У вас же такой послушный и дисциплинированный народ! А куда смотрит ваша церковь? Это же её святая обязанность обратиться к пастве и призвать всех верующих накормить страждущих! Вы же видели, как у нас люди помогали друг другу во время землетрясения, не дожидаясь, когда президент Буш прилетит и объявит

наш район зоной бедствия. У вас что, принципы волонтерства и гражданские инициативы начисто отсутствуют?» Повозив меня «фэйсом по тэйблу», они, довольные собой, расходились по офисам, а я оплыванный и униженный плёлся в свой, чтобы сочинять утопии на темы конверсии.

На следующий день меня снова приковывали к пыточному столбу. На этот раз показывали, как разваливается колхоз и свободные «пейзаны» раскатывают по брёвнышку скотный двор. Это зрелище было для американцев просто невыносимо. Калифорния — один из наиболее развитых сельскохозяйственных штатов США. Каждая ферма — это многомиллионное хозяйство, сельхозкооператив — это уже мощная корпорация. Бешеными темпами проводится обводнение, осушение, удобрение. Тысячи гектаров покрывают плёнкой для создания идеального климата и получения устойчивых урожаев. Государственные субсидии фермерам достигают 80 миллиардов долларов в год. В то время, когда сельскохозяйственное производство во всём мире идёт по линии объединения усилий и создания специализированных фирм, советское государство разваливает такие фирмы, оставляет крестьянина с одной лопатой и вилами и протягивает на Запад руку за подаванием. От мысли, что в ближайшем будущем в вооружённой до зубов ядерной державе начнётся голод, моим коллегам становилось худо. «Что вы делаете? Нам же не прокормить вас! — говорили они с ужасом. — Это же ещё хуже, чем “холодная война”, ещё опаснее. Раньше мы хоть могли отгородиться от вас железным занавесом, а теперь чем?» — «Не бойтесь, — говорил я им, — у вооружённой до зубов

ядерной державы зубы скоро выпадут, вооружение разворуют, а держава распадётся». Так оно вскоре и случилось.

По возвращении из Стэнфорда меня пригласили на ленинградское ТВ. Когда-то в середине 80-х я вёл там цикл передач «В мире науки». Передачи шли в самое неудобное время, когда люди возвращались с работы, однако у передачи был хотя и небольшой, но постоянный круг зрителей. Примерно половина наших программ посвящалась учёным. Я считал, что образ учёного, его личность не менее важны и интересны, чем предмет, которым он занимался.

После передачи об академике Иосифе Абгаровиче Орбели — директоре Эрмитажа, который спас многие коллекции от государственного разграбления, но не смог противостоять продаже 26 ценнейших картин западноевропейской живописи, — меня попросили больше не беспокоиться и не доводить до сведения зрителей скандальные факты, ещё официально не обнародованные. Гласность была уже обозначена, но цензура ещё не отменена.

А тут в разгар гласности меня пригласили снова и попросили рассказать, что американские учёные говорят о наших демократических преобразованиях. Моим куратором был один из главных ленинградских демократов граф Михаил Толстой. И я рассказал ему о том, чему был свидетелем. О том, что нашу подцензурную гласность они не считают свободой слова, о том, что между демократизацией и демократией существует громадная разница, о том, что голодающие города при необрушенных полях — это национальный позор, а развал колхозов — неоправданная глупость. В общем, пересказал ему всё то,

что выстрадал у себя в Стэнфорде за просмотром программы «Вести». Граф выслушал меня, помрачнел и спросил: «А персонально они кого-нибудь критикуют?» — «Персонально — нет, они знают одного Горби, а на остальных им наплевать».

«Боюсь, что у нас ничего не выйдет», — сказал граф, — они замахваются на рынок, а рынок — это святое, это основа, и это мы критиковать позволить не можем». — «Ну какой же у нас рынок, Ваше сиятельство, — возразил я, — у нас не рынок, а барахолка, и заправляют на ней жулики и паханы». — «У нас происходит первоначальный период накопления, всё идёт нормально», — сказал он строго. И я расстался с графом и ленинградским телевидением.

Период первоначального накопления кончился. По темпам роста количества миллиардеров мы впереди планеты всей. Кому что не нравится — может обсудить у себя на кухне, предварительно сбегав за «Клинским», а публичным критикам после выступлений на несанкционированных митингах или в печати обычно возражают в параднике.

А в программе «Вести» «кони всё скачут и скачут», а «избы горят и горят».

«ПРЕЛЮДЫ» ЛИСТА

Посвящается Галине Фёдоровне Борисовой

Мы привыкли к тому, что музыка звучит сама по себе, а события протекают сами по себе. Иногда музыка оттеняет события, передаёт им соответствующее настроение, но бывает, что она сливается с ними навсегда. Необязательно для всех, есть ведь люди, к музыке и безразличные. Таким повезло. Мне не очень.

В казанской спецшколе мы пели строевые песни на прогулке каждый день. Поскольку у меня голос был хотя и противный, но громкий, я был назначен подголоском к запевале. Пока он разливался на запеве своим чудным тенором, я вторил ему осипшим баритоном, придавая строевой песне необходимую мужественность. Почти все песни были в густом миноре, с какой-то обречённостью. Особенно наша авиационная:

Пропеллер, громче песню пой,
Неси распластанные крылья!
За вечный мир, в последний бой
Лети, стальная эскадрилья!

Жутко жалко было эту эскадрилью, которая летела в последний бой. И не только нам. Старушки, стоявшие на тротуаре, крестились и вытирали глаза, когда наша рота проходила с этим фатальным рефреном мимо. Другие исполняемые мелодии тоже особого оптимизма не вселяли:

До тебя мне дойти нелегко,
А до смерти — четыре шага...

.....

или:

И родная отвечала:

«Я желаю всей душой —
Если смерти, то — мгновенной,
Если раны — небольшой».

И вот, на фоне этой тоски, 6 июня 1944 года, во второй половине дня наш мрачноватый эфир вдруг захлебнулся, замер и зазвучал во всю мощь торжественными и грозными нотами «Прелюдов» Листа: та-та-рара-тата-тата-та-рам-там! Потом Ференц (в довоенном произношении Франц) Лист уступил место Юрию Левитану: «Работают все радиостанции Советского Союза». Слышно было, что Левитан волнуется, что для него это не очередная станция Вапнярка или освобождённый областной центр, а нечто из ряда вон выходящее: «Сегодня в шесть часов тридцать минут утра союзные войска при поддержке объединённых сил флота и авиации высадились во Франции на побережье Нормандии. В операции участвуют более двух тысяч самолётов, трёх тысяч судов, боевые соединения государств антигитлеровской коалиции — Великобритания, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии, сражающейся Франции. Передовые отряды армии вторжения захватили береговой плацдарм шириной до восьмидесяти километров, глубиной до десяти километров и развивают наступление в направлении городов — Шербур, Канн, Булонь и на полуострове Котантен. Вторжение союзных войск

на территорию порабощённой Франции знаменует собой открытие второго фронта и начало освобождения народов Европы от немецко-фашистских захватчиков». И снова полились могучие звуки «Прелюдов». Особенно веско прозвучали две последние ноты главной темы — рам-там!

Это сейчас: второй фронт — подумаешь! И сами бы справились, говорят сосунки и ползунки 44-го года. Но для тех, кто уже ходил в школу или стоял у станка, это было далеко не подумаешь. И для генералов было — не подумаешь. Перед ними всё ещё стояла десятиллионная гитлеровская армия, на которую работала вся Европа. И для солдат было — не подумаешь. Они ясно ощутили будущую победу и окончание войны. Второй фронт! Его столько ждали, на него так надеялись. И вот — свершилось!

В этот вечер союзным лётчикам было опасно выходить на улицы Казани. Могли задушить в объятиях, зацеловать до смерти. Казань и Куйбышев были авиационными столицами России. Здесь были самые крупные авиазаводы, сюда пригоняли сначала сотни, а потом тысячи самолётов союзников с Дальнего Востока, Севера, из Ирана. Здесь союзники передавали свои самолёты нашим летунам и улетали за новыми. И у всех наших был один вопрос — ну когда же начнёте сами? Началось!

Под звуки «Прелюдов» Листа и Первого фортепьянного концерта Чайковского звучали завершающие строки Тегеранской декларации: «сила наших ударов будет неизменно нарастать, ничто в мире не сможет остановить нашего порыва».

В оставшиеся перед отъездом в летние лагеря дни наши преподаватели — списанные из армии лётчики-

инвалиды — на карте показывали ход боевых действий, радовались, что союзникам удалось сохранить в тайне направление главного удара, и, не скрывая восхищения, рассказывали об успехах авиадесантных дивизий, высадившихся в тылу немецких войск и перерезавших все пути их снабжения и отхода. «Это им за Дюнкерк!» — говорили они. Я тоже помнил, что, когда немцы сбросили остатки англичан в море под Дюнкерком в 1940 году, наша пресса очень радовалась. Даже нам, школьникам, было стыдно читать в газетах подхалимские, пронемецкие комментарии о войне в Европе. Ну, пресса, она и есть пресса, за неё всегда стыдно при любом режиме, при любом раскладе. А трубный глас «Прелюдов» Листа 6 июня 1944 года навсегда останется в памяти.

9 мая — «это праздник со слезами на глазах», и с каждым годом слёз всё больше и больше. А 6 июня был праздник всеобщего ликования, праздник надежды, праздник единения. Потом ещё была встреча на Эльбе, но это была уже совсем другая музыка — с политесом, под присмотром, с оглядом и последствиями.

Давно остался в прошлом чешский классик Бедржих Сметана — создатель национальной чешской музыки. У нас в филармонии она исполняется раз-два в году. Сейчас, может, и реже. Но 21 августа 1968 года наступил его звёздный час. В это утро я приехал в командировку в Москву. День был воскресный, и мы договорились с Эриком Далбергом, что я зайду после завтрака к нему в гостиницу «Россия», а потом мы пойдём куда-нибудь, пошляемся вместе. Эрик был сотрудник лаборатории физики плазмы Стокгольмского политехнического института. У нас

находился по программе академических обменов, большую часть времени проводил в Ленинграде, но посещал и научные центры Москвы и провинции. В то время мы дружили со шведскими физиками, и с удовольствием катались друг к другу.

Выйдя на станции «Охотный ряд», я направился на Красную площадь. Там царило какое-то оживление, не похожее на обычное воскресное. Люди, в основном молодые, сновали туда-сюда, сбивались в кучки, снова разбегались, но эпицентром этой суеты было, без сомнения, Лобное место. Я протолкался поближе к нему и увидел, как на него залезают несколько человек и двое из них разворачивают плакат «Руки прочь от Чехословакии!». Сначала я подумал, что он адресован каким-нибудь империалистам или агрессивному блоку НАТО и всё это очередная комсомольская агитка. Но тут же мысль застопорила и повернула в другую сторону. Во-первых, империалисты и НАТО не так уж и лезли в Чехословакию, чтобы заставить махать лозунгами напротив Кремля. Во-вторых, не таким уж и комсомольским был возраст митингующих. Возникла бредовая мысль, что это киносъёмка, а всё окружение — массовка. Но как возникла, так и исчезла. Не видно никаких осветительных приборов, ничего не огорожено, никто не орёт в мегафон. И тут дошло — что это демонстрация, политическое выступление на Красной площади, первый раз за сорок лет. «Руки прочь...» маячили недолго. Запрыгнувшие на Лобное место крепкие молодые люди в летних рубашках вырвали плакат у митингующих, заломили им руки за спину и поволокли к подъехавшим «Волгам», обыкновенным светлым «Волгам», и запихнули туда этих, которые...

Тут же другие молодые люди стали хватать тех, кто стоял поблизости. В одном из них я узнал Павла Литвинова по фотографии в «Newsweek» и всё понял. Павел говорил: «Только без рук, только без рук...» и сам направился к ожидавшей его «Волге», слегка подталкиваемый в спину. Машины всё подъезжали и заполнялись. Толпа у Лобного места заметно поредела, люди рассеивались кто куда. Некоторых из них хватали уже «в рассеянии».

Я беспрепятственно прошёл мимо собора Василия Блаженного к главному входу в гостиницу. Зубы не стучали, озноб не тряс, но сердце билось учащённо. Я поднялся на один из верхних этажей, постучал в номер. Эрик тотчас же открыл. Вид у него был взъерошенный. Он махнул рукой — давай, мол, проходи — и побежал к подоконнику. Там стоял его приёмник «Sony» с вытянутыми за окно усами антенны. «Sony» у Эрика работал с 13 метров и через «железный занавес» ходил как хотел. Вот и сейчас он сообщил нам, что русская служба ВВС продолжает свою экстренную передачу из Праги и Москвы. «Вы слышите рокот советских танков. Они приближаются к Вацлавской площади. Через несколько минут советские солдаты займут здание чешского радио. Это последние минуты нашей свободы. Это последние минуты и вашей надежды на свободу». И полились звуки симфонической поэмы Бедржиха Сметаны «Моя Родина». В последние минуты свободного чешского радио на весь мир, на всех волнах зазвучала величественная и печальная музыка Сметаны. Никогда раньше она так не звучала, никогда раньше она не обращалась к миру с таким скорбным посланием. Эрик повернулся ко мне: «Что у вас там на площади?» Первой

мыслью было — откуда он знает? И, как бы отвечая на мой вопрос, он добавил: «Это правда?» Я рассказал ему о только что увиденном. Внезапно радио замолчало и тот же взволнованный голос сообщил: «Танки только что прошли Вацлавскую площадь, но к нам ещё никто не вломился. Нам только что сообщили из Москвы — демонстрация на Красной площади разогнана. Они несли лозунг «За нашу и вашу свободу». Лозунг разорван и растоптан, организаторы демонстрации арестованы. Мы прощаемся с вами, наши советские радиослушатели, но прощаемся не навсегда. А пока слушайте последние звуки свободного чешского радио на волнах BBC». И снова полились звуки симфонической поэмы Сметаны. Так она и осталась в памяти. Не как опус № 47 средневропейского композитора, а как прощание чехов со своей свободой. В 1945 освободили, а теперь — задушили.

Прошло двадцать лет с лишним. В ноябре 1989 года я находился в США по приглашению Центра международной безопасности и контроля за вооружениями (CISAC) при Стэнфордском университете. Приглашение я получил в связи с проявленной склочностью при обсуждении доклада одного из руководителей CISAC в нашем институте. Расхождения начались с оценки эффективности космической обороны. У них это называлось «Стратегическая оборонная инициатива президента Рейгана», у нас это сокращённо обозначалось СОИ и разнообразно склонялось — в гробу мы видали эту сою, нас этой соей не запугаешь и т. д. В общем, всячески глумились над ней, хотя у самих поджилки тряслись. Руководитель CISAC сказал — раз такой умный и несогласный, приезжай к нам поработать на семестр. Нам несогласные нужны.

Года полтора меня не отпускали в Стэнфорд. Всё хотели какого-нибудь американиста прицепить в придачу, но я всё отказывался. Наконец наши сказали — чёрт с тобой, поезжай один, раз такой упрямый, тебе же хуже, вдвоём всегда веселей. И я поехал один — пусть мне будет хуже.

Утром 9 ноября по громкой связи в CISAC оповестили — все сотрудники приглашаются в библиотеку на телерепортаж о событиях в Берлине. Сердце заныло — опять танки у стены или ещё какая-нибудь гадость... Но по музыкальному сопровождению было не похоже. На экране знакомый пейзаж — Берлинская стена, маурер, а вот и старый приятель — Чек-пойнт Чарли. Сторожевая вышка окружена людьми, шлагбаумы сломаны, поток людей в обе стороны, смеющиеся и плачущие лица. А где же грепо, вопо, штази? Не видно! Люди карабкаются на стену, разворачивают на ней лозунги: «Deutschland Einig Vaterland» — «Германия единая Родина». Неужели мы сдали стену? И как бы ответом зазвучали первые звуки «Оды к радости» из Девятой симфонии Бетховена. Сначала вступление баса, потом робкие реплики хора и наконец неудержимая, безбрежная мелодия, написанная на будущее и пронзившая наше настоящее.

Радость, дивной птичкой счастья
Ты в сердца слетаешь к нам.
Мы с восторгом беспредельным
Входим в твой чудесный храм.

Так она и звучала в эфире в последующие дни, пока тысячи людей крушили, ломали, валили и растаскивали эту ненавистную загородку, которая

в одних местах возвышалась как неприступный бастион, а в других — становилась позорным сеточным загоном в зоопарке для человеков.

И теперь, как только где-то звучит Девятая симфония — в филармонии, по телевидению, из Лондона, Парижа, Нью-Йорка, — так сразу встаёт в памяти Берлинская стена, маурер, с ликующими людьми на ней, и ощущение абсолютной безграничной радости, какую редко удавалось испытать нам — людям двадцатого века.

Ещё один музыкальный дивертисмент прозвучал 19 августа 1991 года по случаю путча ГКЧП. В 6.00 по радио зачитали заявление советского руководства о введении чрезвычайного положения и образовании ГКЧП. После этого, естественно, ожидалось соответствующее музыкальное сопровождение типа «Вставай, страна огромная» или «Вставайте, люди русские» из кинофильма «Александр Невский или, на худой конец, «Славься, славься» из «Ивана Сусанина». В общем, хватит спать, тут власть перевернулась, нечего дрыхнуть! Вместо этого на экранах телевизоров по всем программам появляется четвёрка маленьких лебедей из второго акта «Лебединого озера» и исполняет свой знаменитый номер. Вроде как ничего не произошло.

Однако в час дня маленькие лебеди бочком, бочком упрыгивают за кулису, и на танк забирается Борис Николаевич Ельцин. Он зачитывает «обращение к гражданам России» и призывает граждан дать достойный ответ путчистам. Маленьким лебедям на танке делать нечего. Следует какая-то невнятная музыка из раннего Чайковского и позднего Стравинского, хотя после танка очень бы подошли «Богатырская»

симфония Бородина или «Богатырские ворота» Мусоргского. К сожалению, у историка Алексея Венедиктова с музыкальным образованием не очень, и они на «Эхе Москвы» не сориентировались. Ну, а маленькие лебеди перестроились в колонну по двое и перед пресс-конференцией ГКЧП их снова заставили проскакать наискосок по экрану, пригвоздив навек к неудавшемуся путчу. На пресс-конференции номинальный лидер ГКЧП Геннадий Иванович Янаев дрожал руками вполне в ритме маленьких лебедей, а через сутки всю компанию увезли в «Матросскую тишину». А картинка в памяти народной осталась: прилепившиеся друг к другу солистки кордебалета и трясущиеся руки неудавшегося диктатора.

И вообще, музыкальное сопровождение заслуживает большего внимания. Музыка способна любое деяние или событие возвеличить, а может осмеять и унижить. Поосторожней надо с музыкой!

ИСААК ГЛИКМАН И ДРУГИЕ ИВАНЫ, НЕ ПОМНЯЩИЕ РОДСТВА

В моей памяти безродные космополиты, формалисты-абстракционисты, вейсманисты-морганисты, талмудисты-начётчики сплелись в сплошную череду жертв следующих друг за другом погромов интеллигенции. Только придавят какого-нибудь растленного генетика, тут же вылезает очередной «сочинитель сумбура вместо музыки». Я ничего не понимал в геномах, фонемах и модемах, но насчёт доминант-септаккорда, консонансов и диссонансов меня было трудно одурачить. Я считал Пятую симфонию Шостаковича гениальным произведением, и никакие малограмотные разборки уважаемого Андрея Александровича Жданова меня в противном убедить не могли. Разгром формалистов в консерватории я пропустить не мог. Пропустил лекцию по атомной физике, какие-то упражнения и отправился в Большой зал консерватории. У меня ещё сохранился студенческий билет музыкального училища, по которому я и прошёл на это аутодафе.

Всё было в лучших традициях суда инквизиции. За столом сидели суровые судьи, среди них белый, как мел, Павел Серебряков — ректор, рядом полковник — зав. военной кафедрой, бывший капельмейстер, наоборот, красный, как будто он на бас-геликоне отдул весь октябрьский парад, и какие-то серые личности, как и полагается в суде инквизиции. У пыточного столба, то есть за кафедрой, стоял профессор Друскин и попеременно клялся

и винился. Клялся, что он больше никогда не будет хвалить формалистов, и винился, что чёрт попутал, не усмотрел, не разобрался, не расслышал. Полковник сказал:

— Вот, пусть он сейчас срочно переучивает обратно своих студентов, причём бесплатно.

Студенты заволновались, зашумели, испугавшись, что на них навесят дополнительные занятия, закричали:

— Не надо, мы его и слушать не хотим! Пусть брошюру напишет, к экзамену прочитаем, чего там переучивать! И так всё ясно!

Учитывая чистосердечное раскаяние профессора Друскина, его отпустили. Он ушёл, хватаясь рукой за грудь.

Следующим был доцент Гликман. Громадного роста, плотный, широкий, несуетливый, он вышел к судилищу и сказал:

— Я считал, что главное для преподавателя — быть искренним в своих лекциях, трудах и публичных выступлениях, и за долгие годы работы в музыке у меня выработался свой вкус и свои пристрастия. Я хвалил то, что мне нравится, и критиковал то, что я считал пошлым, непрофессиональным, раздражительным. Теперь я вижу, что я был не прав и что мне следовало восхвалять то, что у меня вызывало неприятие, и всячески дискредитировать то, что я считал высшим достижением современной музыки. Я не могу так поступать и прекрасно понимаю, что не могу больше преподавать в Ленинградской консерватории. Я прошу моих учеников простить меня за то, что я делился с ними своими «узко эстетствующими» взглядами, как здесь было сказано, но я

надеюсь, что они достаточно взрослые и достаточно самостоятельные люди и прекрасно во всём разберутся сами, по крайней мере с течением времени.

На этом безродный космополит Исаак Гликман своё выступление закончил, сошёл с лобного места и спокойно, не торопясь вышел из зала и из консерватории навсегда. Я посмотрел на лица присутствовавших. Кто-то ухмылялся, кто-то возмущался вслух, кто-то оставался внешне безучастным. Павел Серебряков, побелев ещё больше, предоставил слово зав. военной кафедрой.

Я пробрался к выходу и поспешил обратно в университет. Смеркалось. По университетскому двору две тётки в ватниках волокли на санках по свежесвыпавшему снегу два белых гипсовых бюста. Оба с бородками, с усами, в очках. Один из них мне показался очень знакомым. Ну конечно, я же видел его в коридоре главного здания. Второй имел вид типичного дореволюционного профессора, судя по формату — тоже из коридора.

— Кого это вы везёте? — спросил я у тёток.

— Да этих, Марра и Веселовского, в стройконттору перебивать на крошку.

Господи, как же я сразу не узнал Марра! Мог ведь и догадаться, что это именно он со своим учеником академиком Веселовским едет на ликвидацию.

— А вам обязательно их туда тащить, я бы их взял! Всё равно ведь разбивать!

— И не думай, — сказала одна, побойчее. — К нам ещё в коридоре подкатывались. Ты тут не один такой, лучше помоги нам, а там, может, с мастером и договоришься.

Я пристроился к санкам сзади, взял Веселовского за уши и стал поддерживать, чтобы он не скатился. В бараке стройконторы нас ждал мастер.

— Привезли? Лады, сейчас мы их опроцедуруем.

— А может, не надо? Чего им так пропадать, ни за что, а то я бы сбежал на Менделеевскую в «Дунай», принёс бы чего согреться.

Мастер посмотрел на меня, спросил:

— А что, который из них твой родственник?

— Нет, — ответил я, — вот этот вот лысый из школьного учебника. Мы про него проходили.

— Ну вот, проходили и прошли, и ты проходи. А у меня твёрдые указания — разбить на крошку и об исполнении доложить немедленно. Отойди.

Он взял приготовленную заранее кувалду и треснул по темечку сначала Николая Яковлевича, а потом его верного ученика. Я повернулся и побежал прочь. Вслед доносились мерные звуки кувалды, перебивавшей остатки гипсовых бюстов.

Несколько лет спустя я встретил Исаака Гликмана в кресле музыкального редактора «Ленфильма». У него был наш сценарий музыкально-комсомольской комедии «Невские мелодии», куда мы собирались вставить много песен молодых самодеятельных композиторов. Исаак Гликман протянул нам наш сценарий:

— Это вы написали эту гадость? — спросил он без предисловий. — И вы хотите, чтобы по ней поставили музыкальный фильм? Интересно, музыка у вас тоже такого же уровня?

— Нет, музыка у нас намного лучше. Мы только из-за музыки и согласились.

— Ага, понимаю, — смягчился бывший доцент, — так сказать, компромисс.

Кинофильм «Невские мелодии» вышел в прокат через год. Это был самый плохой фильм в истории «Ленфильма», но меня порадовало то, что нашлись на «Ленфильме» люди, которые не побоялись взять на должность редактора нераскаявшегося космополита, и то, что сам Исаак Гликман так и остался «Иваџом, не помнящим родства». Слава Богу, что хоть кто-то не сломался.

ДВА КОНЦЕРТА

До войны беспартийная ленинградская интеллигенция любила ходить в филармонию. Беспартийная интеллигенция — это профессура, инженеры с гимназическим образованием, доктора медицины, члены разнообразных творческих союзов, разночинцы и другие осколки старого мира. На хорах теснились учителя и студенты. Главным слушателем филармонии был его сиятельство граф, писатель Алексей Толстой в сопровождении многочисленного семейства, а главным лектором — несравненный Иван Иванович Соллертинский, которого иногда заменяли молодой Андроников и всеведущий Вайнкоп. Главным дирижёром был всеобщий кумир Евгений Александрович Мравинский, а вторым дирижёром — эмигрант из фашистской Германии Курт Игнатъевич Зандерлинг. Наиболее эффектными симфоническими произведениями дирижировал Мравинский, наиболее трудными — Зандерлинг. Иногда в филармонию приезжали иностранные знаменитости — Отто Клемперер, Фриц Штидри, Артур Шнабель. Ходили легенды о чудомальчике, белокуром ангелочке Вилли Ферреро.

После войны иностранные дирижёры долго не приезжали, и взыскательная публика удовлетворялась местными маэстрами — Александром Гауком, Натаном Рахлиным, Кириллом Кондрашиным и молодой порослью, которую Мравинский иногда допускал встать за пульт и помахать палочкой. И вдруг, как гром с ясного неба, пронеслось — к нам едет Ферреро! Сам несравненный чудо-ребёнок Вилли

Ферреро, но уже не ребёнок, а прославленный мэтр. И что же он будет исполнять? «Болеро» Равеля! От одного этого названия сердца любителей музыки бешено заколотились. «Болеро» Равеля в исполнении Вилли Ферреро! Эти слова передавались друг другу как заклинание, как молитва. В филармонии быстро образовалась очередь со списками, обязательными отметками, неизбежными скандалами «Вас здесь не стояло!», тайным распределением по каналам и каналам власти. Но в конце концов я тоже стал счастливым обладателем билета на заветный концерт.

Перед концертом Ферреро провёл несколько репетиций, на которые пускали студентов консерватории. От них я узнал, что великий маэстро на репетициях бесчинствовал, топал ногами, ломал дирижёрские палочки, выкрикивал какие-то итальянские заклинания, которые переводчик, бледнея, называл «непереводимой игрой слов», но в итоге Ферреро добился своего. Заслуженный коллектив начал играть как полагается, без киксов в валторнах, без фистул фаготов и прочего музыкального брака. Многие знают, что в «Болеро» основой является ритм и партия барабана доминирует над всем оркестром. Не доверяя нашим ударникам социалистического труда, Ферреро привёз из Италии своего барабанщика.

— Ну и как он? — спрашивал я свидетелей.

— Услышишь, — отвечали они загадочно.

И вот пришёл долгожданный вечер. Уже у вешалки, с которой начинается каждый театр, было видно, что не один Ферреро готовился к этому вечеру, но и все полторы тысячи слушателей. Сдавая свои издавшие виды мантии, макинтоши и труакары,

эти ленинградские любители прекрасного оказывались в вечерних платьях с драгоценностями, в дорогих тройках, крахмальных рубашках с антикварными запонками, чудом сохранившимися с незапамятных времён. По фойе и променуару разносился аромат не «Белой сирени» и «Красной Москвы», а чего-то совсем другого, незнакомого и загадочного, как само «Болеро» Равеля.

В то время «Болеро» у нас не исполнялось. И сам Равель, и его «Болеро» считались чуждыми уху советского человека. Нам эти музыкальные импрессионистские гримасы были противопоказаны, по мнению властей. Им дела не было, что весь этот музыкальный импрессионизм родился у нас здесь, в России, под пером Модеста Мусоргского, вышел из его «Картинок с выставки» и «Плясок смерти». А чем «Шехерезада» Римского-Корсакова менее импрессионистична, чем «Болеро»? Но идеология и логика — две вещи несовместные, как гений и злодейство, а музыка вообще живёт по своим законам и властям предрержащим почти не подвластна. Власти это, конечно, страшно раздражало, и они время от времени обрушивались на наиболее талантливых композиторов и даже учили их музыкальной грамоте. На одном из совещаний, которое проводил Андрей Александрович Жданов в Союзе композиторов, вождь сам сел за фортепьяно, взял несколько аккордов и спросил:

— Разве это музыка?

Со своего места поднялся Сергей Сергеевич Прокофьев и пошёл к выходу.

— Куда же вы, Сергей Сергеевич? — закричал председательствующий Тихон Хренников.

Прокофьев обернулся и громко ответил:

— В зале, где на рояле играют дилетанты, профессионалам делать нечего.

И ушёл. И ничего ему за это не было! Так, по крайней мере, говорит легенда. Но не у всех хватало мужества. Дмитрий Дмитриевич Шостакович, например, после очередного разноса взял да и написал ораторию «Песнь о лесах». «Тополы, тополы, скорей идите во поле» и «Если Сталин сказал — это будет, мы ответим ему — это есть». Текст и музыка были настолько нарочито подхалимскими, что эта оратория практически никогда не исполнялась после премьеры. Я помню, как одна музыкальная старушка, вытирая слёзы, после первого исполнения приговаривала:

— Бедный Дмитрий Дмитриевич, что они с ним сделали!

На самом деле Дмитрий Дмитриевич вскоре оттянулся по полной на своём цикле еврейских песен. Когда Нина Дорлиак и Леокадия Масленникова дуэтом в Малом зале пели, почти кричали: «Врачами, врачами стали наши сыновья», а дело-то было во время «процесса врачей-убийц», и слушатели с ужасом смотрели друг на друга, ожидая, что сейчас-то и случится то, чего они боялись всю жизнь.

Но это было всё потом, потом, а сейчас ленинградская интеллигенция пришла на встречу с запретной музыкой как на праздник, как на общий сбор рыцарей ордена меломанов. И вот оркестр расселся и вышел маэстро. Почти стон пронёсся по рядам. Вместо ожидаемого длинноволосого красавца, этакое Рихарда Вагнера или Ференца Листа, вышел сутуловатый, маленький, худенький человек с остатками легендарной шевелюры, поднялся за пульт, сказал

пару слов своему солирующему барабанщику, который сидел прямо перед ним, и взмахнул палочкой. И в полной, абсолютной тишине прозвучали еле слышные первые звуки барабана, обозначившие весь ритмический рисунок этой волшебной музыки. Каждый из нас слышал «Болеро», каждый из нас знает, как всё громче и громче звучит основной мотив по мере того, как вступают всё новые инструменты, и как всё настойчивее и беспощаднее отбивается барабанный ритм. Но тогда всё было для многих впервые.

Да, не зря старался Ферреро на репетициях, выбивая из нашего заслуженного коллектива остатки социалистического реализма и российского разгильдяйства. Звук был идеальный, но бог с ним, со звуком. Откуда у них взялось это вдохновение, это неистовство, с которым они исполнили завершающую часть? Ферреро позволил себе вопреки всем канонам задержаться на одной из повторяющихся верхних нот, выбиваясь из железного ритма, и эта нота прозвучала как крик отчаяния. Соседка справа впиалась мне в руку ногтями и застонала. Потом мелодия отступила вниз, поползла по полутонам снова вверх — раз, два, три, и обрушилась с обрыва в пропасть, разбившись вдребезги. Несколько секунд стояла мёртвая тишина, Ферреро вытирал лоб, не поворачиваясь к публике. Наконец зал пришёл в себя, а потом вышел из себя. Остановить всеобщее безумство не было никакой возможности. И Ферреро, поклонившись залу, повернулся к оркестру, взмахнул палочкой, и они сыграли на бис заключительную часть. Что там было во втором отделении, никто уже и не помнит. Что-то из классики. Но после пережитого катарсиса настроиться на восприятие обычной музыки было уже

невозможно, и поэтому профессиональные критики и знатоки отметили, что классика ему не удалась. Но все прекрасно понимали, что второе отделение было для него входным билетом на эти гастроли. Для многих из нас этот концерт стал моментом истины. Подобного музыкального события не было четыре года, пока не приехал Бостонский симфонический оркестр с Юджином Орманди.

Бостонский симфонический оркестр приехал в 1955 году. Меломаны стали облизываться за полгода до события, предвкушая и надеясь. Уже скоро сто лет с тех пор, как лучшими оркестрами мира стали Бостонский, Филадельфийский и Нью-Йоркский. Нью-Йоркским дирижировал Артуро Тосканини, Филадельфийским — Леопольд Стоковский, а Бостонским — в течение четверти века наш родимый Сергей Александрович Кусевицкий. Именно этот уроженец Вышнего Волочка, петербургский контрабасист Сергей Кусевицкий стал самым знаменитым и самым уважаемым музыкантом Америки. Именно он открыл ей её собственных композиторов, о которых Америка не знала. Он подарил этой стране её музыкальную культуру, основав знаменитые Тэнгльвудские сезоны, фестивали и музыкальные школы. Именно он, широкий русский человек, дал тысячу долларов никому не известному молодому музыканту Бенджамену Бриттену, чтобы он спокойно сел у себя в мансарде и закончил оперу «Питер Граймс». С этой оперы Англия приобрела своего второго, со времён Генри Пёрселла, национального композитора. А Бенджамен Бриттен на всю жизнь сохранил любовь к русским музыкантам и к России, что бы там

ни вытворяли безмозглые политики, травившие его друзей Шостаковича и Растроповича. В отличие от своего великого тёзки Сергея Рахманинова Сергей Кусевицкий полюбил Америку и вдохнул в неё музыкальную душу. Двести американских симфонических оркестров — это половина оркестров всего мира.

Однако вернёмся к предстоявшим гастролям. Знаточи глубокомысленно размышляли: «Почему это оркестр едет не со своим дирижёром Чарльзом Мюншем, а с Юджином Орманди из Филадельфийского оркестра? Может, Мюнша не пустили по анкетным данным, потому что он был на оккупированной территории в Париже? Однако сами французы наградили его орденом Почётного легиона за участие в сопротивлении. Может, он не любит русскую музыку? Но среди его записей и Чайковский, и Прокофьев, и Рахманинов». В общем было совершенно непонятно, почему для русских гастролей Бостонский оркестр пригласил из Филадельфийского Юджина Орманди. Это создавало дополнительную интригу и щекотало нервы меломанов.

Наконец незабываемый вечер наступил. Первое, что схватывал взгляд зрителя, входящего в белоколонный зал филармонии, были два огромных флага — советский и американский, свисающие с потолка до сцены по обе стороны органа. Слухи ходили, что с флагами был лёгкий скандал. Их привезли американцы. Наши посмотрели, поморщились, спросили: «Зачем такие большие? У нас же не встреча на высшем уровне, опять же, заслоняют две ложи на хорах, а мы уже билеты на них продали». Американцы сказали: «Подумаешь невидаль, встреча на высшем уровне,

а это происходит первый раз в истории и должно врезаться в память. Может, мы новую эпоху начинаем. Что касается этих зрителей, то мы деньги вернём, а вы их пустите по входным бесплатно». Наши в бутылку не полезли, и громадное звёзднополосатое заслонило полгоризонта. На вторую половину никто и не смотрел — насмотрелись на демонстрациях.

Оркестр рассаживался, зрители придирчиво рассматривали фраки и платья музыкантов. Фраки как фраки, фрак он и в Африке чёрный с атласными лацканами. Слегка удивили медные духовые. То ли все новые, то ли их чистолем надраили, чтобы они так блестели. Но сияли они под филармоническими люстрами, как тульские самовары на ВДНХ. Наконец всё затихло, зрители перестали кашлять, вышел Юджин Орманди, слегка кивнул в сторону зрительного зала и, не открывая нот, взмахнул палочкой. И тут под сводами Большого зала раздался аккорд. Но какой аккорд! Такого аккорда мы ещё не слышали. Всё сверкающее золото медных духовых и литавр, вся пронзительная мощь струнных вылились в этот аккорд, поддержав его до полного выдоха, оркестр сыграл первые шесть нот вниз и вверх — начало американского гимна. Зал как вытолкнуло из кресел. Все вскочили и повернули головы в сторону звёзднополосатого. А гимн разрастался и заполнял зал звуком неслыханной силы. Звучала мелодия, которую десять лет глушили, давили на всех диапазонах, на которую настраивали радиоприёмники, накрыв их одеялом, чтобы не было слышно в соседних комнатах коммунальной квартиры. И вот она звучит, торжествуя, в исполнении лучшего оркестра мира, и мы стоим и слушаем, и от этих звуков колышутся

звёзды флага перед нами. В горле перехватило. Я повёл глазами направо, налево — у них тоже перехватило, у некоторых текли слёзы. Сыграв весь гимн без купюр, оркестр сделал паузу, некоторые стали присаживаться. Орманди снова взмахнул палочкой, оркестр выдохнул новый аккорд, знакомый, привычный, и полились звуки «Союз нерушимый». Но боже, что они с ним сделали! Не изменив ни единой ноты, но чуть в более медленном темпе, чем обычно, они сыграли нам нечто величественное и благородное. И мы уже смотрели друг на друга и улыбались. Надо же! И как они хорошо звучат один за другим, и как славно рядом висят наши флаги. Правильно, что американцы упёрлись и оставили эти громадные полотнища, достойные наших народов.

Вот, собственно говоря, и всё. Всё остальное уже было не так важно, по крайней мере для меня. «Железный занавес» со всеми своими глушилками оказался просто пустым местом. Потом его снова натягивали и даже возводили из бетона и проволоки, но он также рухнул на раз. Просто на это ушли один день и одна ночь.

В этот день и в эту ночь я был в Стэнфорде в Центре международной безопасности. Девятого ноября, наглядевшись по ТВ на растаскивание Берлинской стены, руководство Центра решило устроить праздник. Накупили вина, сыров, выставили столы на лужайке и позвали нас всех отметить событие. С «восточной» стороны стены я был один, и все подходили ко мне с бокалами, чокались, обнимали и говорили:

— The Cold War is over — «холодная война кончена», Арсений, нет больше «холодной войны».

Давай выпьем за это. Скажи что-нибудь, ты ведь единственный с той стороны.

И я им сказал, что у нас этой «холодной войны»-то и не было. Пропаганда была, а войны не было. По крайней мере, я не знаю ни одного человека, который бы сам чувствовал себя в состоянии войны, и я рассказал им о концерте Бостонского оркестра в 1955 году и об этих первых шести нотах. Тогда Билл Перри, директор, расчувствовался и сказал:

— Ты должен написать об этом, Арсений. Мы же в Америке ничего не знаем о вас.

Ну вот, написал. Вряд ли в Америке стали знать больше о нас с тех пор.

ВЛАДЫКО

В 1988 году в Ленинграде реанимировали Комитет ленинградских учёных (КЛУ) по борьбе за мир. В Москве уже несколько лет действовал Комитет советских учёных (КСУ), и Ленинград не мог оставаться в стороне. Председателем КЛУ стал академик И. А. Глебов, Учёным секретарём назначили меня как уже опытного миротворца. Когда ленинградский Комитет собрался на своё первое заседание, в его повестке, как всегда в России, были — «что делать?» и «с чего начать?». Ни у кого ясных идей не было, но тут Эдик Тропп — ныне всеми уважаемый Главный Учёный Секретарь Санкт-Петербургского Научного Центра профессор Э. А. Тропп — предложил к работе нашего Комитета привлечь религиозную общественность. «Мы — Академия наук, а они — Духовная Академия, тема им близкая. И с батюшками куда приятнее объединяться, чем с генералами, как это у Московского КСУ».

Академику Глебову и всем нам предложение понравилось, и Комитет постановил направить своего Учёного Секретаря в Духовную Академию для переговоров на эту богоугодную тему. Через несколько дней я отправился на набережную Обводного канала, 17, в Академию. Там же находились Духовная семинария и приёмная Митрополита. После краткого интервью, данного у входа двум дежурным инокам, я был допущен к Ректору Академии, Пресвитеру Владимиру Сорокину. Владимир Устинович был человеком деловым, мои прелюдии он оборвал на втором же такте и сказал:

— Ну с этим надо к Владыке. Он как раз сейчас интересуется контактами с учёными по поводу Базельской Ассамблеи. Подождите здесь, я к нему схожу. Наверное, он примет нас.

— Вот так, сразу?

Я был морально не готов к встрече с Митрополитом, хотя до этого разных советских чиновников навидался достаточно. Но одно дело — заурядный аппаратчик, а другое дело — Митрополит, хотя в чём именно другое дело, представлял себе смутно. Сорокин вернулся и сказал просто:

— Владыко ждёт, пошли.

В конце коридора двойная дверь вела в обширное помещение с большим массивным столом посередине, тяжёлыми старинными креслами вокруг и множеством портретов святителей по стенам. Владыко встал из-за стола, пожал мне руку и сказал, что я появился очень кстати в связи с подготовкой к этой загадочной Базельской Ассамблее. Но я не дал себя сбить с толку и снова стал исполнять увертюру к борьбе за мир и объединения усилий в этом деле. Владыко заметил, что церковь всегда за мир, для неё это один из догматов веры и объединяться с кем-то она не видит необходимости. Потом он немного подумал и добавил:

— Как мы можем с вами объединяться? Наши положения слишком неравны. В вашей науке вы имеете тысячи, сотни тысяч книг, вы их читаете, пишете, они хлеб вашей науки. У нас всего одна книга — Священное Писание, и мы не можем ни издавать его, ни давать верующим. За ввоз Священного Писания людей хватают как за контрабанду и ввергают в узилища. На таможне целые склады набиты

Библиями. Вместо того чтобы отдать эти книги людям, их уничтожают как наркотики, как отраву. Если вы, учёные, пришли к церкви, то помогите церкви. У вас есть влияние, авторитет, в вас иногда говорит голос совести. Помогите нам сделать доступными наши священные книги, и с вами пребудет Божья благодать. А до этого — нет, это было бы лицемерием.

Аудиенция по существу была окончена. Я поднялся и пообещал передать послание Владыки своим коллегам. Владыко перекрестил меня, и я отправился в своё КЛУ докладывать результаты беседы.

— Ну что, значит, будем издавать Библию? — спросил у всех Эдик.

Игорь Алексеевич Глебов задумался, но не сказал «нет».

Дальнейший ход событий был настолько сумбурным, что я не упомяну их последовательности. Но через некоторое время образовался редакционный совет по первому в советское время изданию Библии. За основу была взята «Толковая Библия» Лопухина, изданная в 1914 году. Её надо было напечатать в современной орфографии, снабдить некоторыми дополнениями и комментариями к толкованиям. Кроме того, по требованию двух наиболее активных членов редсовета было решено её сопроводить иллюстрациями Густава Доре. Таким образом, Библия получалась вполне христианская, но не очень православная. Один из членов редсовета, председатель библейской комиссии Митрополии Константин Иванович Логачёв, переговорил с владыкой насчёт иллюстраций, и тот нехотя согласился. В качестве образца была набрана первая глава Ветхого Завета, и я понёс её Владыке.

Алексей Михайлович, а это был он, будущий Великий Патриарх Московский, внимательно посмотрел главу, взял с полки лопухинскую библию, сравнил и сказал:

— Ну что же, работа добросовестная, продолжайте дальше, и труды ваши не пропадут втуне.

Набор первой главы мы оплатили из своих средств. Набор целой книги представлял серьёзную финансовую задачу. Это в наше время каждая шишка на ровном месте так и норовит постоять со свечкой вблизи аналоя и облобызаться с иерархом, а тогда ревнителей веры в верхних слоях не наблюдалось, и мы пошли в народ — обратились к трудовому коллективу типографии им. Ив. Фёдорова. Трудовой коллектив сказал: «Давайте наберём, доколе, на самом деле. Вон Коран набирали за госсчёт, никто и не пикнул, а тут родное Евангелие уже семьдесят лет издать не можем. Согласны работать в долг, напечатаем, распространите — рассчитаетесь».

Осталось дело за бумагой. «Заграница нам поможет», повторял вслед за Остапом Эдик. Я как раз уезжал в Америку на три месяца и там надеялся обратиться к братьям и сестрам с просьбой скинуться и купить нам два-три рулона приличной бумаги.

Православные соотечественники оказались людьми разными по своим политическим пристрастиям, но одинаковыми по своему нежеланию помочь в святом деле российским братьям. В отличие от китайской, еврейской, грузинской, армянской и других диаспор, русские разобщены и вообще враждебны друг другу. На западе Штатов наиболее влиятельная русская прослойка — это харбинские, те, которые были вокруг атамана Семёнова и потом эмигрировали с Дальнего Востока. Это настоящие, крепкие

монархисты и белогвардейцы, которые терпеть не могут разных кадетов, демократов и либералов, предавших царя и отечество. Среди них почти нет представителей громких фамилий, потомков прогневшей петербургской элиты. Эти последние собрались в Нью-Йорке и Филадельфии.

Когда одна скромная сотрудница Эрмитажа со звучной дворянской фамилией привела меня в русскую церковь на Манхэттене, я оказался в каком-то нереальном, фантомном мире. Нина познакомила меня с прихожанами: «Князь Багратион, княгиня Шереметьева, князь Голицын, его супруга урождённая княжна Шаховская, граф Кочубей, наш сосед, графиня Апраксина, сегодня одна. Мы потом пойдём её провожать, на улице скользко». В голове у меня зазвенело от звучных имён. Скромная церковь на втором этаже неприметного дома в верхнем Манхэттене постепенно заполнялась русской историей. Я во все глаза вглядывался в их лица, пытался увидеть признаки былого благородства, породы, сходства с портретами предков в Русском музее и Павловске. Пожалуй, только князь Багратион и граф Кочубей напоминали пращуров. Остальные имели вид вполне современный, но с явно выраженными чертами какой-то неопределённой русскости. Чего я ожидал?

Прежде всего они подчеркнули, что никаких отношений с продажной церковью Московского Патриархата они иметь не хотят, что единственной истинной православной церковью является несогбенная духом Православная церковь в Изгнании. И пока в Москве безбожные власти во всех своих злодеяниях не покаются, православные во всём мире с ней не примирятся. То же самое было и в Сан-Франциско. Моя миссия провалилась.

Из Америки я вернулся с пустыми руками, но в Ленинграде вопрос с бумагой в конце концов решился, и я понёс Владыке сигнальный экземпляр первого тома Библии на высочайшее рассмотрение и благословение. Однако наряду с благословением нам было необходимо получить разрешение Главлита. Всё возвращалось на круги своя. Я робко попросил Владыку: «Может, Вы обратитесь через Патриархат в Комитет по религиозным культам и нам разрешат издание как научно-исторический и культурный памятник». И тут Владыко твёрдо сказал, как напечатал: «А слово Божье ни в чём соизволении не нуждается, и никого просить я не буду. Вы начали, и я вас благословил на труд ваш. Завершите его, и на вас будет благодать Божья».

И мы снова обратились к народу и сказали: «Давайте печатать первый тираж без разрешения Главлита. Доколе? Неужели сдадимся?» И народ сказал: «Действительно, доколе?» Заработали печатные машины, из-под линотипов стали выходить первые тысячи экземпляров книг с тиснёным крестом на обложке. Мы ожидали скандала, бури. Бури не случилось, но мне позвонили из Москвы, из ведомства Харчева — министра по культам и религиям. Спросили с угрозой: «Кто это разрешил переиздавать толковую Библию Лопухина 1914 года?» И я ответил: «А слово Божье ни в чём человеческом соизволении не нуждается». На той стороне поперхнулись, было слышно, как в чиновничьей голове заскрипели мозги. Наглость была неслыханная, но сам масштаб содеянного заставлял подозревать, что в этом что-то есть, чего они ещё не знают. Обратное же, кругом перестройка. Спросили: «А всё же? Главлит ещё никто

не отменял». — «Отменят, — ответил я, — скоро отменят, и вас вместе с ним». И я повесил трубку.

Через некоторое время, когда так ничего и не случилось, я понёс книгу в дар Владыке. Он поставил её на полку, рядом с изданием 1914 года, достал из своего бюро большую медаль Святого Князя Владимира — крестителя Руси — и протянул мне.

— Это вам, — просто сказал он, — на память о нашем сотрудничестве. А теперь поговорим о Базельской Экуменической Ассамблее. Время идёт, а с места ничего не двигается.

— Но у нас о ней ничего и неизвестно. Надо устроить встречу ленинградской научной общест-венности с руководством Митрополии. Владыко за-думался:

— Где?

— Разумеется, у нас в Академии наук или лучше в Доме учёных на Неве.

— Вы думаете, кто-нибудь придёт? — спросил он неуверенно.

— Больше, чем нужно, на всех мест не хватит.

Мест действительно не хватило. Явление Митрополита народу в Доме учёных было событием уникальным. Сотни глаз впились в лицо Владыки, в его скромную чёрную рясу, в белый клобук с бриллиантовым крестом. Это он, Владыко, пришёл к ним впервые за семьдесят лет советской власти. Пришёл как к равным, не спорить, не защищаться, не просить, а предлагать равное участие во Всемирной Экуменической Ассамблее, где священнослужители и учёные должны были рассмотреть вопросы «сохранения целостности Творения и Мира со справедливостью». Наверняка подавляющее большинство

присутствующих были атеисты и закоренелые материалисты. Но было что-то выше их бездумного атеизма и бытового материализма. Какая-то иная сила шла от этих людей в чёрных рясах со спокойными, просветлёнными лицами. И когда в конце вечера объединённый хор Духовной Академии и Семинарии вышел на сцену и запел «Богородице дева радуйся», зал просто зарыдал. Растроганный Владыко благословил всех присутствующих и покинул Дом учёных.

Вскоре в православном женском монастыре в Пюхтице, Эстония, недалеко от Нарвы состоялся экуменический семинар по подготовке к Базельской Ассамблее. Были приглашены все главные иерархи православной церкви из Европы, а также представители протестантских церквей и баптисты из России.

На следующий день после приезда в Пюхтицу я заболел. Но как! Меня нашли на лестнице странноприимного дома без сознания. Я упал там после возвращения со службы в Пюхтицком Соборе. Потом я пролежал в постели до следующего вечера. Мне что-то давали, со мной что-то делали, но вечером прибежали радостные и уже давно знакомые иноки из Академии и сказали:

— Завтра поправишься. Владыко вознёс молитву во исцеление и во здравие нашего брата Арсения.

У них сомнений не было, что молитва окажет своё действие. У меня, впрочем, тоже, потому что я совершенно не понимал, что же со мной случилось. Не иначе как грехи мои покидали меня таким мучительным образом. Вдруг дверь распахнулась, и вбежавшая монахиня, лечившая меня по своему разумению, сказала:

— Владыко к вам идёт!

Иноксы выпорхнули, и вошёл Алексей Михайлович. Видно было, как он устал после продолжительной вечерней службы, он сел рядом на табурет и положил руку мне на плечо.

— Как вы? Поедете в больницу в Йыхви? Мы туда уже позвонили.

— Нет-нет, какая больница! Я же завтра поправлюсь.

— Почему вы так думаете, — спросил Алексей Михайлович, — вы ещё такой слабый. Без посторонней помощи даже встать не можете.

Настучали-таки сёстры-монашки, хотят сбегать меня в больницу.

— Ну как же, вот мне иподьяконы сказали, что я завтра поправлюсь. Вы же молитву во храме вознесли.

Алексей Михайлович улыбнулся.

— Да, мы всем миром помолились за ваше здравие.

— У меня же доклад послезавтра, — продолжал я своё.

— Ну хорошо, — согласился Владыко, посмотрим до завтра. Тем, кто верит в силу молитвы, она всегда помогает.

Он перекрестил меня, и я остался один, чувствуя, что завтра точно поправлюсь.

Так и случилось. В 11 утра я уже смог принять участие в экскурсии по монастырю. Экскурсию проводили сам Владыко и матушка Варвара, игуменья. Что такое современный монастырь? Это храм, трапезная, кельи для братии или сестёр, странноприимный дом для паломников, общежитие для послушников и трудников и многочисленные службы, скотный

двор, гараж, мастерские — иконописная, столярная, погреба и склады, помещение для репетиции хора с пианино, маслобойня, всего и не перечислить.

Монастырь — это большое, хорошо налаженное хозяйство. Разница между монастырским скотным двором и колхозным такая же, как между садовым домиком ветерана войны и обкомовской дачей. Когда мы вошли в хлев, у меня челюсть отпала: в хлеву пахло, несмотря на раннюю весну, свежескошенным сеном, молоком, хлебом. Коровы были какие-то неправдоподобно чистые и умиротворённые, а доярки — кровь с молоком, осанистые тётки, все как одна белобрысые и весёлые. Это были эстонские русские или, вернее, эстонские православные. В отличие от изнурённых постом и молитвой монахинь, будто сошедших с картин Нестерова, эти трудницы просто излучали радость. Матушка Варвара заметила:

— Между прочим, подъём у нас в 5 утра, летом в 4. После заутрени — на двор или в поле, а вечерняя кончается часов в 10, смотря какая служба.

— А откуда же такое здоровье? — брякнул я. — При таком режиме.

— От Бога, всё от Бога, — ответила матушка и строго взглянула на меня.

В овчарне резвились чистые, кудрявые, в шубках, как из бутика, ягнята. Увидев нас, они со всех ног кинулись к Владыке. Он поднимал их, одного за другим, и угощал сухариками, которые доставал из обширного кармана рясы. Они знали его и помнили. Видать, часто бывает здесь, — мелькнула мысль.

— Это же агнцы божии, — сказал Владыко, — они же в одной колыбели с Господом нашим лежали и грели его, на них благословение Божие.

Не знаю, как там с другими, колхозными агницами, а на этих монастырских благословение было видно невооружённым глазом. Впрочем, у многих зарубежных гостей глаз был вполне вооружённый, и они защёлкали своими камерами, стараясь подлизаться к агницам и подержать их на руках для запечатления. Но агницы к чужим на руки не шли и энергично брыкались, что доставило Владыке явное удовольствие. Мне удалось подержать только одну заблудшую овечку. От неё пахло детским мылом и каким-то хорошим шампунем. В углу отдельно стоял с кольцом в носу бык-производитель — гуманитарная помощь монастырю от братьев из Нидерландов. Иногда к матушке обращались из соседних колхозов со слёзной просьбой одолжить быка для улучшения стада. Чтобы понравиться голландскому аристократу с серьгой в носу, колхозная корова должна была пройти очень серьёзную подготовку. Не многие успешно справлялись с поставленной задачей.

Экскурсия, как это принято в монастырях, окончилась у святого источника. Там уже стояла моя монашка-целительница со стаканом в руке.

— Зачерпни, брат, своей рукой и выпей, — сказала она мне.

Я так и сделал.

Сам семинар прошёл, как проходят все семинары — торжественно и скучно. Я сам чуть не заснул на своём докладе, впрочем, от меня никто ничего весёлого и не ждал.

Как ни странно, но Академия наук согласилась направить делегацию на Базельскую Экуменическую Ассамблею. Делегация состояла из С. П. Капицы,

Президента Эстонской Академии наук К. К. Ребане, заведомом реакторов Института ядерной физики Ю. В. Петрова и меня. По численности мы были вторыми вслед за немецкой делегацией. Владыко был очень доволен тем, что научная общественность его страны так активно участвует в общехристианском диалоге. Сергей Петрович Капица купался в волнах своей общеевропейской популярности и был нашим признанным лидером. Всё свободное время между заседаниями Сергей Петрович и Владыко беседовали друг с другом и получали от этого искреннее удовольствие.

Одной из невысказанных идей, носившихся в воздухе на Базельской Ассамблее, было нахождение путей примирения между православной и католической церквями. У Ассамблеи было два сопредседателя — Митрополит Алексей и кардинал Мартини. Все ожидали, что между ними состоится историческая встреча как воплощение идеи экуменизма или общехристианской идеи и что они обсудят пути достижения «Мира со справедливостью и сохранения целостности Творения». Увы, встреча не состоялась, а вскоре само понятие экуменизма было подвергнуто у нас осуждению.

Митрополит Алексей был избран Патриархом Московским и Всея Руси и переехал в Москву. Больше мы с ним не встречались.

ДИКСИ — КОТ СИАМСКИЙ

Моей дочери подарили сиамского котёнка. Когда детям дарят животных, забота о них достаётся родителям. Правило это почти не знает исключений. И котёнок сиамский довольно плотно вошёл в мою жизнь. Вообще, сиамские коты — это и не коты вовсе, а какие-то котообразные дикие животные с характером пантер.

Как-то я гулял с ним по сельской дороге возле дачи. Туда же вышли на прогулку с чёрным терьером соседи. Кот сиамский выгнул спину и зашипел.

— Уберите вашего кота, а то наш Джерри сейчас его разорвёт. Ему вредно волноваться, у него завтра выставка! — закричали соседи.

Я посмотрел на своего Дикси. Подходить к нему в такую минуту без маски, тулупа и рукавиц было опасно, и я крикнул в ответ:

— Уберите скорее вашего Джерри, а то наш Дикси из него сейчас инвалида сделает!

— Перестаньте балаганить, немедленно заберите вашего кота!

— Я не могу, он меня разорвёт, уберите вашего барбоса.

— Ах, так, — сказали соседи, — ну, потом не жалуйтесь.

И вместо того, чтобы взять своего пса на ошейник, они слегка подпихнули его ногой в нашу сторону. Что, мол, ты тут засиделся. Хватит попусту гавкать!

Джерри пошёл на Дикси, но уверенности в его походке не было. Он дошёл до Дикси и формально зарычал, по обязанности. В воздух взметнулась кошачья растопыренная лапа с торчащими когтями, кривыми и острыми, как рыболовные крючки, и полоснула наискосок по джерриной морде. Раздался страшный вой, Джерри отскочил назад, заливаясь кровью. Дикси сделал шаг вперёд, я кинулся на него, прижал к земле, а он, скаля зубы — двенадцать патефонных иголок, — норовил ухватить меня и впиться куда попадёт. Соседи заорали так, как будто им снесли по полноса каждому. Прижимая Дикси к земле, я утащил его на наш участок, а мне вслед неслось:

— Хулиган, разводит здесь диких животных, штрафовать таких, выгонять из кооператива!

Я оглянулся и сказал громко:

— Если вы не прекратите орать, я спущу кота и разбирайтесь с ним сами.

Их как ветром сдуло вместе с претендентом на чемпионскую медаль.

Так вот, Дикси из всех членов семьи признавал только меня. Со мной спал, ходил гулять, сидя на плече, разрешал мыть, лечить и чесать за ухом. Женщин, которые его кормили, он просто не замечал или терроризировал, когда они опаздывали с обедом.

Как и все элитные животные, Дикси часто болел, и мы ходили с ним в ветеринарную клинику. В советское время в ветеринарных клиниках практиковалась особая форма издевательства над посетителями. В карточку записывались подряд фамилия, порода животного с указанием заболевания или причиной обращения. Например, я был «Березин, кот сиамский с ущемлённой грыжей», знаменитая балерина

была уже «русская борзая, преждевременные выкидыши», а главный режиссёр одного Академического театра был «кобель приبلудный, кастрированный». Я, помню, сидел в очереди рядом с прелестной девушкой, которая пришла с очаровательной левреткой. Когда её вызвали: «Козловская, сука карликовая, беспородная! На блошливость!» она вспыхнула, и на её прекрасные глаза навернулись слёзы. Я не знаю, нарочно они нас там так размазывали или это было испокон веку принято?

Теперь, когда ветеринария стала платной, при входе вас встречают с улыбкой: «Доставайте вашу киску из домика! Какая прелесть! Сейчас мы ей ошейничек пропишем и через неделю всё пройдёт». Постоянным посетителям с порога кричат: «Кто это к нам пришёл?! Это Чарли, хвостик прищипывать. Ну, потерпи, дружок, красота требует жертв». И оказывается, что все эти звериные эскулапы — любители животных и ваши лучшие друзья. Хочется подобрать ещё какую-нибудь бездомную шавку, чтобы почаще общаться с этими милыми людьми.

Почему-то такое чувство не возникает при визитах в налоговую инспекцию, ЖЭК, милицию или, не приведи, господи, в собес. Уж там-то вас облают, оплюют и обкусают по первому разряду. Я как-то задумался: это стремление потоптаться на ближнем — оно что, чисто наше, национальное, идущее от «раб твой недостойный Ивашка челом бьёт», или общечеловеческое. В английском языке «Я» пишется с большой буквы, а «вы» — с маленькой. В русском, наоборот, «я» — маленькое-маленькое, а «Вы» или, скажем, «Ваше...» — просто громадное. Опять же, «глубокоуважаемый» — чисто наше изобре-

тение. Сколько раз я мучился с этими «глубокоуважаемыми», переводя письма от наших начальников их англоязычным коллегам. Даже новоявленные демократы из Смольного не могли поверить, что в английском нет эквивалента этому «глубокоуважаемому». Раз они сами очень «глубоко...», то и там такие же должны быть. Однако не надо делать поспешных выводов. В англосаксонском мире «вас» или «Вас» тоже так и норовят размазать по стенке и за примерами далеко ходить не надо. Дойдите до консульата США на Фурштатской улице. В инструкции для получения американской визы чёрным по белому написано, что «закон США предполагает, что вы хотите остаться в США и должны доказать, что у вас такого намерения нет». По их закону они меня считают потенциальным эмигрантом. А как же наш закон? Как же он меня защищает от этого глумления? А никак. Сунулся — и получай по морде, так тебе и надо, нечего соваться. Ну и в родных пенатах везде, где в тебе никто лично не заинтересован, ты получаешь по полной. Потому что как ты был «кобель беспородный, приبلудный», так им и остался. Хорошо, мне повезло, я был хотя и «ущемленный», но всё-таки кот сиамский и мог при случае какому-нибудь барбосу экстерьер сильно подпортить.

«ТРАНСВААЛЬ, ТРАНСВААЛЬ, СТРАНА МОЯ...»

В самом конце девятнадцатого века началась англо-бурская война. Буры — это потомки голландских поселенцев, обосновавшихся в Южной Африке в XVIII веке. Сначала на них никто не обращал внимания. Потом оказалось, что недра этой самой Африки нашпигованы золотом и алмазами. Под ногами — сожжённые солнцем травы саванны и колючие кусты, буши, а чуть копнёшь — золотой самородок или бриллиант. И по всему этому богатству бродят голые кафры с бушменами и скачут полудикие буры, а кругом простирается территория Британской империи. Любому британцу ясно, что кафрам надо раздать лопаты и пусть копают, а буров выгнать к чёртовой матери. Но эти полудикие потомки голландских колонистов не захотели выгоняться, объявили себя Республикой Трансвааль, а свой варварский язык африкаанс, смесь голландского с бушменским, национальным языком.

Тут же в Трансвааль устремились батальоны йоркширских, беркширских и прочих стрелков и в их рядах — молодой Уинстон Черчилль. В России, где традиции освободить порабощённые народы укоренялись столетиями, никак не могли пройти мимо разгорающейся борьбы буров за независимость. В столицах быстро образовались Общества друзей буров. Курсистки, студенты и офицеры с энтузиазмом пели старый романс на новые слова: «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, ты вся горишь в огне...» Некоторые были готовы от слов перейти к делу.

Подполковник Максимов собрал три сотни добровольцев, незамужние аристократки организовали полевой госпиталь, и все устремились на помощь бурам.

В ЮАР память о подполковнике Максимове и русских медсестричках жива до сих пор. Подполковник Максимов стал командиром иностранного легиона и получил чин генерала от президента Трансвааля. Борьба была неравной, храбрые буры были разбиты, британцы быстро обустроили новую колонию, загнали кафров и бушменов в шахты, наняли оставшихся в живых буров присматривать за ними и для закрепления порядка ввели расовую сегрегацию, или, по-ихнему, апартеид. После Второй мировой войны колония получила статус независимого государства с названием ЮАР, но апартеид сохранился. Свободолюбивые государства, включая СССР, объявили бойкот ЮАР и порвали с ней дипломатические отношения.

Но тут наступил 1990 год, и в России начали пересматривать договоры и пакты, которые назаклучал прежний Советский Союз. Бывшие друзья перестали получать автоматы Калашникова и БТРы, у бывших врагов стали просить на пропитание, пока не встанем с колен. Тут как-то сам собой возник вопрос о ЮАР. Чего с ней делать? Подвергать по-прежнему остракизму пополам с бойкотом? Плевать она хотела на наш бойкот. С её алмазными трубками и золотыми самородками ей никакой бойкот не страшен, а вот установить нормальные отношения с голодной, но космической державой может оказаться совсем не вредно.

И вот, по линии Академии наук, через Институт Африки начались первые робкие контакты. Институт

Африки даже порывался организовать какой-нибудь семинар, дружеский междусобойчик в Москве, но у них не хватило куражу. Всё-таки ЮАР персона нон-грата, расисты, нацисты, и дипотношений с ними нет. МИД им даже визы не даст. Один скандал.

Но в это время у нас в Ленинграде появилось много диких экологических организаций. В одной из них, «Экополисе», я числился вице-президентом, и на одном из заседаний, когда мы маялись дурью — чем бы нам чисто-конкретно заняться, я рассказал коллегам о далёком Трансваале, который рвётся к нам с предложением любви и дружбы. В «Экополисе» — организации вольной и безответственной — куражу было сколько угодно, и коллеги, чокнувшись, сказали: «Плевать мы хотели на этот МИД СССР, у нас есть свой республиканский МИД РСФСР, вот он и даст визы для посещения Ленинграда».

В то время двоевластия МИД РСФСР изнывал от скуки и, назло Шеварнадзе, выдал визы всем этим расистам, которые, ошарашенные неожиданным гостеприимством, прикатили к нам в Ленинград. Так состоялась первая встреча представителей России и ЮАР после многих лет непризнания и конфронтации.

Расисты оказались благовоспитанными, почтенными джентльменами, истосковавшимися по нормальному человеческому общению. В первый же вечер они выставили великолепный южноафриканский коньяк «Ambassador», а мы ливизовскую «Посольскую». Обе стороны просто упивались радостью общения, а под конец совсем упились. Они рассказали нам о генерале Максимове, его героических волонтерах и трепетных фрейлинах Её Величества в белых косынках с красными крестами, а мы им спели

«Трансвааль, Трансвааль...», которую они никогда не слышали. Потом мы обменялись сувенирами, подарили им матрёшек из настоящей берёзы и получили серебряные десертные тарелочки с бриллиантиками от «Де Бирса». Все джентльмены занимали прежде какие-то высокие посты в правительстве и бизнесе и излучали благополучие и уверенность.

В последующие дни они вежливо слушали на семинаре наших докладчиков, предлагавших разные конверсионные технологии, и морально готовились к вечерним дегустациям. Единственное предложение, с которым они сами выступили, это организация мобильной телефонной связи для Южной Африки с помощью наших спутников. В то время мы одни в целом мире могли запускать спутники с мобильного старта без всякого космодрома: по-простому, с грузовика, стоящего под сенью баобаба в саванне.

Спутники делались рядом, на заводе «Арсенал». Мы позвонили им. Они сказали: «Хоть завтра, а то цех стоит. С носителями тоже проблем нет, сколько надо, столько и принесут». Плановая экономика кончилась, рыночная ещё не началась, самое время.

Делегация уезжала из Ленинграда преисполненная любви и надежд. Вскоре в Ленинграде образовалось Общество дружбы с ЮАР. Его возглавили совершенно неизвестные люди со слабым знанием иностранных и родного языков. Затем для установления дипотношений приехал министр иностранных дел ЮАР господин Бота. Он был принят в Мариинском дворце, сказал несколько общих фраз, после чего состоялась неформальная беседа. Многие приставали к Боте с какими-то дурацкими просьбами и предложениями. Среди них был начальник

Балтийского пароходства. Он просил Боту прислать в Ленинград пароход, погрузить на него всех любителей ЮАР и отправить туда на ознакомительную экскурсию. Бота удивился:

— Но вы ведь сами возглавляете одно из самых больших пароходств в мире, а у нас из-за санкций и флота-то пассажирского не осталось.

— У нас тоже, — грустно сказал начальник пароходства, — мы все суда продали.

В результате визита Боты в Ленинграде открылось Генеральное консульство ЮАР. Туда иногда приходили крепкие ребята — афганские ветераны, чтобы вербоваться в разные охранные структуры ЮАР. Апартеид кончился — начались грабежи. Скоро над Африкой задул ветер перемен. Этим ветром дуло белое меньшинство, охранять стало некого. Все наши друзья-джентльмены разъехались по Европам, новое национальное правительство прибирало к рукам всё, что осталось от прежних хозяев. Африканские латифундии постигла судьба российских помещичьих усадеб. Консульство в Ленинграде закрыли за ненадобностью. В ЮАР ничего интересного не происходит, кроме чемпионата мира по футболу: ни наводнений, ни народных волнений. «Де Бирс» по-прежнему добывает алмазы и возит их шлифовать в Амстердам и Тель-Авив.

В Якутии тоже добывают алмазы, но куда их девают, неизвестно. В последние годы бывшие экологические ассоциации наострились проводить школьные олимпиады. В них неизменно побеждают школьники из Якутии. Хорошо бы свести вместе школьников из главных алмазных провинций планеты — Якутии и Трансвааля, посмотреть,

кому недра даровали больше способностей и талантов. Надо будет обсудить с «Де Бирсом» эту идею. Даже необязательно ездить друг к другу. Мобильная связь покрывает весь мир и Африку тоже. К сожалению, без нашего участия.

ЕСТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ КОНТОРА КУКА

Закрытие Британского совета и волна негодования, поднятая нашими СМИ против всего английского и британского, были направлены на то, чтобы взбить пену возмущения в сердцах законопослушных граждан. Я, как послушный, откликнулся и тоже начал взбивать пену внутри себя, для чего погрузился в воспоминания, чтобы эту пену слегка индивидуализировать, чтобы она была не такой уныло-фабричной и чтобы её можно было использовать во время дебатов в своём кругу. Ничего хорошего у меня из этой затеи не вышло. Даже наоборот. Судите сами.

1966 год. Группа физиков-термоядерщиков, астрофизиков и примкнувших к ним других любителей научного туризма решила поехать в Англию и посмотреть, как у них там обстоят дела с управляемым термоядерным синтезом и другими науками. Англичане не возражали и даже приветствовали. И мы группой в 20 человек вылетели в Лондон. Фактически мы были первыми учёными в Англии после визита Курчатова и Хрущёва. Я был назначен руководителем группы. В мои обязанности входило наблюдение за тем, чтобы размещение, питание, передвижение по стране и все другие обязательства, принятые на себя английской турфирмой «Кук и сыновья», безукоснительно выполнялись. Помните, «есть за границей контора Кука» — так вот это и была она. Обычно в Англии советскими туристами в то время занимались другие фирмы, более левые или

розовые, члены общества «Англия — СССР», но нам почему-то достался консервативный и не очень дружелюбный «Кук». Он выслал в аэропорт автобус с пожилым гидом — Ольгой Александровной, фамилия которой числилась в разрядных книгах лет четырёхста и которая принадлежала к первой волне русской эмиграции. Нас она называла господами. «Не могу же я вас называть товарищами!»

По приезде в гостиницу она представила меня портье, сказала, что по всем вопросам проживания он должен общаться только со мной, объявила, что завтра просит всех быть готовыми к 9 часам утра, и уехала.

Я стал собирать паспорта у своих туристов, насчитал 20 и передал портье. Он посмотрел на меня с некоторым недоумением. Я объяснил этому тупице, что паспорта ему нужны для прописки. Он опять не понял, и я ему объяснил, что он их должен представить в полицию для регистрации. Тогда он совсем обозлился и заорал на меня:

— Вас двадцать?

— Двадцать, — ответил я.

— Согласно этому списку? — И он сунул мне в нос список нашей группы.

— Да.

— У меня для вас двадцать мест, вот перечень комнат, заселяйте их по вашему разумению. А насчёт полиции — это не её собачье дело, кто у меня живёт. Она уже поставила вам штампы в визе на границе. Если полиция заинтересуется, а проживает ли у меня такой-то мистер Иванов или нет, это уже моё дело — разговаривать с ней или нет. Я полагаю — нет, пока она не представит мне официальный запрос

из суда или Скотлэнд-ярда. Можете за отдельную плату оставить мне паспорта для хранения в сейфе. У нас в метро воруют бумажники.

Желающих оставить паспорт на хранение за плату не нашлось, и я, профессионально опозоренный, стал раздавать их обратно. Как же так, думал я, никакой регистрации и спать можно кому угодно с кем угодно. Тоже мне порядочки!

Это был мой первый английский урок. Второй я получил через полчаса на автобусной остановке. Мы Жорой решили поехать к Парламенту и зайти в Вестминстерское аббатство. На остановке автобуса была небольшая очередь. Когда автобус подошёл, он чуть-чуть проехал остановку, и очередь попятилась. Я наступил на ногу стоящего сзади джентльмена. Хорошо наступил, авторитетно! Джентльмен взвыл от боли, но вместо того, чтобы отmaterить меня на хорошем кокни, он начал извиняться:

— O-o! I am sorry! I am so sorry!!

Я удивился и спросил:

— С чего это вы sorry? Это же я наступил вам на ногу, а не вы мне.

— I am sorry, — объяснил он мне постанывая, — потому что вы не видели, куда отступаете, а я видел и должен был позаботиться о том, чтобы не доставлять вам inconvenience — неудобство. А теперь вы испытываете моральные муки от того, что наступили мне на ногу.

Тут мы стали залезать в автобус. Слегка ошарашенный, я объяснил ему, что никаких моральных мук не испытываю, и полез наверх, на империал, а он, хромая и постанывая, угнезвился внизу, где-то около кондуктора.

— Уж лучше бы он обматерил тебя, — сказал Жора, — а то будешь теперь всю дорогу страдать.

То, что вход в Национальную галерею — бесплатный и даже для иностранцев, нас уже не сильно удивило. Мы начали привыкать к этой экстравагантной стране, хотя на обратном пути она ещё добавила, чтобы мы не очень расслаблялись.

Мы ехали домой в автобусе. Стояли, Жора всегда стоит в транспорте. «Всегда найдётся какая-нибудь старушка с инвалидом на руках, — говорил Жора, — и придётся вставать. Так что лучше не садиться с самого начала». Вошла старушка, но не с инвалидом, а с собачкой. Старушке тут же уступили место, она села, а собачка стала жаться к её ногам и жалобно скулить. Рядом со старушкой сидел джентльмен в шляпе, а может, в цилиндре. Настоящий пожилой английский джентльмен. Так он встал и уступил место собачке. Мало того, что уступил, но ещё вынул из кармана плаща газету и постелил на сиденье, чтобы собачка не запачкала его. Старушка поблагодарила джентльмена, собачка вспрыгнула на сиденье и удовлетворённо тьякнула. А мы с Жорой обалдели. Ну, джентльмен уступил старушке место, со всяким бывает, сами иногда уступаем, но чтобы уступить место собачке — такого мы ещё не видали. И с такими размышлениями мы приехали домой.

Наша гостиница располагалась вблизи Гайд-парка. Туда-то и направились погулять советские артисты из другой группы, поселившейся в гостинице. Это были наши земляки из БДТ. Обожаемые, легендарные артисты из товстоноговского театра, впоследствии народные, лауреаты всех мастей, но

так и оставшиеся милыми и любимыми. Так вот, идут два будущих корифея по дорожкам Гайд-парка, вдыхают запах трёхсотлетних газонов, любуются извилинами озера Серпентин и вдруг видят: под вековым дубом у самой дорожки лежит на газоне одна возлюбленная пара и предаётся, никого не таясь, необузданному сексу. Наши корифеи остолбенели от возмущения, и один говорит другому:

— Какая наглость! Среди бела дня! Куда только полиция смотрит?

И тут, как из-под земли, вырастает настоящий английский Бобби в шлеме с лакированным ремешком на могучем подбородке и направляется к нашим друзьям. Они показывают ему на распоясавшихся во всех смыслах прелюбодeah. Бобби берёт под козырёк и просит жестом наших друзей следовать за ним. Несколько удивлённые неожиданным поворотом дела они безропотно следуют и через несколько минут оказываются в полицейском участке, тут же в Гайд-парке. Убедившись, что джентльмены, кроме «to be or not to be», ничего на языке Шекспира не знают, дежурный сержант хитроумно выведывает у них название гостиницы и звонит туда. У меня в номере заливается телефон, и портье кричит мне в трубку:

— Накаркали, мистер Березин, вот полиция и позвонила! Двое русских из нашего отеля находятся в участке в Гайд-парке. Бегите туда, пока их не отвезли в суд, и узнайте, что они там натворили.

Минут через десять я, запыхавшись, вваливаюсь в участок и вижу, что на деревянной скамейке сидят мои любимые, ну самые любимые артисты, с хмурыми, недоумёнными лицами.

— Вы знаете этих людей? — спрашивает меня сержант.

— Ну конечно! Это самые известные артисты в нашей стране, — вроде как у вас сэры Лоуренс Оливье и Джон Гилгуд.

— И вы знаете, в чём этих сэров обвиняют?

— Понятия не имею.

— Констебль утверждает, что они нарушили privacy и мешали свободному волеизъявлению свободных британцев. Это очень серьёзное нарушение.

Тогда я обращаюсь к своим кумирам и говорю:

— Дело — дрянь, вас обвиняют в нарушении свободного волеизъявления британских граждан. Это подсудное дело. Может, вы расскажете поподробнее?

И тогда старший говорит младшему:

— Объясни ему, Алик.

И Алик на нормальном русском языке объяснил мне, что они хотели прекратить это хулиганство в публичном месте и меньше всего думали о том, что у них там волеизливается. Я спросил сержанта:

— А какое penalty — полагается наказание?

Сержант сказал, что прямо в участке фунтов по десять с каждого, а в суде потянет и до ста. Я аж присвистнул.

— Вряд ли, — говорю, — у них на двоих есть хотя бы десять.

— Как! — удивился сержант. — У сэра Лоуренса и сэра Джона на двоих не наберётся десять фунтов? Incredibly! — Невероятно, мол.

— Однако это так. У них всё отбирают в пользу государства, оставляют только на автобус.

— Но это же называется burglary — грабёж.

— Нет, у нас это называется социализм.

— Вот видишь, Чарли, — обратился сержант к констеблю, — к чему приводит социализм. Голосуй больше за своих лейбористов!

Чарли что-то такое промямлил, что тори тоже не сахар. Тут я попытался вернуть их к нашей теме.

— А может, мы им придумаем какое-нибудь более мелкое преступление, скажем, фунтов на пять с обоих.

— Ну, только из уважения к сэрам Лоуренсу и Джону. Пусть они хотели помочиться на газон, уже приготовились, и тут констебль предотвратил нарушение.

— Что скажешь, Чарли?

Чарли, углублённый в размышления о путях английского лейборизма, кивнул.

— О'кей. — сказал сержант. — Надеюсь, хоть пять фунтов у них на двоих найдётся?

— У вас есть на двоих пять фунтов? — спросил я своих земляков.

Они зазвенели в карманах мелочью.

— Хотя, впрочем, не надо. Я сейчас отдам за двоих, а потом в отеле мы рассчитаемся.

И я гордо протянул сержанту банкноту. Сержант выписал квитанцию о получении штрафа за мелкое нарушение общественного порядка, попросил их расписаться и торжественно вручил её нарушителям. Потом сержант потянулся к шкафчику позади себя, вытащил четыре рюмки, початую бутылку «Джонни Уокера», разлил и сказал:

— Дорогие сэры Лоуренс Оливье и Джон Гилгуд в русской версии и вы, мистер, давайте выпьем за ваше здоровье и за то, чтобы у вас всегда было полное взаимопонимание с законами Её Величества.

И мы выжили. Чарли не дали, он был при исполнении и снова отправился на аллеи.

Прокрутив все эти воспоминания в памяти, я понял, что никакую пену негодования в своей душе мне взбить не удастся и во всенародном осуждении британских империалистов, потребовавших выдать одного бывшего чекиста, обвиняемого у них в убийстве другого бывшего чекиста, я участвовать не смогу.

А не фиг принимать всякую шелупонь!

ФИЗИКИ ПУТЕШЕСТВУЮТ

В 1956 году во Львове состоялась всесоюзная конференция по оптике и спектроскопии. В то время конференции обставлялись солидно, продолжались неделю со многими сопутствующими мероприятиями — приёмами для избранных, банкетами для всех, культурными программами, с выступлением перед участниками молодых дарований, формы которых часто вызывали восхищение, а содержание исполняемого навевало грусть и меланхолию.

Суббота и воскресенье на нашей конференции были объявлены днями отдыха и экскурсий. Чем шляться в толпе по окрестностям и возлагать венки к монументам, группа ленинградских участников решила совершить поездку по Западной Украине, прихватив для неё ещё вечер пятницы и утро понедельника. Меня, как бывшего члена месткома, отправили в областное турбюро всё организовать, и, к моему удивлению, всё организовалось в какие-то полчаса. В поездке приняли участие (по степени острепенённости) академик Иван Васильевич Обреимов, члены-корреспонденты Евгений Фёдорович Гросс и Михаил Владимирович Волькенштейн, проректор Ленинградского университета профессор Пенкин, два будущих академика Захарченя и Каплянский, три жены членов академии, аспирант Пенкина Островский и легендарный физтеховский ветеран, выросший из слесаря в завлабораторией низких температур, Наум Моисеевич Рейнов. Во время войны он носил военную форму с двумя шпалами и ездил

в Смольный, выбивая всё возможное — от вязанки дров до канистры рыбьего жира для группы, обеспечивающей бесперебойную работу ледовой трассы на Дороге жизни (у шофёров она называлась Дорогой смерти). Имя Наума Моисеевича не оказалось вписанным в скрижали героев блокады, так же как и имена физтеховских сотрудниц, которые эту дорогу прокладывали ежедневно между промоинами и воронками. Тысячи людей уберегли от смерти эти славные физтеховские женщины, и вряд ли они смогли бы выполнить свою тяжёлую работу без постоянной опеки и заботы Наума Моисеевича. Когда впоследствии он защищал свою докторскую диссертацию и кто-то из молодых членов совета попробовал вякнуть, что он «не усматривает и не считает», ему мягко объяснили, что докторская диссертация — это лишь малая доля того, что должен физтех этому пожилому завлабу с мозолистыми руками мастерового.

В отличие от других участников поездки — больших и малых учёных — Наум Моисеевич проявлял отменное здравомыслие и обладал даром предвиденья. Благодаря ему мы всюду успевали, вовремя оказывались у придорожной корчмы или едальни, где к нашему приезду уже что-то скворчало, шипело и умопомрачительно пахло. Напомним, в 1956 году в Ленинграде гастрономического изобилия не наблюдалось, поэтому каждый глечек с наваристым украинским борщом был нам как подарок судьбы.

Попылив несколько часов по Львовскому шляху, мы углубились в предгорья Карпат и попали в удивительную страну под названием Прикарпатская Украина. О красотах этой земли, навек потерянной для нас, писалось много, и я не буду беречь свежие раны,

нанесённые «померанчовой незалэжностью». В конце концов, в течение веков кому только она ни принадлежала! И Австрийской империи, и панской Польше, пока она не «сгинэла», чуть-чуть Чехословакии, а с 1939 года — на два года СССР. Во время войны там хозяйничали немцы, венгры, румыны, «незалэжные» и советские партизаны, которые почём зря резали друг друга, о чём свидетельствуют скромные деревенские памятники у сельсоветов. Собственно, памятников «незалэжным» партизанам в 1956 году не было, но память о них была жива и в каждой деревне могли много чего рассказать о недавних событиях.

Очень скоро мы поняли, что Прикарпатская Украина — это антимарксистский этнографический музей под открытым небом. Марксистская догма «бытие определяет сознание» расплзалась по швам за каждой околицей. На расстоянии нескольких километров друг от друга находились деревни, сёла, фольварки — украинские, румынские, венгерские, русинские и даже немецкие. Власть везде была одна — советская, строй — колхозный. Казалось, общая форма бытия должна была бы определять и общее содержание жизни.

В России деревня в Рязанской губернии не отличима от какой-нибудь псковской деревни. Покосившиеся избы, поставленные там и сям, заросшие бурьяном главная улица и проулки, сельпо с обязательным набором — водка, портвейн «Агдам», кильки, бычки в томате, мыло, соль, хлеб, когда привезут, и ожидающие привоза жители на ящиках или брёвнах. Есть и местные отличия. В средней полосе на огородах торчат отхожие места, сортиры-скворечники,

в северных деревнях таких излишеств нет — там хлев стоит под одной крышей с домом. Между крышей и потолочным настилом хлева находится повить, или повесть. В полу этой повести прорубается дырка в хлев — и «добро пожаловать». Столетие за столетием, от Ломоносова и до наших дней.

Первой деревней на нашем пути была украинская. Белые мазаные хатки, громадные соломенные шапки крыш, надвинутые на бельма окошек с крашеными наличниками. Ну прямо постановка «Майской ночи» в Большом театре. Члены академии оживились, потребовали остановить автобус, который уже давно напрашивался на заслуженный отдых, и мы все высыпали на деревенскую улицу.

— Надо бы зайти в дом, — высказались дамы, — но как?

— Ничего проще, — сказал академик Иван Васильевич, — малороссы всегда отличались гостеприимством.

И, расправив бороду, направился к хате. Стукнувшись лбом о притолоку, он вошёл в мазанку и вскоре показался оттуда вместе с хозяйкой. Взглянув на неё, Наум Моисеевич заметил:

— Надеюсь, у них на чердаке нет пулемёта.

Пулемёта у них не было, как не было хлеба, молока, сала, варёных яиц и домашней колбасы. Зато было много рушников, хусток, спиднец и другой вышитой мануфактуры. Дамы заахали, заквохтали, заверещали. Хозяйка открыла сундуки и начала вытаскивать оттуда разные «речи». (По-украински «речи» значит «вещи». Мы с Жорой очень удивились, наткнувшись первый раз в Киеве на вывеску «Речи напрокат». «Надо же, у нас в Ленинграде речи сочиняют кустарно

ко всякому удобному и неудобному случаю, мучаются, переживают, а здесь, пожалуйста, — «Речи напрокат»! Мы зашли. На полках стояли керогазы, фотоаппараты «ФЭД», бритвы «Харькив», магнитофоны «Днепр», но речей нигде было не видно. Жора аккуратно спросил:

— Будьте ласка, чи вы вже разгартали боротьбу за підвищення якисти речей, нам бы чогось поновей, к новому року?

Продавец посмотрел на нас как на сумасшедших (в Киеве в то время никто по-украински не говорил, кроме как в театре Леси Украинки), поднапрягся и выдал:

— Та нічого немає. Уси чоґо бачите, найкращей якисти. А чоґось вам треба?

Жора как прирождённый лингвист почувал, что речи это не совсем то, что мы имели в виду, и стал выходить из положения по направлению к двери.

— Та, мабыть, кубыть, мы трохи запизднилися, здоровеньки булы, до видзення.

— До видзення, до видзення, — сказал нам продавец и, закрывая дверь, вслед добавил: — у, западнцы дремучие, чего шляются, мишугины?)

Но это всё было потом, а сейчас языковый барьер треснул и разлетелся, как сухой плетень. Защёлкали сумочки, замелькали карбованцы. Вместо них в руках оказались рушники и спидницы. Самому высокому из нас, будущему академику, вручили громадные белые порты, мотня которых застёгивалась на одну дубовую прищепку. Хозяйка прикидывала порты к длиннущим ногам Бориса Петровича, безошибочно угадывая в нём будущего коллекционера художественных ценностей разных народов, и приговаривала:

— О, це порты, який гарний хлопець, уси паненки твої.

— Берите, берите, Борис Петрович, — уговаривал его Наум Моисеевич. — С такой мотнёй да без пуговиц, уж точно, что все паненки ваши.

Хата была снаружи белёная, но внутри она была густо вымазана смесью кизяка с глиной. Глина, в отличие от кизяка, как известно, не пахнет, но стойкость ей придаёт именно кизяк. Чтобы стойкости не повредить, все окна были плотно закупорены. Я потянулся к выходу, пропустив вперед академика Ивана Васильевича. Несмотря на жару, он был бледен.

— Однако какой запах! Напомнил мне нашу камеру, когда я был на предварительном следствии.

Вскоре во дворе появился Михаил Владимирович с хусткой и за ним Борис Петрович с портами через плечо. Наконец появились и дамы. У них был вид, как будто они побывали на распродаже у Тиффани. Тётка Горпина провожала их и приглашала «обовязково вертаться у тим роки». Дамы ошалело обещали, влезли в автобус, и мы укатили на встречу с новыми племенами.

Начинались места, где население вместо горилки «с перцем» уже попивало белые и красные вина и поставляло их в столицы. Мы въехали в венгерскую деревню. Деревня всем своим видом показывала, что к советской власти она никакого отношения не имеет. Все дома были оштукатурены, свежепокрашены, под железными или черепичными крышами. Перед домами были разбиты палисадники, утопавшие в цветах. Встреченный колхозник был в свитке с медными пуговицами, на голове у него красовалась лихо заломленная фетровая шляпа с фазаньим пером,

во рту дымилась причудливо изогнутая трубка. Колхозник явно спешил на репетицию фольклорного ансамбля или бандитскую сходку.

— Стой! — закричали мы все разом.

Но сообразительный шофёр уже ударил по тормозам. Колхозник, он же экспонат, остановился. Члены академии вылезли и уставились на него. Евгений Фёдорович прокричал:

— Гутен таг, либен фройнд.

Венгр ответил что-то вроде:

— Секешфехерваар, — и добавил, чтобы было понятнее: — харьяшанадрааг.

Следует заметить, что венгерский язык не похож ни на один другой язык мира. Это язык древних гуннов, на нём говорил сам великий Аттила. Это неправда, когда Брюсов пишет: «Нем и мрачен, как могила, едет гуннов царь Аттила». Он ещё как разговаривал. Просто его в Римской империи никто понять не мог. Потому-то Аттила плюнул на всё и повернул назад, расположившись со своим войском в долине Дуная и в степи Хортобаадь.

Стало ясно, что любой язык, кроме языка жестов, бессилен. Михаил Владимирович вынул изо рта трубку, достал кiset с «Данхиллом», всыпал порцию в свою трубку и протянул её аборигену. Совсем как капитан Кук в Полинезии или боцман с «Мэйфлауэра» в Коннектикуте. Абориген проявил понимание и протянул Михаилу Владимировичу свою трубку.

— Вожди закуривают трубку мира, — брякнул я некстати.

Все осуждающе посмотрели на меня. Первым затянулся туземец. Блаженство разлилось по его лицу и в воздухе поплыл медовый аромат «Данхилла».

Потом Михаил Владимирович вдохнул в себя гремучую смесь махорки и перца, задохнулся, открыл рот, взвыл, и мы начали стучать по его спине, чтобы вернуть к жизни. Наконец, прокашлявшись и оплевав всю округу, он сказал:

— Ничего себе секешфехерваар.

Туземец отошёл к ближайшему дому, постучал в окошко, оттуда высунулась другая голова в шляпе с фазаньим пером. Наш что-то покричал ему на своём языке ирокезов, и второй тотчас появился из дома с глиняной кружкой и бутылкой. Он налил что-то золотистое из бутылки в кружку и протянул её Михаилу Владимировичу.

— Ну, теперь всё, конец! — опять брякнул я некстати.

— Действительно, хватит экспериментов, — сказал Михаил Владимирович, — в конце концов, я теоретик, почему я должен отдуваться за всех.

Все посмотрели на меня. Я взял кружку, понюхал — аромат был божественный. Вкус ещё лучше. Я жадно выпил всю кружку и зажмурился.

— Что это? — спросил проректор.

— Касторка, настоящая на чабреце.

Но тут Наум Моисеевич, которого на мякине не проведёшь, взглянув на мою довольную физиономию, всё понял и сказал:

— Дайте-ка я попробую.

И взял кружку. В неё полилась волшебная влага, Наум Моисеевич пригубил, сказал:

— Какая гадость! — И выпил всё до дна.

— Что это, Наум Моисеевич? — спросили его.

Поблёскивая глазами и улыбаясь, Наум Моисеевич ответил:

— По-моему, Гуля не прав. Наверное, это рыбий жир, настоящий на шалфее.

И мы отошли с ним в сторону.

— Я тоже хочу рыбьего жира, — закричал пронцательный Евгений Фёдорович. — Гебен зи мир, битте.

Когда очередь снова дошла до Михаила Владимовича, он заявил:

— Господа, это его величество «Токай».

Оба туземца радостно залопотали:

— Токай, токай.

Наконец-то они услышали от нас нормальное венгерское слово. Нас пригласили во двор, появились ещё запотевшие бутылки с его величеством, овечий сыр, лепёшки. И понеслось.

Когда Иван Васильевич обратился к кому-то с просьбой дать ему ещё одну лепёшку, засигналил автобус, и мы потянулись к своей колымаге, поддерживая друг друга и напевая что-то из Ференца Листа. Это имя, как и «Токай», хозяева тоже знали. Но на все наши просьбы продать нам несколько бутылок хозяева отрицательно качали головами и подносили палец к губам, а потом возносили его вверх.

— Это церковный напиток и продаже не подлежит, — решил уже в автобусе Иван Васильевич.

— Никакой не церковный, а они его поставляют в Киев или даже в Москву, в Кремль, — сказал Наум Моисеевич. С ним спорить никто не стал.

Много лет спустя я понял, как он был прав.

(Как-то вечером в Геленджике мы возвращались с местным авторитетом Жорой Арутюновым после рыбалки домой. Жора спросил:

— Хочешь попробовать коньяк, который ты никогда не пил?

В каждом черноморском порту есть своя легенда. В Одессе это был Костя-капитан, который привозил шаланды полные кефали, в Сухуми — Одиссей Попандопуло, скользивший по бухте за катером на голых пятках. Посмотреть на Одиссея специально приезжали воднолыжники из Сочи и Геленджика, разнося легенду дальше.

Жора Арутюнов был знаменит по многим статьям. Во-первых, у него был самый быстрый катер на всём Чёрном море, во-вторых, только он решался пригонять на черноморские курорты прогулочные теплоходы из Сормова. Сначала по Волге из-за острова на стрежень, потом шлюзами Волго-Дона, а потом открытым морем с Азова в Ялту, Одессу, Сочи, Батуми и родной Геленджик. Прогулочные теплоходы для хождения в открытом море не приспособлены, да и, вообще, они мало к чему приспособлены, кроме как стоять у причала и проводить банкеты. В особых случаях это тоже поручалось Жоре. Поэтому, когда такой человек предлагает попробовать коньяк, который ты никогда не пробовал, кто ж откажется? Мы зашли на набережной в малоприметное заведение со скромной вывеской «Рабочая столовая ОРСа Кубанзагот...» чего-то. В отличие от местного ресторана «Кавказ», обсиженного курортниками, в столовой было чисто, прохладно и слегка таинственно. Из-за стойки бара, уставленного дефицитом, вышел бармен, и они с Жорой пожали друг другу руки. В своё рукопожатие Жора всегда вкладывал много чувства. Это у него было от армрестлинга. Сдавив руку противника, словно в корабельных тисках,

он парализовывал его волю и спокойно укладывал руку на столе. Противник долго разминал онемевшую конечность, расплачивался за проигрыш и уходил лечиться. Бармена я узнал сразу — это был единственный человек в Геленджике, у которого была «Тойота». Для того чтобы её не спутали с какой-нибудь чешской «шкодой» или варшавским «полонезом», к багажнику был привинчен здоровенный шильдик, на котором по-русски было выбито «ТОЙОТА». Бармен взглянул на меня из вежливости и спросил:

— Сразу будете или сначала закусите?

Жора ответил:

— Кто же перед дегустацией закусывает? Только вкус портить.

Бармен принёс бутылку и три коньячных бокала. На бутылке было написано — коньяк совхоза Абрау-Дюрсо 197... года, партия №... Я удивился и спросил:

— А разве бывает коньяк Абрау-Дюрсо?

— Конечно, не бывает, — ответил Жора, — и даже забудь потом, что его пробовал, если сможешь, конечно.

И плеснул в бокалы.

Sir, Ваше Величество, простите меня великодушно, но то, что названо во Франции Вашим гордым именем «Наполеон», это просто заурядная сивуха для заграничных охламонов по сравнению с коньяком Абрау-Дюрсо. Его делают несколько сот бутылок в год, и секретарь крайкома Медунов возит его на дни рождения братьям по партии в Кремль. Там-то и находились настоящие ценители. Недаром Сталин дарил Черчиллю коньяк, а не наоборот.

В третий раз я столкнулся с тайными гастрономическими вождедениями Кремля в Латвии. В начале перестройки, когда Михаил Сергеевич на совещании в Смольном разрешил гражданам иметь свои садики-огородики, но не дачи, я обозлился и купил хутор в Латвии, в самом восточном её районе, в глухом лесном краю, настоящий хутор с хлевом, амбаром и прудом, за 600 рублей. Два местных алкоголика вырыли колодец, и мы зажили на своём хуторе вдаль от цивилизации. В конце лета к нам продрались трактора и стали косить луг. Тут же налетели аисты и начали ловко выхватывать из свежескошенной травы ошалевших лягушек. Крик и квак стояли несусветные. В один из таких дней приехал Аудрис и сказал:

— Отвисит от погоды, но если будет ночью дождь и ветер, поедем на озеро за Ним.

Я не стал спрашивать, а может, стоит подождать, когда будут луна и звёзды. Аудрису виднее. Аудрис ведал всё и всё умел. В Алуксне его знала каждая собака, тем более что у него своих было шесть. Все — таксы, или считавшиеся таковыми. Когда в субботу или воскресенье мы приезжали к Аудрису погостить и услышать ещё что-нибудь, кроме курлыканы журавлей, хрюканы кабанов и рёва лосей, Аудрис давал мне погулять со своей главной собакой Сысиком в парке у озера. Гуляющие показывали пальцем в нашу сторону и говорили:

— Вон, Сысик идёт.

Сысик навьтаскивал в лесу из нор для Аудриса лисиц, енотов и барсуков на целый дом и две машины. Как я потом понял, Аудрис доверял мне Сысика не без задней мысли. Он хотел, чтобы меня запомнили как лицо, приближённое к Сысику, а следовательно,

и к его хозяину, на случай возможных межэтнических конфликтов.

В Алуксне я услышал версию известного латышского анекдота:

«— Аудрис, а Аудрис, зачем ты поливаешь розы машинным маслом — ведь цветы засохнут.

— Цветы засохнут, зато пулемёт не заржавеет».

На самом деле никакого пулемёта у Аудриса не было. По должности он был лесник, а по призванию охотник. Когда в Кремле намечался званый обед или ещё какое-нибудь обжорство, из Управления по снабжению звонили в Алуксне и заказывали свежекопчёных угрей. Из Горсовета перезванивали Аудрису и передавали заказ. Он обычно отвечал:

— Ёхайды! (Непереводимая игра слов.) Это от меня не отвисит. По заказу только триппер поймать можно, а угорь сегодня либо пойдёт, либо нет.

Аудрис лукавил. У него всегда были дежурные угри, ожидавшие кремлёвского обеда в пруду за загородкой. Но приказ сверху давал возможность увеличить запасы. Между озером Алуксне и речкой Вайдой существовала протока, по которой в ненастную ночь и шли угри, начиная своё безумное путешествие в Саргассово море. Прямо на протоке стоял бетонный амбар, в котором находились водозатвор и рыбоприёмник. Ключи были у Аудриса. Когда поступал заказ, он отпирал амбар, поднимал затвор и ждал, когда в сетку начнут скользить угри. На это дело Аудрис обычно брал с собой Сысика и ружьё с картечью. Своих браконьеров он не боялся, но могли приехать гурманы из соседней Эстонии или Псковской области. В общем, как везде — там, где рыба, там и стреляют.

Ночь была — ненастной не придумаешь. Даже Сысик поджимал хвост при всполохах молний и громовых раскатах. Я бы тоже поджал, имей я хвост. Угорь шёл, как на демонстрации. Заполнив две сетки, мы заперли свой блиндаж и отправились домой. Там жена Аудриса Мара уже растопляла в огороде коптильню. Аудрис стал сортировать угрей.

— Этот, самый жирный и толстый, для нас. Посидит пока в пруду. Этот, потощее и пошустрее, поедет в Кремль.

Вскоре вся кремлёвская закуска улеглась на прутьях коптильни. Мара накрыла её толстой холстиной. Над округой поплыл аромат копчёного угря. В Пскове на вылет готовили дежурный вертолёт. Лётчик предвкушал, как ему в Алуksне передадут для личного пользования завёрнутого в промасленную коричневую бумагу ещё тёплого короля закусок. Жизнь шла по наезженной колее, невзирая на вскрики гласности и выстрелы в Карабахе.)

Ну, а пока мы ехали и ехали на своём автобусе через буковые леса и дубовые роци по берегам Тиссы и наконец ткнулись в мукачевский монастырь. Монастырь был женский, православный. Нигде не висело «Добро пожаловать» или «Приём паломников в канцелярии». Монастырь напоминал крепость, которой он в сущности и являлся. Мы остановились у низкой железной дверцы. Иван Васильевич сказал:

— Очевидно, придётся сходить мне, всё-таки я сын протоиерея.

Он расправил бороду и направился к дверце. Мы следили за ним с надеждой. У многих в памяти, наверное, возникла картина «Монастырская трапеза»

Перова или что-нибудь такое же религиозно-съедобное, аппетитное. Мы ожидали, что вот сейчас ворота откроются и мы вкатимся прямо к трапезной, а монашенки будут стоять по обе стороны, креститься и кланяться. Через некоторое время дверца отворилась и показался Иван Васильевич. Боже мой, что осталось от величественного сына протоиерея! Так, мелкий советский служащий. Он подошёл и окончательно похоронил наши надежды.

— Матушка сказала, что сегодня у них санитарный день. Богомольцев не пускают, треб не производят, молитвы не возносятся. Поехали дальше.

— Как это дальше? Что значит не возносятся?! — возмутился Михаил Владимирович. — Я хоть и не сын протоиерея, но пойду поговорю.

Иван Васильевич взглянул на мефистофельский профиль Михаила Владимировича без особой симпатии и буркнул:

— По крайней мере, трубку изо рта выньте.

Михаил Владимирович встрепенулся, подтянулся и направился к входу. Его не было довольно долго. Потом ворота заскрипели, отворились, и мы въехали на территорию мукачевского женского монастыря — самого большого на Украине, а может, и во всём СССР. У дороги стояли Михаил Владимирович с матушкой и указывали нам путь к трапезной. По обе стороны стояли монашенки, кланялись и крестились.

Что сказал Михаил Владимирович матушке, мы так никогда и не узнали. Тайна сия велика есть. За постным, но очень вкусным обедом матушка нам поведала, как она воюет с католиками, униатами, баптистами и что, если бы не советская власть, совсем бы православных извели. Как мы знаем, советская

власть этого не допустила и скоро католического прелата — епископа Слипого отправила в языческую Мордовию, в Потьму, куда ему и прислали от Папы буллу об избрании кардиналом.

В монастыре мы почувствовали себя на несколько веков моложе. Кругом бушевали религиозные страсти, шла борьба за истинную веру, проливалась кровь, еретики ввергались в узилища, праведники возносились на небо. Всё, как и несколько веков назад. Не так уж и далеки мы от Варфоломеевской ночи. Вот она, тут, как только зайдёт солнце и власти решат — пора, так она и начнётся.

Переваливаясь с холма на холм, с горки на горку, мы неожиданно вкатились в немецкую гравюру XIX века. На стремительной речке стояла мельница. Перед мельницей — водоём для ныряния русалочек. За мельницей на лужайке возвышалась кирха. Не руины, не склад, не клуб, а нормальная кирха с крестом и колоколом. У входа в кирху толпились бауэры в кожаных тирольских коротких штанах и фетровых шляпах. Бауэры держали под руку своих фрау, одетых в длинные платья с многочисленными оборками, тут же щебетали кнабен в коротких штанишках и мэдхен в нарядных платьицах ниже колен. Так что легко было отличить мэдхен от кнабен. Не то что в нынешние времена, когда мода унисекс всё перемешала, и юное существо в джинсах, стриженное под бокс, оказывается девушкой, а длинноволосое чудовище с гримом на морде и виляющее задом претендует на принадлежность к мужскому роду. Автобус вкатился в этот незамутнённый кусочек хайматдорфа, или фатерланда, чихнул и остановился. Взгляды

персонажей картины устремились на нас. Мы же все обернулись на Евгения Фёдоровича.

— Ну, теперь-то уж точно ваша очередь, — сказал Иван Васильевич как старший по званию.

— Варум? — попробовал возразить Евгений Фёдорович.

— Дарум! — припечатал Иван Васильевич.

Евгений Фёдорович полез из автобуса. Бауэры как один сняли свои шляпы и приветствовали нежданного гостя. Евгений Фёдорович оглядел их и обратился к тому, кого он принял за старшего, потому что на груди его расшитой куртки что-то блестело. Как потом оказалось, это блестела Звезда Героя Социалистического Труда, а её владелец оказался председателем колхоза имени Энгельса товарищем Беккером. Товарищ Беккер страшно обрадовался, что к ним в хайматдорф забрела делегация гелерте висеншафтеров из самого Ленинграда, основанного Питером дер Гроссе. Товарищ Беккер что-то сказал остальным геноссе и отправился показывать нам свою деревню.

Деревня была не одной гравюрой, а целой серией. Вместо изб, мазанок, хат или оштукатуренных барачков повсюду возвышались каменные дома с балконами, увитыми цветами. Во дворах в каменных же хлевах мычала, бляяла, хрюкала и курлыкала личная собственность. На краю деревни стояло сооружение, которое в украинских деревнях называется калыба, в польских — шинок, ещё в каких-то — едальня. Здесь же это называлось просто — фремден штубе. Для гостей, значит. Под каменными сводами штубе мог разместиться целый эскадрон. На дубовых, закопчённых временем балках висели окорока,

ветчины, балыки и другие раритеты, как в опере «Сельская честь» Масканьи, но в отличие от Мариинского театра вся эта бутафория была съедобной, да ещё какой, в чём мы в скором времени и убедились, когда с балки снимали очередной окорок и острым ножом нарезали сочные, приперчённые ломти, которые мы запивали местным колхозным пивом из громадных фарфоровых кружек с тяжелыми оловянными крышками. Не знаю, как там «Карлсберг», но для меня это закарпатское пиво имени товарища Энгельса так и осталось в памяти как «пожалуй, лучшее пиво в мире». Товарищ Беккер искренне радовался, глядя, как изголодавшиеся за пятьдесят лет советской власти ленинградские камарады и фрау эссен-фрессен их нехитрые деревенские деликатесы. Постепенно разговоры перешли на вопросы колхозного строительства, как, мол, у них тут жизнь в коллектив-виртшафте. Оказалось, жизнь просто замечательная. Удой у коров на горных пастбищах рекордный, мёд пчёлы собирают и сдают без усталости, форель в речной запруде так и кишит, фрукты и овощи еле успевают перерабатывать на своей фабрике, по всему Союзу расходятся. Недавно в кирху купили новый орган, а в музыкальную школу завезли полдюжины пианино из Таллина. Михаил Владимирович попытался влить ложку дёгтя в эту бочку мёда, приправленную пропагандной патокой, и перевёл разговор на налоги, поборы, выплаты МТС, но товарищ Беккер был непреклонен и сообщил, что если все добросовестно арбайтен, то всего на всех хватает и ещё остаётся.

С полными желудками и перевёрнутыми мозгами мы погрузились в свой пазик и отправились в обратный путь. В каждом из нас увиденное, услышанное

и съеденное оставило неизгладимое впечатление. Мы не были коммунистами-идеалистами и большими поклонниками советской власти. У каждого был свой опыт, опасный и печальный, как у Ивана Васильевича и Евгения Фёдоровича, извилистый и потаённый, как у других, но в отношении мудрой политики партии и гениальности её вождей ни у кого никаких иллюзий не было.

Одним из набивших оскомину советских мифов был миф о торжестве колхозного строя. И вот геноссе Беккер со своими окороками, трудоднями, органом и полудюжиной пианино этот миф подтверждает одним словом — арбайтен. Значит, дело не в том, «что», а «как». Кто привык жить хорошо, в просторном доме с ванной, тот и живёт хорошо, и советский строй ему не помеха, а кто привык мазать стены своей хаты навозом с глиной, так и мажет при любом строе. При чём же здесь «бытие определяет сознание»? Скорее наоборот — какое сознание, такое и бытие. Или всё же здесь скрыто какое-то лукавство власти? Сохранили товарища Беккера с его кирхой и фремпенштубе как агитпункт, вместо того чтобы переписать всех курей, а мужиков переодеть в лагерные фуфайки и отправить на лесоповал. Евгений Фёдорович, который лопался от национальной гордости, что-то брякнул о генетической памяти, но умолк под свинцовыми взглядами немногих великороссов.

Лет через двадцать я оказался в другом колхозе — рыболовецком колхозе имени Кирова, который простирался по берегу Балтийского моря от предместья Таллина — Пирита до дальних пограничных застав. Колхоз не только ловил салаку и делал из неё

«пожалуй, лучшие в мире» шпроты, но и строил дома, стадионы, гостиницы, шил одежду, делал мебель, учил, лечил, воспитывал и развлекал своих тружеников. Вступить в колхоз имени Кирова было труднее, чем попасть в аспирантуру Московского университета. В университет, как известно, брали и по блату, а в колхоз — только по умению и желанию работать. Чтобы не особенно дразнить советскую власть, часть доходов не распределялась по трудодням, а шла на общие социальные нужды — бесплатное питание, музыкальную и художественную школы, яхтклуб, автодром, спортивные трассы. Родителей, чьи дети хорошо учились, награждали ценными призами — сепаратором там или мотоциклом, а о самих детях и говорить нечего.

Немногие знают, что когда в Таллине проводили регату, как часть Московской Олимпиады, то она проходила в яхтклубе колхоза имени Кирова. Но Советское государство не могло отказать себе в маленькой гадости, обозвав этот колхоз именем никогда в Эстонии не бывавшего и никому там не известного Кирова. Ну, назвали бы именем Баумана — тоже революционер и тоже убиенный — по крайней мере, более созвучным эстонскому уху. Колхоз имени Кирова долго оставался бельмом на глазу у советской власти, его несколько раз спасал премьер-министр Косыгин, который видел в нём некий прообраз социалистического процветания, этакую живую утопию социального благоденствия. Колхоз пережил советскую власть. Его разгромили сами эстонцы. Стало ли им лучше от этого — большой вопрос.

А стало ли нам лучше, когда в заповедные леса Карельского перешейка — лёгкие Ленинграда —

вторглась орда бандитствующих лесорубов и под благосклонным приглядом областного начальства искорёжила сосновые рощи, испоганила лесные поляны, оставив после себя дикие пустоши, не посадив ни единого деревца взамен и предоставив Санкт-Петербургу задыхаться выхлопом своего автомобильного стада.

В своё время художник Шишкин был не в чести. «Утро в сосновом лесу» с мишками или «Корабельная роща» презрительно назывались фантиками и фотографиями. Ну, и где теперь натура для этих фотографий? Не потому ли сейчас вновь повысился интерес к произведениям Шишкина, Куинджи, Левитана и других наших пейзажистов? Потому что, кроме музеев, уже негде посмотреть на то, что было гордостью и радостью нашей страны. Вырубил Лопахин вишнёвый сад, настроил там доходных коттеджей, и некому было хлопнуть его по загребущим лапам.

Так же и сейчас, господа созерцатели. На наших глазах происходит невиданное разграбление природных богатств, и недалеко время, когда созерцать будет нечего и некому.

ИОСИФ АБГАРОВИЧ ОРБЕЛИ

Весной 1953 года Ленинградское отделение Союза писателей решило провести конкурс молодых авторов, о чём оповестило всех заинтересованных в «Ленинградской правде». Я вытащил из письменного стола довольно злобную пародию на входящий в моду обряд комсомольской свадьбы и перепечатал её в двух экземплярах. С чего я её написал, уже и не помню. То ли для институтского капустника, то ли в связи с весенним обострением гастрита, но чем так зря в столе валяться, пусть лучше поучаствует в литературном ристалище.

Я вложил экземпляры в большой конверт, подписал «На конкурс МПЛОССП», потом на отдельном почтовом конверте написал своё ФИО, обратный адрес, наклеил марку, как было указано, и понёс в Дом писателя. Там в секретариате на обоих конвертах поставили один и тот же входящий номер, почтовый положили в общую картотеку, а про конверт с текстом спросили:

— Что это у вас? В каком жанре написано?

Видя моё замешательство, секретарь стала под-
сказывать:

— Ну, стихи, проза, драма...

— Нет, это у меня пародия, сатира, одним словом.

— А тогда это по жанру эстрадной драматургии, — обрадовалась секретарь и поставила конверт в ячейку, где находилось ещё несколько таких же тощих рукописей.

— У нас жюри предварительно посмотрит и если сочтёт, то вам пошлют ваш же конверт с приглашением явиться лично и представить ваше произведение. А пока ходите по Дому, познакомьтесь с афишей наших мероприятий. У нас бывают интересные встречи и даже концерты.

Дом мне понравился, особенно громадная бильярдная на первом этаже и кафе, в котором стоял дым коромыслом, а в дыму витали амфибрахии, метафоры и прочие анапесты, среди которых проскальзывали общедоступные матерки. Писатели сидели за столами, нещадно курили, «тыкали» друг другу и пили разнообразные напитки. На втором этаже располагались уютные гостиные — красная, голубая, зелёная, где, наверное, они читали друг другу свои замечательные произведения. С другой стороны мраморной лестницы находился зал заседаний, он же зрительный зал. Именно в этом зале несколько лет назад обсуждали и осуждали Анну Андреевну Ахматову, Михаила Зощенку и Александра Хазина, который тоже написал пародию, но на «Евгения Онегина» Пушкина. С этой пародией он вошёл в постановление под именем «пошляк Хазин». Интересно, дойду ли я со своей пародией до этого зала или, по крайней мере, до кафе?

Через пару недель я получил свой конверт с приглашением явиться на заседание секции эстрадной драматургии. Сочли-таки моё «произведение» достойным обсуждения. На заседании секции авторы читали свои эстрадные монологи с вымученными репризами, тексты куплетов для Рудакова и Нечаева и прочий эстрадный хлам. Руководители секции Мин и Минчковский иногда улыбались, иногда болезненно морщились, а я сидел и подумывал, не

уйти ли мне вовремя, потому что моя пародия ни в какие эстрадные рамки не лезла. Мин и Минчковский были знаменитыми сатириками и юмористами того времени. У них были пьесы, водевили, кинокомедии, из которых я не видел ни одной, но у них также была поэма о строительстве ГЭС на реке Оби.

«Обь! Твою муь воспевать не устану!»

И дальше всё в таком же роде. Поэма ходила в списках, её читали у костров и на кухнях. Почему авторы остались на свободе, непонятно. Наверное, не признались под пытками в своём авторстве. Я их очень уважал, и это удержало меня от бегства. Наконец дошла очередь и до меня.

— «За здоровье молодых!» — миниатюра для молодёжного эстрадного театра, — начал я читать с каменной физиономией. Дальше пошли диалоги. Народ сначала захихикал, потом раздалось здоровое ржание, потом участники стали падать со стульев. Оказались очень смешливыми. Я так же мрачно закончил, как и начал, считая, что они смеются надо мной.

— Ну что ж, на этой весёлой нотке мы и закончим заседание, — сказал Аркадий Миронович Минчковский, вытирая платком лицо. — Все свободны, а вы останьтесь, — обратился он ко мне. — Ну, вы сами видели реакцию зрителей. По правилам конкурса мы должны вас рекомендовать к напечатанию, но вас всё равно никто не напечатает, да и вряд ли кто-нибудь возьмётся исполнять. Так что пусть вам утешением будет диплом по нашей секции, который вы и получите завтра на заключительном заседании. Сейчас я вас запишу в протокол, а то вы у нас только под номером, как сами знаете кто.

На следующий день я пошёл на заключительное заседание. Конференц-зал был битком набит молодыми писателями, будущими инженерами, техниками и сантехниками человеческих душ. Молодые писатели всегда одинаковы, и шестьдесят лет тому назад, и в наше время. Не шибко образованные, амбициозные, хамоватые, сильно пьющие, они ждали напутствий от старших товарищей. Чтобы их тоже старик Державин «заметил и, в гроб сходя, благословил». Но старики Державины в гроб сходить не торопились и благословлять особенно не рвались. Председатели секций суховаато отчитались о проделанной работе, назвали фамилии победителей конкурса и передали трибуну официальным лицам. Лица выразили надежду на дальнейший творческий рост, призвали молодёжь окунуться в самую толщу, наследовать традиции, активно участвовать, ставить задачи и т. д. Последним предоставили слово академику Иосифу Абгаровичу Орбели. В зале притихли. Всем интересно было, что же скажет академик, многолетний директор Эрмитажа и, вообще, главный ленинградский интеллигент. Иосиф Абгарович поднялся на трибуну, осмотрел внимательно зал и спросил:

— Какая сейчас самая главная проблема востоковедения как части исторической науки?

И, не дождавшись ответа, сказал:

— Это проблема курдов.

Молодые писатели завертели головами, спрашивая друг друга:

— Это ещё кто такие?

А Иосиф Абгарович продолжал:

— Уже двенадцать тысяч лет курдский народ живёт на одной и той же обширной территории, которая

раскинулась в пределах национальных границ Ирана, Турции, Сирии, Ирака и Советского Союза. В мире насчитывается более двадцати миллионов курдов. Это древнейший народ, которому отказывают в родном языке, культуре, национальной принадлежности, самоиндефикации и, наконец, государственности.

Так, подумал я, эта тема не для нашего жанра. Не буду же я писать эстрадный монолог «весёлый геноцид». Рядом сосед, поэт, шевелил губами. Не иначе как рифмует: «курдистан» — «твой нежный стан» или «колхозный стан». Мрачные прозаики поглядывали на часы и соображали, как скоро можно будет отметить. И тут меня как толкнуло в бок. Мой коллега по Академии наук, великий учёный, рассказывает мне, младшему научному сотруднику, то, что он считает самым важным в своей науке, теряя драгоценное время, а я пялюсь по сторонам и слушаю вполуха, как эти олухи. И тут же голос Иосифа Абгаровича зазвучал со всей страстью и убеждённостью. Конечно, курды — самая многочисленная и самая воинственная нация Ближнего Востока. И генерал Барзани, поднявший их на борьбу за независимость, и, кроме нас, некому их поддержать, хотя бы морально, хотя бы рассказать о них, древнейшем народе на земле.

Конечно, он говорил о самом наболевшем, в слабой надежде, что его услышат и поймут. Иосиф Абгарович закончил своё выступление и сошёл со сцены. Объявили перерыв. Мы пробились к нему, кто-то спросил:

— Иосиф Абгарович, вот эта проблема курдов, как мы конкретно должны откликнуться на неё, как прозаики, поэты, критики и прочие?

Иосиф Абгарович посмотрел на нас печально, вздохнул, сказал:

— Нет, я не имел в виду, что вы сейчас бросите вашу прозу, поэзию, критику и прочее и начнёте писать про курдов. Я просто хотел, чтобы вы, молодые, знали, что эта проблема существует и что она может взорваться в любой момент. Может, кому-нибудь она покажется интересной и достойной внимания. Я всегда рад возможности встретиться с молодыми людьми и поделиться с ними тем, что меня волнует. Сейчас это не так часто бывает.

Он встал и вышел, лёгкий, седой, красивый, а мы остались ждать, когда нам раздадут наши дипломы и мы спустимся в кафе.

ЛЕВ АНДРЕЕВИЧ АРЦИМОВИЧ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

Недавно я прочитал книгу воспоминаний о Льве Андреевиче Арцимовиче. Самое удивительное, что в ней всё правда. Наверное, сама личность Льва Андреевича не позволила авторам ни в чём отступить от истины, что-то там подмалевать, отретушировать. В книге я ещё раз увидел портрет Арцимовича, написанный Ильёй Глазуновым. Уж как только ни ругали другие художники Илью Глазунова: и конъюнктурщик он, и реалист фальшивый, и спекулянт на темы патриотизма. Но только Илья Глазунов, несмотря на кратковременное знакомство с академиком, обнажил скрытые черты, невидимые миру слёзы, глубокую грусть и даже печаль во всём его облике. Когда я первый раз увидел этот портрет у Льва Андреевича дома, меня чуть слеза не прошибла. Рядом был он сам, живой, улыбающийся, искромётный, каким его все привыкли видеть, а на стене был весьма похожий, но совсем другой человек. Который же из них настоящий? Наверное, оба. Большой человек непрост, в нём всё есть. И если тебе удалось увидеть хоть что-то под внешней оболочкой — радуйся, что и ты оказался причастным и что жизнь обогатила тебя новыми впечатлениями и опытом.

В книге часто упоминается о том, что Лев Андреевич был чрезвычайно требовательным к себе человеком, не делал себе никаких поблажек и не допускал никакого упования на авось. И хотя гармонию он чувствовал, как Моцарт, но алгеброй её

поверять не уставал. Было ли это свойство генетически унаследованным от предков, которые на протяжении шестисот лет строили здание российской государственности, то ли приобретено в Ленинградском физтехе — мне неизвестно. А разве вообще известно, откуда берутся гении? Одного, как Паганини, драли с пятилетнего возраста и заставляли пикировать на скрипке с утра до ночи, другой, как Растропович, вообще дома не занимался и виолончельные концерты, написанные для него знаменитыми композиторами, запоминал со второй репетиции. Впрочем, многие современные произведения и не требуют точного воспроизведения авторского текста, и Мстислав Леопольдович позволял себе вольности, которые приводили в восторг авторов и слушателей.

Лев Андреевич сам был и автором, и исполнителем своих текстов, и доводил их содержание и исполнение до совершенства. Мелочей для него не существовало. «В мелочах скрывается дьявол, — говорил он иногда. — Нельзя давать ему ни малейшей щели. И здесь я полностью солидарен с христианскими максимумами, хотя меня иногда за границей и принимают за еврея. Во-первых, Лев — имя с нечёткой русской идентификацией, а фамилия и вовсе никуда не годится — Арцимович, Гуревич, Рабинович. Сколько раз зарубежные коллеги приглашали меня в синагогу и удивлялись, что у меня нет кипы — так это у них называется для ношения на макушке».

Однако вернёмся в мир фактов и событий. Событие — Международная конференция по удержанию плазмы в тороидальных системах, Дубна 1968 год. К этому у времени в ИАЭ построен Токамак Т-3 и на

нём получены наконец-то термоядерные нейтроны. Вообще-то, нейтроны получались и раньше. Ещё 14 лет назад их регистрировал сам Арцимович со товарищи в прямых разрядах, но отказал им в термоядерном происхождении. В 1961 году на конференции в Зальцбурге о регистрации термоядерных нейтронов раструбили на весь мир американцы, именно, некто Коэнсген или Коэншен, как у нас его называют. В том случае нейтроны тоже оказались не термоядерными, о чём с большим удовольствием поведал мировой общественности Лев Андреевич и ткнул этого Коэнсгена-Коэншена в его ошибку весьма элементарную, где-то на уровне лабораторной работы по ядерной физике физфака МГУ. Американское термоядерное коммюнити, сначала взбесившееся, быстро успокоилось и признало Льва Андреевича мировым авторитетом — гуру. Гарольд Фюрт — директор термоядерной программы в Принстоне, который любил проводить параллели между американскими и советскими физиками, говорил:

— Вот, ваш Кадомцев — это у нас Розенблют, Сагдеев — это скорее Бруно Коппи, а вот Арцимовича у нас нет. Арцимович — один на всех. У нас и администрация при обсуждении любого нового проекта спрашивает: а что сказал Арцимович? А что у вас спрашивает администрация?

— Да то же самое, чего ещё спрашивать и кого!

— Вот видишь, — сказал Фюрт, — у вас всё под рукой, а нам сколько приходится ждать, пока он что-нибудь скажет. Потому у вас всё гораздо быстрее строится, и не одни Токамаки, а гигантские телескопы, космические радары, ускорители — и всё это Арцимович. *Incredibly!* — невероятно, мол.

И вот, накануне доклада о нашем мировом прорыве Лев Андреевич подходит ко мне в столовой за ужином и спрашивает:

— Вы что собираетесь делать сегодня вечером?

Я неопределённо пожал плечами и сказал:

— Да вот, наверное, выйдем с Георгием Петровичем на Волгу.

— Послушать, чей стон раздаётся? Так вот, если не хотите, чтобы завтра там ваш стон раздавался, зайдите ко мне в номер после компота.

Ободрённый этим приглашением, я зашёл.

— Устраивайтесь поудобней, — сказал Лев Андреевич, — предстоит долгий разговор.

Я напрягся. У него завтра доклад — главный доклад конференции, а он собирается со мной разговоры разговаривать. Но Лев Андреевич начал:

— Завтра, как вам известно, у меня доклад. Мы готовились к нему несколько лет, построили новую установку, потратили кучу денег, массу времени, люди месяцами работали без выходных. Мы пригласили диагностическую группу из Англии, и если вы думаете, что это нам легко удалось, то вы ошибаетесь.

Я не думал, я знал, что он всё руководство Госкомитета по атомной энергии поставил вверх тормашками. Пустить на несколько месяцев в Курчатовский институт англичан! Не братьев по классу, а прямых конкурентов, братьев по разуму, читателей и почитателей этого самого Орвелла, за которого пять лет дают не глядя, без всяких смягчающих. Мало того, что они не заинтересованы в положительных результатах работы на пользу Советам, так они ещё будут чёрт знает о чём говорить с сотрудниками,

которых не заменишь на надёжных товарищей. Все уже пропечатаны в научных журналах, хорошо им известны. А нам? Знаем мы этих физиков-лириков, бардов таёжных! У них ведь не гордый «Варяг» врагу не сдаётся, а люди Флинта поднимают паруса. Тоже, кстати, англичанин и пират. А с какой стати? Да, было о чём подумать в разных комитетах, нелёгкую задачу товарищ академик Арцимович. Но пришлось решать — и решили. Приехали англичане со своими лазерами, осциллографами, шотландским виски и намерили такого, от чего вся термоядерная общественность обалдела. Но обалдение возникло пока только на основании слухов, а сам момент истины наступит завтра. Но при чём тут я? Переводчик, закупоренный в будке в наушниках с микрофоном и бутылкой тёплого «Боржоми».

— Не мне вам говорить, — продолжал Лев Андреевич, — насколько важен мой завтрашний доклад.

Не мне, так и не надо.

И тут Лев Андреевич приступил к самому главному.

— Завтра на трибуне они увидят меня — элегантного, в костюме от... Кстати, какой костюм мне надеть — светлый или тёмный?

— Вы и так самый стильный академик в нашей академии. Какой ни наденете, всё будет хорошо.

— Это вам в будке всё будет хорошо, а мне на трибуне далеко не безразлично.

— Тогда в тёмно-синем от Ив Сен Лорана. Вас привыкли видеть в светлых, а завтра — особый случай.

Лев Андреевич взглянул на меня прищурившись и спросил:

— Откуда вы знаете, что от Ив Сен Лорана?

— Ну, не от фабрики же «Большевичка»? Они слишком стараются, когда шьют, за версту видно.

Лев Андреевич хмыкнул, то ли выказал одобрение моим познаниям из мира мужской моды, то ли — наоборот.

— Ну так вот, выхожу я во всём синем, — продолжил он вариации из известного анекдота, — они видят представительного джентльмена и готовятся услышать от него нечто интересное, стимулирующее, изложенное с блеском и юмором, как они пишут, гуру, одним словом. Это то, что они предвкушают и надеются услышать. И что же они слышат в своих наушниках?

А, вот оно что, догадался я.

— Они слышат какой-то несвязный бред с мычанием, стонами, томительными паузами, бульканьем воды, бред, далёкий от здравого и, тем более, физического смысла.

Произнеся эту тираду, Лев Андреевич взглянул на меня, чтобы увидеть произведённое впечатление. Но за моими плечами был уже многолетний опыт синхронного перевода, всякое бывало, и физиономия моя не изменила обычного угрюмого выражения. Несколько разочарованный, что пассаж прошёл мимо — как говорят в фехтовании, *passé sans touche*, Лев Андреевич добавил:

— Я не обязательно вас имею в виду. Возможно, что вы, как говорят, отличаетесь от этого распространённого вида переводчиков, но я не имею права рисковать. За мной большой коллектив. Поэтому давайте попробуем. Я буду говорить текст доклада по-русски, а вы повторяйте по-английски фразу за фразой.

В моей практике никогда, ни до ни после этого, ни один академик или просто заурядный докладчик даже не задумывался о том, как он будет звучать перед взыскательной аудиторией. Это просто никому не приходило в голову. Переводят и переводят. Что непонятно — спросят потом, даже ещё и лучше — есть повод пообщаться в баре. Никому не приходило в голову. Только ему. Потому что он был великий артист, артист во всём. И мы фразу за фразой прочли весь его доклад с его интонацией, раздумьями, хорошо заготовленными экспромтами.

Где-то в середине он спросил:

— Не скучно?

— Пожалуй, надо сделать сброс — нужна реприза.

— Это ещё что такое?

— Ну, шутка, каламбур, история на тему, анекдот.

— Где это вы научились?

— В Ленконцерте, писал эстрадные монологи для конференсье.

Лев Андреевич сухо заметил:

— Мы не на эстрадном концерте.

— Не имеет значения, — упёрся я, — законы жанра — одинаковые. Человек не может непрерывно поддерживать высокий уровень восприятия дольше тридцати минут. Вы и сами это прекрасно знаете. Все эти ваши неустойчивости в виде осьминогов с дыркой посередине или физические теории в роли многообещающих и вечно обманывающих женщин — те же репризы.

— Ну, хорошо, — сказал Лев Андреевич, — что-то мне и самому становится скучновато. Но не повторять же осьминогов с дыркой, раз мы остановились на неустойчивых режимах.

— Нет, конечно, — что-нибудь двусмысленно философское.

— Ну, я просто так не могу. Хороший экспромт требует тщательной подготовки. Об устойчивых и неустойчивых режимах, вы говорите, — и он взглянул на меня. — Пожалуй, здесь мы ничего не найдём. Наш режим абсолютно устойчивый.

— Зависит от точки зрения, — сказал я, — академик Глушков, например, так не считает.

Лев Андреевич снова взглянул на меня, ничего не сказал, и мы поехали дальше.

В свой номер я вернулся далеко за полночь. Жора проснулся и сказал:

— Только не говори мне, что всё это время ты был у Арцимовича.

— Хорошо, не буду, — согласился я и улёгся спать.

На следующее утро всё произошло так, как и должно было произойти. Сенсационные значения температуры плазмы, измеренные физтеховцем Мишей Петровым на Токамаке Арцимовича, были подтверждены англичанами, о чём и заявил в своём докладе Дерек Робинсон — их руководитель. В это утро Токамак академика Арцимовича стал безусловным лидером мировых термоядерных исследований.

Прошло сорок два года. Токамаки строились в разных странах мира, ставили новые рекорды и приносили новые надежды. Сейчас крупнейший международный Токамак ИТЭР строится общими усилиями мирового сообщества на юге Франции. Он должен стать прототипом термоядерной электростанции будущего. Профессор Михаил Петрович Петров

с коллегами готовится к работе на нём. Профессор Дерек Робинсон тоже готовится. У них в кабинетах, в петербургском Физтехе и английском Каллэме, стоят портреты Льва Андреевича, который смотрит на них и улыбается.

Много позднее я прочитал, что некто назвал Льва Андреевича человеком Ренессанса. Молодец этот некто, в самую точку. И, пожалуй, раннего Ренессанса, когда поэты владели не только пером, но и шпагой, писатели становились искателями приключений, а учёные высказывали свои бредовые идеи величествам и высочествам, не сильно перед ними расшаркиваясь. Отсюда у него и любовь к оружию.

Как-то раз его задержали в женевском аэропорту с коллекцией ножей. Всё никак не хотели поверить, что этот чудак академик — коллекционер, а не наёмный убийца. И стрелял он по-снайперски. Однажды в Париже, получив гонорар за лекцию, он не побегал в «Самаритен» на распродажу, а отправился в Булонский лес в знаменитый охотничий тир, где, к удивлению коллег, повалил все мишени и получил кучу призов. При всём при том Лев Андреевич, как и маркиз Сен-Симон, был человеком демократических взглядов и даже коммунистических. Жила в нём детская мечта о том, что в будущем главным занятием объединённого человечества будет творчество — наука, искусство, медицина, и что Россия, превратившаяся за короткий исторический промежуток из полуграмотной лапотной окраины Европы в передовую державу с высокой культурой, — тому блестящее подтверждение.

Конечно, Льва Андреевича коробила корявая советская власть со свойственными ей кликушеством,

хамством и убожеством. Но он полагал, что через пару поколений произойдёт смена стереотипов и Советский Союз будут представлять хорошо образованные, деятельные, элегантные (дались ему эти элегантные!) молодые люди.

Я часто пытаюсь представить себе Льва Андреевича в наше время. Ох и не поздоровилось бы от него многим нашим реформаторам. Здесь бы он нашёл себе подходящую арену для нанесения молниеносных разящих ударов. Противники, конечно, были бы слабоватые: аппаратчики-рenegаты, полуграмотные силовики и прочая вороватая шелупонь. Но превратить передовую научную державу в керосинную лавку он бы им просто так не позволил. Он не искал бы национальной идеи России в багаже невольных пассажиров философских пароходов. Для него она была ясна с самого начала — развитая процветающая страна без сословных и прочих привилегий, решающая свои и мировые проблемы на основе справедливости, разума и нравственности.

Когда при образовании Европейского физического общества встал вопрос об официальном языке, Лев Андреевич твёрдо сказал (как я полагаю, ни с кем не согласуя):

— Язык должен быть один, тот, на котором сейчас публикуется основная масса литературы по физике. До войны это был немецкий, сейчас английский. Через пятьдесят или сто лет может быть китайский или русский. Тогда нашим официальным языком и станет китайский или русский.

Так он пожертвовал великим и могучим ради сохранения научной справедливости и профессиональной целесообразности.

Прошло сорок лет. Российские физики в лучшем виде публикуются в научных журналах и выступают на конференциях по-английски. Правда, многие уже отдают детей в китайские школы, куда попасть теперь так же трудно, как когда-то в английские.

Лев Андреевич переживал, что командируемые за границу сотрудники по возвращении должны сдавать все заработанные там деньги в кассу академии. Он изменил это положение вещей. Вернувшись в один прекрасный день из-за границы, он не сдал ни копейки и заявил начальнику иностранного отдела:

— Я вам не оброчный мужик.

Эта фраза стала исторической. Нашлись и последователи. Вскоре советские учёные от унижительного оброка были освобождены.

Каким образом в эпоху несвободы, политических репрессий и глумления над личностью, появлялись и жили люди с обострённым чувством справедливости и собственного достоинства — загадка. Но они были, люди тянулись к ним и наследовали от них веру в нравственное начало человека.

Одним из них и был Лев Андреевич Арцимович.

ПЕРВЫЕ ЭКСИТОНЫ

1948 год. Во второй физической лаборатории Валентин Иванович Вальков приметил меня и пригласил поработать в свободное время на кафедре молекулярной физики. Чем объяснялся его выбор — я не знаю: то ли я был не похож на комсомольца-активиста, но таких было полкурса, то ли ему приглянулись мои отчёты, но у многих они были оформлены куда аккуратнее, то ли он увидел, что мне просто нравится работать в лаборатории, — не знаю. Но в один прекрасный полдень я открыл дверь, на которой табличка возвещала, что здесь находится кафедра молекулярной физики члена-корреспондента АН СССР Гросса. За дверью была довольно большая комната, заставленная книжными шкафами, у окна стоял большой стол. За ним сидели и пили чай Валентин Иванович Вальков, Анатолий Васильевич Коршунов, Вероника Александровна Колосова, Виктор Васильевич Селькин. Валентин Иванович сказал:

— Подсаживайтесь, чай у нас общий, сахар казённый, а бутерброды свои. Или вы питаетесь в студенческой столовой?

Никогда я не питался в студенческой столовой и носил бутерброды из дома. В спортклубе ЛГУ мне давали дополнительную карточку как перворазряднику, а по ней полагались плавленые сырки и американская ветчина с белоснежным жирком и мраморным желе. Я вытащил свой бутерброд с ветчиной. По кафедре разнёсся дразнящий запах заморского продукта. Анатолий Васильевич, бывалый фронтовик

с гвардейским значком и несколькими невыгоревшими полосками от орденских колодок на гимнастёрке, потянул воздух и сказал:

— От этого запаха нам целые немецкие дивизии сдавались в конце войны.

— А от какого запаха целые наши дивизии сдавались в начале войны? — спросил Виктор Васильевич.

И я понял, что комсомольский активист явно был бы здесь не в своей компании.

После чаепития Виктор Васильевич свёл меня в подвал и показал на батарею термостатов, в которых по методу Бриджмена выращивались монокристаллы. Метод состоял в том, что с помощью часового механизма в термостат опускались сходящие на капилляр ампулы с расплавом солей, в которых и происходила кристаллизация при температуре ниже точек плавления. Необходимо было экспериментально подобрать такую форму ампулы, длину капилляра, такую температуру печки и термостата, скорость опускания ампулы, чтобы возник хороший фронт кристаллизации и дальше рос бы не какой-нибудь лохматый дендрит, а прозрачный чистый монокристалл.

— Науки здесь не существует, — сказал Виктор Васильевич. — Каждый кристалл — уникален, его надо чувствовать. Пошли наверх — учиться оттягивать на горелке кончики ампул.

В качестве учебного пособия мне дали книжку Стронга «Основы физического эксперимента». Это был единственный учебник, который я проштудировал от корки до корки во время обучения на физфаке.

Кристалл, который мне предстояло вырастить для каких-то недоступных моему пониманию высоких научных целей, назывался «гваякол». По крайней мере полбанки исходного реактива и несколько месяцев работы ушло, пока я вырастил чистый прозрачный монокристалл, который перешёл в руки Виктора Васильевича, как переходит в руки ювелира для дальнейшей огранки добытый в шахте негром алмаз. Затем он перекочевал в комнату напротив для получения рамановских спектров. Впоследствии они стали называться спектрами комбинационного рассеяния, но в наше время их называли по-простому — «раманом». Мне тоже доверили проводить ночи в этой чёрной-чёрной комнате, где я снимал спектры своего кристалла на спектрографе Хильгера-Селькина с помощью ртутной лампы ПРК, которая тоже была не подарок. Во-первых, она обжигала глаза и лицо, во-вторых, производила громадное количество озона, а в-третьих, время от времени перегревалась и взрывалась, поэтому в запасе всегда было несколько этих ПРК. Евгений Фёдорович всегда расстраивался, когда они выходили из строя. Он терпеть не мог, когда что-нибудь безвозвратно пропадало, его стихией было приобретение.

Вырастив свой кристалл и отсняв его анфас и в профиль, я приобрёл некоторый авторитет на кафедре, и через год Евгений Фёдорович направил меня на практику в Физтех.

— Надо научить их выращивать кристаллы. Что это такое! Мы до сих пор возим им кристаллы отсюда.

И после пары месяцев таинственных оформлений меня отправили в лабораторию Евгения Фёдоровича в Физтех. Вторым человеком после Евгения Фёдоро-

вича там был Алексей Ионович Стеханов, а место фронтовика держал Иван Иосифович Новак. Гимнастёрки он не носил, но по большим праздникам надевал все регалии, и они с трудом помещались на его пиджаке. Кристаллы муравьиной кислоты надлежало вырастить именно для его исследований. Как и на физфаке, я так же сидел в подвале и собирал установку с нуля. Главная трудность заключалась в приобретении её частей через отдел снабжения и выклянчивании их в других лабораториях. Муравьиная кислота имеет температуру кристаллизации ниже нуля, поэтому термостат надо было заправлять сухим льдом и делать из него криостат, чему он сопротивлялся.

Немного в стороне от всех держался один из команды Гросса — аспирант из Узбекистана Нурий Атальевич Каррыев. Не то чтобы он относился к нам свысока и не то чтобы мы к нему, но чувствовалось, что он какой-то особый. Был в нём природный аристократизм, который делал невозможным в его присутствии облегчить душу нужным словом или обозвать какого-нибудь труженика отдела снабжения так, как это было принято в Физтехе. Там за крепким словом никто в карман не лез. При Нурии Атальевиче все делались изысканно вежливыми, как и он сам. Как-то Алексей Ионович упомянул, что Нурий Атальевич принадлежит к знаменитому древнему узбекскому роду, и это у него всё наследственное. Евгений Фёдорович тоже никогда не кричал на Нурия Атальевича, он заметно выделял его среди сотрудников и надолго уединялся с ним в кабинете, где они вместе рассматривали в лупу бледные спектры с едва видимыми линиями — первые в мире спектры экситонов.

Евгений Фёдорович нисколько не сомневался в реальности экситонов, хотя в университете о них упоминали скорее как о чуде большого учёного, чем о реальном физическом явлении. Фактически, кроме как с Нурием Аталевичем, Евгению Фёдоровичу поговорить об экситонах было не с кем. И вот случилась катастрофа. Нурия Аталевича высшие силы изгнали из Физтеха. Как-то косвенно он оказался замешан во что-то предосудительно-политическое. Такое значительное, что об этом даже за чаем нельзя было заикнуться. Нурий Аталевич стал табу. Для Евгения Фёдоровича это был сокрушительный удар. Потеря темпа исследований на месяцы, на годы. В руках была возможность сделать фундаментальное открытие, предсказанное гениальным теоретиком на кончике пера. И теперь после первого успеха, в двух шагах от нобелевского пьедестала разбиться о глухую стену, возведённую бессмысленным режимом удержания и устрашения! Этих слов Евгений Фёдорович не говорил. Они просто подразумевались в других его высказываниях и замечаниях.

К этому времени у нас с ним сложилась традиция вместе ходить в филармонию. Традиция состояла в том, что я занимал и отстаивал очередь, покупал два билета — себе и ему. Зная его легендарную бережливость, я никогда не позволял ему оплачивать билеты, впрочем, он и не порывался. Мы ходили по немецкому счёту, в награду я становился слушателем его критических музыкальных эссе. У Евгения Фёдоровича был абсолютный слух и тонкое восприятие музыки, даже самой изощрённой. Чем изощрённее, тем больше он получал удовольствия, которое скрывал от посторонних в целях самосохранения.

На каждую новую симфонию Шостаковича мы ходили как на праздник. На Пятой Евгений Фёдорович вытирал глаза, от Восьмой он пришёл в состояние крайнего нервного возбуждения. Я провожал его до дому, чтобы он немного успокоился и выговорился. По началу наших филармонических походов он кидал несколько обязательных камушков в Дмитрия Дмитриевича и Сергея Сергеевича, но со мной эти агитпроповские штучки не проходили, и он их приберегал для других. Евгений Фёдорович был глубоко ранимым человеком. На факультете к нему постоянно цеплялись коллеги, которые не могли простить, что он стал членом академии и лауреатом. Каждый из них читал или писал мудрёные книги, которые Евгению Фёдоровичу были непонятны, да и не нужны. В Физтехе Евгений Фёдорович вечно становился мишенью для критики якобы неактуальных работ. Евгений Фёдорович вскидывал руки и со страстью возражал:

— Но это же фундаментальные исследования!

— Фундаментальные не значит бесполезные, — поучали его директора.

Несколько раз вставал вопрос о расформировании его лаборатории, но что-то удерживало дирекцию от этого резкого шага. Тут-то и возник экситон. Эта маленькая квазичастица, открытая Гроссом и Карриевым в закиси меди.

Когда 12 марта 1952 года я пришёл в институт с направлением из Главатома и заглянул в лабораторию Гросса, Евгений Фёдорович обрадовался и потащил меня к директору А. П. Комару с просьбой направить меня в его лабораторию. Антон Пантелеймонович выслушал Евгения Фёдоровича, какой

я искусный экспериментатор, как создал в его лаборатории участок по росту органических кристаллов, и что теперь можно будет продолжить исследования экситона — этой виртуальной квазичастицы. На этом Антон Пантелеймонович прервал его и сказал, что молодой специалист прибыл по целевой путёвке Главатома, чтобы заниматься настоящими, а не квазичастицами, и что он, директор, не имеет никакой власти и желания перенаправлять меня в лабораторию Гросса.

На следующий год в лабораторию Евгения Фёдоровича пришёл Захарченя, а ещё через год Каплянский. Всё произошло так, как это и было предначертано. Через несколько лет на одном из заседаний открытого учёного совета директор Б. П. Константинов задал риторический вопрос:

— Есть ли у нас в институте работы нобелевского уровня? Пожалуй, только одна — это фундаментальные исследования Гросса и его сотрудников по открытию экситона и его взаимодействию с электрическими и магнитными полями. К сожалению, Яков Ильич Френкель давно скончался и выдвижение на Нобелевскую премию без него вряд ли целесообразно. Учёные в нашей стране должны жить долго, — добавил он и задумался.

Ленинская премия Евгения Фёдоровича и его учеников стала большим праздником в институте. Это была настоящая, полноценная научная премия без всякой конъюнктуры и ссылок на пользу в народном хозяйстве. Побольше бы нам таких премий. Как нам не хватает сейчас таких учёных, как Евгений Фёдорович Гросс.

САМООРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИИ

У нас в школе была хорошая библиотека. Разделавшись классу к пятому со всеми возможными фениморами куперами, майн-ридами и жюль-вернами, я перешёл к более серьёзной литературе. Вернее, не я перешёл, а школьный библиотекарь, интеллигентная и ворчливая старушка из «бывших», сказала мне:

— Что ты всё про каких-то придуманных охотников спрашиваешь? Почитай-ка про настоящих.

И дала мне книжку «Охотники за микробами» Поля Де Крюи. С самой первой новеллы об Антонине Ван Левенгукке — шлифовальщике стёкол из Амстердама, который сделал первый микроскоп, взглянул через него на каплю воды и увидел неведомый мир инфузорий, — я понял, что «Дети капитана Гранта» остались в детстве и начинается новая жизнь. Надолго моими любимыми героями стали чудотворный фанатик Фред Бантинг, открывший инсулин, непогрешимый Луи Пастер, наш неистовый романтик Илья Ильич Мечников и другие отцы и создатели этой удивительной науки — микробиологии.

За биологами пошли математики, физики, астрономы — Ампер, Лаплас, Гаусс. Я на всю жизнь полюбил блистательного Лавуазье и возненавидел Французскую революцию, отправившую его на гильотину. Заодно с Французской возникло отвращение и ко всем другим революциям.

В конце войны, вернувшись в Ленинград, я спросил в школьной библиотеке Поля Де Крюи. Его не оказалось. Вместе с Сетон-Томпсоном и Брэмом его

тоже сбросили с корабля современности. Вместо него предложили популярную брошюру профессора А. Н. Зайделя «Загадки атома». Загадки у профессора Зайделя оказались скучными, а разгадок он и сам не знал. Всё у него — «по-видимому», да «можно предположить».

Лет через десять, когда я сам стал нелюбимым учеником профессора Зайделя, я спросил у него:

— Александр Натанович! А чего это в вашей брошюре вы всё уходите от прямых ответов. Существуют ведь в науке и непреложные истины, абсолютные факты.

— Например?

— Ну вот, что Вселенная вечна и бесконечна.

— Это вы Энгельса начитались, а надо бы серьёзную литературу изучать, если уж взялись рассуждать о вечном и бесконечном.

Слова профессора задели меня и я последовал его совету, нанеся ощутимый вред своей последующей научной карьере.

Через много лет, в 1983 году в Пуццино состоялась Международная конференция по самоорганизации материи. Приехали все самые, самые. Среди них Илья Пригожин из Бельгии, нобелевский лауреат, основатель новой термодинамики. Живой гений — как называли его другие участники. Живой гений, как и полагается гению, был человеком скромным и застенчивым. Никого не поучал, ничего не изрекал. Жалел только, что не пришлось ему поиграть с Эйнштейном концерт для двух скрипок Вивальди. Было заметно, что в Пуццино ему явно не хватает какого-нибудь простого собеседника вроде Эйнштейна или Нильса Бора, или Поля Дирака, в крайнем случае.

Дирак, когда приехал к нам в институт, не стал после своей лекции вещать за чаем у директора о путях развития квантовой механики, а вспомнил о своих первых впечатлениях о Ленинграде середины 1930-х годов. Тогда на Невском проспекте меняли торцовую мостовую на асфальтовую. По сторонам проезжей части были сложены груды выковыранных деревянных торцов, а посередине стояли громадные чаны, под ними полыхали костры, а в чанах кипела смола. Рядом стояли монументальные *working women*, по-русски — работницы, в парусиновых фартуках, с голыми по локоть, здоровенными руками, и мешали железными кочергами кипящую смолу. Казалось, что сейчас в эти котлы будут кидать грешников, которых тут же и отберут среди прохожих. Так он и запомнил тогдашний Ленинград: ободранный Невский, котлы с кипящей смолой, сполохи пламени под ними и громадных «women», размешивающих адскую смесь.

Теперь же его больше всего расстроило обилие автомобилей, запах бензина, духота, отсутствие деревьев.

— Зачем вам столько автомобилей? Ведь в социалистическом обществе вы могли бы развивать бесшумный, экологически чистый общественный транспорт. А вы повторяете все ошибки буржуазного Запада, охваченного эпидемией конsumerизма.

— Чего-чего? — переспросила дирекция.

— Ну зачем вы бездумно перенимаете все пороки общества потребления? Ведь у вас были все возможности их избежать, а вы превращаете ваш прекрасный город в такой же вонючий гараж, как Лондон или Париж.

Дирекция что-то промышчала про цивилизацию и технический прогресс, который нельзя остановить. Дирак устало заметил, что развитие подлинной цивилизации часто требует отказа от надуманного технического прогресса и что прогресс, на самом деле, происходит внутри человека и в его общении с природой, а не в шумных и душных муравейниках индустриального общества.

— Мы так надеялись на вас, — с горечью добавил он и умолк.

Больше он ничего не сказал.

Из той же породы был и Илья Пригожин. Он с удовольствием уходил на берег Оки, предпочитая тихие прогулки обязательному посещению лабораторий и встречам с возбуждёнными коллегами.

В Пушино меня занесла моя вторая профессия — синхронного переводчика, а отнюдь не научные заслуги, но и для меня эта конференция была не очередным мероприятием, а давно ожидаемым событием — встречей единомышленников.

Собираясь в Пушино, я гадал, будет ли там дано сражение новым еретикам — сторонникам идеи самоорганизации материи, полагавшим, что наряду с процессами разрушения и образования хаоса в природе идут процессы создания порядка из хаоса, подчиняющиеся законам, которые ещё предстояло открыть.

В вопросах веры никогда не бывает терпимости. Любая ересь безжалостно преследуется: Гуситские войны, костры инквизиции, Варфоломеевская ночь, разгром вейсманистов-морганистов, «сумбур вместо музыки» и другие примеры красноречиво подтверждают это.

Генрих IV со своим прагматичным «Париж стоит мессы» является приятным исключением в толпе своих озлобленных современников. Это он провозгласил бессмертный лозунг: «Я хочу, чтобы у каждого француза была курица в супе». Лозунг так никогда и не стал реальностью, но до сих пор будоражит воображение, и не только французов. Мы сами который год мечемся в поисках национальной идеи, но до сих пор так никто и не сказал: «Я хочу, чтобы у каждого русского было...», потому что на каждого не хватит и не каждому полагается. Так что зря этот беспутный монарх будоражит пять веков общественное мнение своими идеями. Безответственный популист, но такой симпатичный!

Среди участников оказались академики-ортодоксы — Яков Борисович Зельдович и Борис Борисович Кадомцев. Яков Борисович три Звезды Героя получил и за то, что свои идеи отстаивал бескомпромиссно, у последней черты. Каждая звезда была подвигом и победой. Уж Яков Борисович слюни размазывать не станет и никакого псевдонаучного словоблудия не потерпит. С ним было всё ясно. Но вот с Борисом Борисовичем всё было неясно, начиная с того, зачем он вообще появился в Пущино.

Академики бывают разные. Одни — это признанные лидеры, за спиной которых институты, КБ, заводы, космодромы. У них много наград, званий, сотни научных работ, написанных сотрудниками, они хорошо выступают на съездах и плохо читают лекции студентам, если вообще читают. Они любят высказываться по любому поводу и охотно дают интервью.

Другие — это просто учёные, но учёные Божьей милостью, по гамбургскому счёту, высшие авторитеты

в своей области. Широкая публика их не знает, правительства слегка опасаются, потому что они всегда могут что-нибудь этакое брякнуть невпопад. Поэтому их редко спрашивают на общие темы. По специальным темам к ним тоже нелегко пробиться. Они не желают тратить своего драгоценного времени на разговоры абы с кем, но зато с настоящими профи готовы сидеть и день, и ночь.

Борис Борисович был гуру в нашей физике плазмы. Бриллиант чистой воды, общение с которым было наградой для каждого мало-мальски уважающего себя физика. Что его потянуло в Пушино, для меня было непонятно.

И вот объявлен доклад: академик Б. Б. Кадомцев, Институт атомной энергии имени Курчатова. Тема касается применений математических моделей теории вероятности к изучению процессов эволюции. Что-то в этом роде, математика об эволюции, вполне достойная тема. И Борис Борисович начал её спокойно развивать без лишней аффектации, со множеством формул, но к середине доклада возникло ощущение, что все эти формулы сами по себе, а процессы эволюции сами по себе. Я не знаю, возникло ли это ощущение у остальных слушателей, но у меня, сидящего в будке синхронного перевода с наушниками и микрофоном, такое ощущение явно возникло и начало тревожить: как же он — а вслед за ним и я — выскочит из этого положения?

Тут Борис Борисович чуть помедлил и аккуратно взорвал свой первый заряд:

— Как мы видим из сказанного, ни одна из предложенных статистических моделей не может объяснить эволюционный процесс, произошедший на

нашей планете, тем более происхождение жизни на Земле. На это не хватило бы всего времени существования Солнечной системы.

Я услышал в наушниках, как в зале воцарилась мёртвая тишина. Люди замерли, почти перестали дышать, и в этом звуковом вакууме взорвалась вторая бомба.

— Следовательно, — сказал Борис Борисович своим тихим и печальным голосом, — остаётся предположить, что потоку событий в эволюции предшествовал поток информации, чрезвычайно малой интенсивности, но достаточной, чтобы направить процесс эволюции по определённой пути. Поиски этого потока информации ведутся в ряде лабораторий, в том числе, насколько мне известно, и в этом институте.

И тут меня как током ударило. Ну конечно — слово! Вначале было *СЛОВО!* Именно это он и сказал! И в наступившей паузе я ещё раз повторил фразу о двух потоках, чтобы не оставить никаких сомнений в том, что это была не ошибка, не слуховая галлюцинация, а научное утверждение. Борис Борисович выдержал паузу. Собственно, говорить дальше уже было не о чем. Казалось, в мёртвой тишине метались мысли. Над кафедрой повис огромный вопрос. Налетевшие ангелы легко растащили его в разные стороны. Какие тут могут быть вопросы? Стало легко и радостно, все заулыбались, выдохнули. Захотелось сказать: слава Тебе, Господи, спасибо Тебе. Оказывается, всё так просто, а мы столько веков мучили друг друга. Борис Борисович сошёл с кафедры и растворился среди коллег.

В школе, а потом в университете нас учили, что, по теории академика Опарина, жизнь зародилась

сама по себе в мировом океане. Там что-то всё время булькало, булькало. Молекулы сталкивались друг с другом случайным образом от простого к сложному, от неорганических соединений к органическим, а там и до белков рукой подать. И что белок, что живая клетка — почти одно и то же. А вот и нет, ничего само по себе не набулькало, а только промыслом Божиим, Духом Святым, невидимым потоком информации. А интересно, он сейчас ещё струится или сделал своё дело и отдыхает? Наверное, в институте думают, что ещё струится, иначе бы они его не искали.

Борис Борисович после доклада казался каким-то просветлённым, как будто снял тяжёлый груз с плеч. А все как будто понимали это, и никто к нему с идиотскими вопросами или скороспелыми измышлениями не приставал.

На завтра был назначен доклад Якова Борисовича о Большом взрыве и эволюции Вселенной. Эволюционная тематика доклада позволяла Якову Борисовичу легко лягнуть Бориса Борисовича, но он этого делать не стал. Он увлекательно рассказал о том, что было десять миллиардов лет тому назад после взрыва, как образовались галактики, звёздные системы, включая нашу, чего можно ожидать в следующие десять миллиардов лет, когда потухнет Солнце и так далее. Кто-то не выдержал и спросил:

— Вы всё говорили о том, что было после взрыва, в первую микросекунду, в первый миллиард лет, а вот сам взрыв — кто его произвёл?

Яков Борисович ненадолго задумался, как бы это ему получше сформулировать, и сказал:

— Момент ноль не входит в тему моего доклада. Я рассматриваю только эволюционные процессы.

И вообще, рассмотрение момента ноль выходит за пределы современной науки. Это скорее является областью теологии, которая, как мне кажется, единственная может дать непротиворечивое объяснение, но я не являюсь специалистом в области теологии и не обладаю необходимой компетенцией для обсуждения данного вопроса.

Так во второй раз на Пуцдинской конференции мировое научное сообщество было отправлено в Горние сферы и никакого неудобства при этом не испытало.

Происшедшее достоянием широкого общественного мнения не стало, ни в каких средствах массовой информации отмечено не было, но крепко сохранилось в памяти участников. Может, когда-нибудь, на каком-нибудь высоком научном форуме учёные и теологи, собравшись вместе, вспомнят о том, как когда-то на берегах Оки были обозначены границы исследования мира научными методами и открыты новые старые страницы в Книге Познания.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ПИКИ-КОЗЫРИ

Детство

Бизе — сюита «Арлезианка»	9
Если завтра война	16
Визит к окулисту	21
Воспитательница Люда	33
За хлебом	39
Амурские волны	47
Разъезд Тчанниково	55
Чёрная боровина	64
Комиссия	70
Подпасок	77
В спецшколе ВВС	88
Кошки-мышки	99
Отец	112
Тридцать лет спустя	121

Ленинградский Физтех

Кролики и генералы	135
Пики-козыри	142
Бугор и его слово	149
Зигзаг	153
Небулий	158
Зальцбург 1961	162
Булат Окуджава	180
Синхронный перевод	188
Европейское физическое общество	213

Тарасюк

Тарасюк — кавалер ордена Почётного Легиона.....	223
Марсельеза	228
Дуэль Лермонтова.....	232
115 лет спустя	232
Принц Гамлет — чемпион.....	239
Жаклин.....	243

II. САМООРГАНИЗАЦИЯ МАТЕРИИ

ГТО второй ступени.....	255
Майк — плантатор.....	260
Идеализм в физике	267
Старшина Щербина.....	271
Дух Физтеха	281
Виктор Овсянников.....	283
Борис Полоскин.....	285
Снежный Барс.....	288
Санта Лючия.....	292
Хоми Баба — брамин и директор	296
US NAVY.....	300
Тунгусский метеорит.....	305
Tombe la neige	312
Люда и Олег.....	330
«Сулико»	339
Чаттануга — чу-чу.....	346
Атлантик-Сити.....	360
Check Point Charlie.....	374
Ядерная зима	384
Keep Smiling Attitude.....	390
Программа «Вести».....	395
«Прелюды» Листа.....	399

Исаак Гликман и другие Иваны, не помнящие родства ...	409
Два концерта	414
Владыко	424
Дикси — кот сиамский	436
«Трансвааль, Трансвааль, страна моя...»	440
Есть за границей контора Кука	446
Физики путешествуют	454
Иосиф Абгарович Орбели	475
Лев Андреевич Арцимович вчера и сегодня	481
Первые экситоны	492
Самоорганизация материи	499

В серии «Имя собственное» выпущены:

- **К. Победин.** Поэмы эпохи отмены рабства
- **А. Генис.** Темнота и тишина
- **О. Шамборант.** Признаки жизни
- **А. Генис.** Пейзажи
- **С. Лурье.** Успехи ясновидения
- **О. Шамборант.** Срок годности
- **О. Исаева.** Мой папа Штирлиц
- **В. Соснора.** 15
- **С. Гандлевский.** Странные сближения
- **С. Лурье.** Нечто и взгляд

**Предлагаем читателям
также следующие книги:**

- **В. Кальпиди.** Ресницы
- **Б. Ахмадулина.** Зимняя замкнутость
- **Л. Лосев.** Стихотворения из четырех книг
- **А. Ерёменко.** Горизонтальная страна
- **Гильгамеш.** Аккадское сказание
- **А. Цветков.** Дивно молвить
- **Е. Шварц.** Сочинения в 4 томах
- **С. Гандлевский.** Найти охотника
- **Б. Рыжий.** Стихи
- **В. Соснора.** Всадники
- **В. Павлова.** По обе стороны поцелуя
- **М. Дидусенко.** Полоса отчуждения
- **Н. Уперс.** Апокрифы Феогнида
- **А. Березин.** Пики-козыри
- **Т. Кибиров.** Внеклассное чтение
- **А. Березин.** Самоорганизация материи

Приобрести книги можно в издательстве:
191028, СПб., Моховая ул., 20, помещение журнала
«Звезда». Тел.: (812) 273-37-24, факс: (812) 273-52-56

Б 48

Березин А. Самоорганизация материи.
Рассказы и истории. —
СПб.: «Пушкинский фонд», 2011. — 512 с.

ISBN 978-5-89803-214-2

ББК 84. P7

Березин Арсений Борисович
Самоорганизация материи
«Пушкинский фонд», Санкт-Петербург, 2011

Редактор *Г. Ф. Комаров*

ЛР № 071541 от 21 ноября 1997 года

«Пушкинский фонд»
191186, Санкт-Петербург, Набережная р. Мойки, 12

Заказ № 67. Тираж 1000 экз.
Отпечатано в типографии ООО «ИПК «Бионт»»
199026, Санкт-Петербург, Средний пр. ВО., д. 86,
тел. (812) 322-68-43

ПУШКИНСКИЙ ФОНД